

Edward Munnice





А. С. ПУШКИН

Рисунок и гравюра Т. Гайта, 1837 г.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



А. С. ПУШКИН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

* * *

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД 1978

А. С. ПУШКИН

ТОМ ШЕСТОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПРОЗА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД 1978

*Печатается на основе
Полного собрания сочинений
А. С. Пушкина,
изданного Академией наук СССР*

РОМАНЫ
И
ПОВЕСТИ



АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Железной волею Петра
Преображенная Россия.

Н. Языков,

ГЛАВА I

Я в Париже;
Я начал жить, а не дышать.

Дмитриев.
Журнал путешественника.

В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненый, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не преставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предложениями, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здоровье, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления.

По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностью двора, важностью и приличием, не

оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастью, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен. На ту пору явился Law; алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.

Между тем общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, всё, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностию. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.

Temps fortuné, marqué par la licence,
Où la folie, agitant son grelot,
D'un pied léger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où l'on fait tout excepté pénitence.

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar и ловили его наперехват; регент приглашал его не раз на свои веселые вечера; он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостию Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтескьё и Фонтенеля; не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления, и предавался общему вихрю со всею пылкостью своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту Петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.

Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. 17-ти лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагим представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.

Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания: это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием.

Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен; он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудренных париков ее гостиней. (Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку.) Ему было 27 лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невоз-

можно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости.

Любовь не приходила ему на ум, — а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостию неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность... Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению; надежда вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлению его страсти, хотела противопоставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою страсти, ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму...

Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить ее совершенно.

Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Уте-

шения, советы, предложения — всё было истощено и всё отвергнуто. Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.

Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал.

Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Для два перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, шепот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания обливала его ужасом... вдруг он услышал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини. Черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приблизился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку... но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием.

Всё вошло в обыкновенный порядок, но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В таком случае, что бы ни произошло, гибель графини была неизбежна. Он любил страстно и так же

был любим; но графиня была своеправна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал; он воображал, что страдания разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга.

ГЛАВА II

Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен...
Желанием честей размучен.
Зовет, я слышу, славы шум!

Державин.

Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться большим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.

Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра I-го. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. «Подумайте о том, что делаете,— сказал ему герцог,— Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь

его великодушным позволением. Оставайтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении. «Жалею,— сказал ему регент,—но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.

Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ничего не знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал бы всё на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «Bonne nuit»,— сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Bonne nuit, messieurs»,— повторила графиня. Он всё не двигался... наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо:

«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объяснитьсь.

Счастье мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я всё, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностью... Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что позволяет в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу, и ты наконец устыдилась бы своей страсти... что было б тогда со мною? Нет! лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...

Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни всё, что ты вытерпела, все оскорбления самолю-

бия, все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?

Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни близких. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то по крайней мере будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства... Прости, Леонора, — отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива — и думай иногда о бедном негре, о твоём верном Ибрагиме».

В ту же ночь он отправился в Россию.

Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.

Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала, но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротою ветра, и в 17-й день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? — закричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоём приезде, — сказал Петр, — и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, — продолжал государь, — твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государеву коляску; он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Чрез полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим

с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына сада. На крыльце встретила Петра женщина лет 35, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника: прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные, пронизательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие как розы стояли за нею и почтительно приблизились к Петру. «Лиза,— сказал он одной из них,— помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о Испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным; Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России.

После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собрались во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прославившего в народе русским

Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями.

Государь вышел часа через два. «Посмотрим,— сказал он Ибрагиму,— не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончании трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, всё ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу».

Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге, он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня Д., в первый раз после разлуки, не была во весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностию и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж, в объятия милой графини.

ГЛАВА III

Как облака на небе,
Так мысли в нас меняют легкий образ.
Что любим днесь, то завтра ненавидим.

В. Кюхельбекер.

На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашений по крайней мере на целый месяц.

Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные — следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в Сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в Адмиралтейской коллегии утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Коппевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы и иностранных публицистов, или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровой, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспо-

минание: часто думал он о графине Д., воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец — он содрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу.

Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке; Ибрагим с живостию оборотился, и молодой Корсаков, которого оставил он в Париже, в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сейчас только приехал, — сказал Корсаков, — и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоём отсутствии; графиня Д. велела звать тебя непременно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад, — продолжал Корсаков, — что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! что здесь делают, чем занимаются? кто твой портной? заведена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу, — сказал он, — что тебе теперь не до меня; в другое время наговоримся досыта; еду представляться государю». С этим словом он перевернул на одной ножке и выбежал из комнаты.

Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. «Ты говоришь, — писала она, — что мое спокойствие дороже тебе всего на свете? Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоём отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не ударила; будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умею бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что считаешь ты своим долгом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь.

Ибрагим двадцать раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова, но дверь отворилась,

и сам Корсаков явился опять; он уже представлялся государю — и по своему обыкновению казался очень собою доволен. «Entre nous,— сказал он Ибрагиму,— государь престранный человек; вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтоб сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что отроду со мною не случалось. Однако ж государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен вкусом и щегольством моего наряда; по крайней мере он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец, во время шестилетнего отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожалуйста будь моим ментором, заезжай за мной и представь меня». Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету, более для него занимательному. «Ну, что графиня D.?» — «Графиня? она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? длинного маркиза R.; что же ты вытаращил свои арапские белки? или всё это кажется тебе странным; разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать».

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: это я предвидел, это должно было случиться. Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.

Корсаков сидел в шлафорке, читая французскую книгу. «Так рано»,— сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй,— отвечал тот,— уже половина шестого; мы опоздаем; скорей одевайся и поедem». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Француз камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны,

розовый кафтан, шитый блестками; в передней наскоро пудрили парик, его принесли, Корсаков всунул в него стриженую головку, потребовал шпагу и перчатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шубы, и они поехали в Зимний дворец.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ими общий шепот: «Арап, арап, царский арап!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настичь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел... В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при непрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошью моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимую стариною: чепцы сбивались на соболю шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием, присутствовали на сих нововведенных игрищах и с досадою косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел

к ним с пивом и стаканами на подносе. «Que diable est-ce que tout cela?» — спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотой и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большею частию иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и опорожняя глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались — и тотчас ушел; за ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.

Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, тарашил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостями одна в особенности ему понравилась. Ей было около 16 лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужичины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужичина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на средину залы и важно сказал: «Государь мой,

ты провинился! во-первых, подошел к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить *кубок большого орла*». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазией. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону. «Ага,— сказал Петр, увидя Корсакова,— попался, брат! Изволь же, мосье, пить и не морщиться». Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков,— сказал ему Петр,— штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побранился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из круга, но зашатался и чуть не упал, к неопisanному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с большим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцевал с нею менуэт и отвел ее на прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея!.. проклятый кубок большого орла!..», но вскоре заснул крепким сном, не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и проснулся на другой день с головою болью, смутно помня шарканья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла.

ГЛАВА IV

Нескоро ели предки наши,
Нескоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.

Руслан и Людмила.

Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин, по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины.

Дочери его было 17 лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, т. е. окружена мамушками, нянюшками, подружками и санными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет 50 от роду, правая нога была у него прострелена под Нарвою и потому была не весьма способна к менуэтам и курантам, зато левая с удивительным искусством и легкостью выделявала самые трудные *па*. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною.

День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. Пошли за стол. На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесятилетний боярин; прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества, сели — мужчины по одной стороне, женщины по другой. На конце заняли свои привычные места: барская барыня в старинном пушуне и кичке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которою отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностью. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни; звон тарелок и деятельных ложжек возмущал один общее безмолвие. Наконец хозяин, видя, что время занять гостей приятною беседою, оборотился и спросил: «А где же Екимовна? Позвать ее сюда». Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном роборонде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.

— Здравствуй, Екимовна, — сказал князь Лыков, — как поживаешь?

— Подобру-поздорову, кум: поючи да пляшучи, женишков поджидаючи.

— Где ты была, дура? — спросил хозяин.

— Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру.

При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место, за стулом хозяина.

— А дура-то врет, врет, да и правду соврет,— сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая.— Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего: а, право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы напаялены на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери входят — нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести — сущие мученицы, мои голубушки.

— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна,— сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе 3000 душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам.— По мне жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом; только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала новёшенькие. Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды — поглядишь — сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? разорение русскому дворянству! беда, да и только.— При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины.

— А кто виноват,— сказал Гаврила Афанасьевич, напняя кружку кислых щей.— Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем.

— А что нам делать, коли не наша воля?— возразил Кирила Петрович.— Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена за наряды. Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими господь за преступления наши.

Марья Ильинична сидела как на иголках; язык у нее так и свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамблеях?

— А то в них дурно,— отвечал разгоряченный супруг,— что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят

с женами. Жены позабыли слово апостольское: *жена да убоится своего мужа*; хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам-вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужичинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми.

— Сказал бы словечко, да волк недалечко, — сказал, нахмурясь, Гаврила Афанасьевич; — а признаюсь — ассамблеи и мне не по праву: того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и самого на смех пьяным напойт. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску. На другой день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я думал, кого-то бог несет, уж не князя ли Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана Евграфовича! небось не мог остановиться у ворот да потрудиться пешком дойти до крыльца — куды! влетел! расшаркался! разболтался!.. Дура Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла под мышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «мусье... мамзель... ассамблея... пардон». — Общий и продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей.

— Ни дать ни взять — Корсаков, — сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие малопомалу восстановилось. — А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из неметчины на святую Русь скоморохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весть на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях (прости господи), царский арап всех более на человека походит.

— Конечно, — заметил Гаврила Афанасьевич, — человек он степенный и порядочный, не чета ветрогопу... Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезья-

на заморская? Вы что зеваете, скоты?— продолжал он, обращаясь к слугам: — Бегите, отказать ему; да чтоб и впредь...

— Старая борода, не бредишь ли?— прервала дура Екимовна.— Али ты слеп: сани-то государевы, царь приехал.

Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за стола; все бросились к окнам; и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился на встречу Петра; слуги разбежались, как одурелые, гости перетрусились, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра, всё утихло, и царь вошел в сопровождении хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, господа»,— сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскивали в толпе молодую хозяйскую дочь; он подозвал ее. Наталья Гавриловна приблизилась довольно смело, но покраснев не только по ушам, а даже по плечам. «Ты час от часу хорошеешь»,— сказал ей государь и по своему обыкновению поцеловал ее в голову; потом, обратясь к гостям: — Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а мне, Гаврила Афанасьевич, дай-ка анисовой водки». Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе щей. Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновью костью, ножик и вилку с зелеными костяными черепками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту пред сим шумно оживленный веселием и говорливостию, продолжался в тишине и принужденности. Хозяин, из почтения и радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какою-то робкой холодностию, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за

ним и все гости. «Гаврила Афанасьевич! — сказал он хозяину: — Мне нужно с тобою поговорить наедине» — и, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столовой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столовой, ожидая выхода государева.

ГЛАВА V

Я тебе жену добуду
Иль я мельником не буду.
*Аблесимов,
в опере Мельник.*

Чрез полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклонением головы ответствовал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал.

Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень озабочен. Серdito приказал он слугам скорее собирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и начал вполголоса следующий разговор:

— Недаром государь ко мне пожаловал; угадайте, о чем он изволил со мною беседовать?

— Как нам знать, батюшка-братец,— сказала Татьяна Афанасьевна.

— Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство? — сказал тесть. — Давно пора. Али предложил быть в посольстве? что же? ведь и знатных людей, не одних дьяков посылают к чужим государям.

— Нет,— отвечал зять, нахмурясь. — Я человек старого покроя, пынче служба наша не нужна, хоть, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних

новичков, блинников да басурманов,— но это статья особая.

— Так о чем же, братец,— сказала Татьяна Афанасьевна,— изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!

— Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.

— Что же такое, братец? о чем дело?

— Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.

— Слава богу,— сказала Татьяна Афанасьевна, перекрестясь.— Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених,— дай бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?

— Гм,— крикнул Гаврила Афанасьевич,— за кого? то-то, за кого.

— А за кого же? — повторил князь Лыков, начинавший уже дремать.

— Отгадайте,— сказал Гаврила Афанасьевич.

— Батюшка-братец,— отвечала старушка,— как нам угадать? мало ли женихов при дворе: всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукий, что ли?

— Нет, не Долгорукий.

— Да и бог с ним: больно спесив. Шеин, Троекуров?

— Нет, ни тот ни другой.

— Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабрались немецкого духу. Ну так Милославский?

— Нет, не он.

— И бог с ним: богат да глуп. Что же? Елецкий? Львов? Нет? Неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого ж царь сватает Наташу?

— За арапа Ибрагима.

Старушка ахнула и плеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: «За арапа Ибрагима!»

— Батюшка-братец,— сказала старушка слезливым голосом,— не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньки в когти черному диаволу.

— Но как же,— возразил Гаврила Афанасьевич,— отказать государю, который за то обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?

— Как,— воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел,— Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа!

— Он роду не простого,— сказал Гаврила Афанасьевич,— он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...

— Батюшка, Гаврила Афанасьевич,— перервала старушка,— слышали мы сказку про Бову-королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание.

— Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело повиноваться ему во всем.

В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась — и увидели Наташу, в обмороке простертую на окровавленном полу.

Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее, и когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства, тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора; когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованный сундук, где хранилось ее приданое.

Люди сбегались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе — и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: «Валериан, милый Валериан, жизнь моя! спаси меня: вот они, вот они!..» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался внизу.

— Что Наташа? — спросил он.

— Худо,— отвечал огорченный отец,— хуже чем я думал: она в беспамятстве бредит Валерианом.

— Кто этот Валериан? — спросил встревоженный старик. — Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?

— Он сам,— отвечал Гаврила Афанасьевич.— На беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал принять в свой дом проклятого волчонка. Когда, тому два году, по его просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял как окаменелый. Мне показалось это подозрительным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла; ан, видно, нет. Решено: она выйдет за арапа.

Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме всё стало тихо и печально.

Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось: Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему:

— Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего тебе недостает? — Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участью и лучшей не желает.

— Добро,— сказал государь,— если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить.

По окончании работы Петр спросил Ибрагима.

— Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал минавет на прошедшей ассамблее?

— Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая.

— Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?

— Я, государь?..

— Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть еще время; найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством.

— Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне бог не пережить своего дара и благодетеля, более ничего не желаю; но если бы и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? моя наружность...

— Твоя наружность! какой вздор! чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей, а посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом? — При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления.

«Жениться! — думал африканец, — зачем же нет? ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека потому только, что я родился под пятнадцатым градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым: детское возражение! разве можно верить любви? разве существует она в женском, легкомысленном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения — более существенные. Государь прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением».

Ибрагим по своему обыкновению хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра; оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом. — «Всё, брат, конечно, — сказал Петр, взяв его под руку. — Я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему теще; но смотри, потешь его боярскую спесь; оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; поговори с ним о его заслугах, о знатности — и он будет от тебя без памяти. А теперь, — продолжал он, потряхивая дубинкою, — заведи меня к плуту Данилычу, с которым надо мне перевестись за его новые проказы».

Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меншикова и возвратился домой.

ГЛАВА VI

Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы.

— Кто здесь? — произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог. — Скоро ли рассветет? — спросила Наталья.

— Теперь уже полдень, — отвечала служанка.

— Ах, боже мой, отчего же так темно?

— Окна закрыты, барышня.

— Дай же мне поскорее одеваться.

— Нельзя, барышня, дохтур не приказал.

— Разве я больна? давно ли?

— Вот уж две недели.

— Неужто? а мне казалось, будто я вчера только легла...

Наташа умолкла; она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с нею случилось, но что именно? не могла вспомнить. Служанка всё стояла перед нею, ожидая приказанья. В это время раздался снизу глухой шум.

— Что такое? — спросила больная.

— Господа откушали, — отвечала служанка; — встают из-за стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна.

Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку.

Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами, и спросили вполголоса:

— Что Наташа?

— Здравствуй, тетушка,— сказала тихо больная; и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила.

— Барышня в памяти,— сказала служанка, осторожно придвигая кресла.

Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь, в черном кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по-латыни, а потом и по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал, а старушка встала и, снова поцеловав Наталью, с доброю вестью тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу.

В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках, сидел царский арап, почтительно разговаривая с Гаврилою Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку; наскуча сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки.

— Вас зовут, Гаврила Афанасьевич,— сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь.

— Дивлюсь твоему терпению,— сказал Корсаков Ибрагиму.— Битый час слушаешь ты бредни о древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои правоучительные примечания! На твоём месте j'aurais planté là старого враля и весь его род, включая тут же и Наталью Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, une petite santé... Скажи по совести, ужели ты влюблен в эту маленькую mîjaugée? Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету; право, я благо-разумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете? Например: я конечно собою не дурен, но случилось однако ж мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего. Ты сам... помнишь нашего парижского приятеля, графа D.? — Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто смотрит на это равнодушно! но ты!.. С твоим ли пылким, задумчивым и подо-

зрительным характером, с твоим сплюснутым носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..

— Благодарю за дружеский совет,— перерыв холодно Ибрагим,— но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать...

— Смотри, Ибрагим,— отвечал смеясь Корсаков,— чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле.

Но разговор в другой комнате становился горяч.

— Ты уморишь ее,— говорила старушка.— Она не вынесет его виду.

— Но посуди ты сама,— возражал упрямый брат.— Вот уже две недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он наконец может подумать, что ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтоб как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так три раза присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя — а я ссориться с ним не намерен.

— Господи боже мой,— сказала Татьяна Афанасьевна,— что с нею, бедною, будет? По крайней мере, пусти меня приготовить ее к такому посещению.— Гаврила Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную.

— Слава богу,— сказал он Ибрагиму,— опасность миновалась. Наталье гораздо лучше; если б не совестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту.

Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя.

Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она села, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слова, как дверь отворилась. Наташа спросила: кто пришел.— Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она? Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала цар-

ского арапа. Тут она вспомнила всё, весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза... сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку.

Несчастливая красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая, старая крошка как шарик подкатилась к ее кровати. Ласточка (так называлась карлица) во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилою Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку.

Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во всё, знала всё, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелкие просьбы; Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами; а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения шестнадцатилетнего своего сердца.

— Знаешь, Ласточка? — сказала она, — батюшка выдает меня за арапа.

Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более.

— Разве нет надежды, — продолжала Наташа, — разве батюшка не сжалится надо мною?

Карлица тряхнула чепчиком.

— Не заступятся ли за меня дедушка или тетушка?

— Нет, барышня. Арап во время твоей болезни всех успел заморозить. Барин от него без ума, князь только им и бредит, а Татьяна Афанасьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего жениха грех нам и желать.

— Боже мой, боже мой! — простонала бедная Наташа.

— Не печалься, красавица наша,— сказала карлица, целуя ее слабую руку.— Если уж и быть тебе за арапом, то все же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину; мужья жен не запирают; арап, слышно, богат; дом у вас будет как полная чаша, заживешь припеваючи...

— Бедный Валериан,— сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.

— То-то, барышня,— сказала она, таинственно понизив голос; — кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б.

— Что? — сказала испуганная Наташа,— я бредила Валерианом, батюшка слышал, батюшка гневается!

— То-то и беда,— отвечала карлица.— Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего: уж покорись воле родительской, а что будет, то будет.

Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилаь она своему жребию.

ГЛАВА VII

В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а перед кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница, треугольная шляпа; над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картинка, изображающая Карла XII верхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлаффорке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться.

В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого роста, в мундире, вошел в комнату.

Удивленный швед встал перед нечаянным гостем.

— Ты не узнал меня, Густав Адамыч,— сказал молодой посетитель тронутым голосом.— Ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть не наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки.

Густав Адамыч пристально всматривался...

— Э-э-э,— вскричал он наконец, обнимая его,— сдарофо, тофно ли твой сдесь. Садись, твой тобрий повес, погофोरим.

.

РОМАН В ПИСЬМАХ

1. Лиза — Саше.

Ты конечно, милая Сашенька, удивилась нечаянному моему отъезду в деревню. Спешу объяснить во всем откровенно. Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно, Авдотья Андреевна воспитывала меня наравне с своею племянницею. Но в ее доме я всё же была воспитанница, а ты не можешь вообразить, как много мелочных горестей неразлучны с этим званием. Много должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только, чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня. Неужто предполагают во мне, думала я, зависть или что-нибудь похожее на такое детское малодушие? Поведение со мною мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно задевало мое самолюбие. Холодность их или приветливость, всё казалось мне неуважением. Словом, я была создание пренесчастное, и сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц, дальних родственниц, *demoiselles de compagnie* и тому подобное, обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца.

Тому ровно три недели получила я письмо от бедной моей бабушки. Она жаловалась на свое одиночество и звала меня к себе в деревню. Я решилась воспользоваться

этим случаем. Насилу могла выпросить у Авдотьи Андреевны позволения ехать, и должна была обещать зимою возвратиться в Петербург, но я не намерена сдержать свое слово. Бабушка мне чрезвычайно обрадовалась; она никак меня не ожидала. Слезы ее меня тронули несказанно. Я сердечно ее полюбила. Она была некогда в большом свете и сохранила много тогдашней любезности.

Теперь я живу *дома*, я хозяйка, и ты не поверишь, какое это мне истинное наслаждение. Я тотчас привыкла к деревенской жизни, и мне вовсе не странно отсутствие роскоши. Деревня наша очень мила. Старинный дом на горе, сад, озеро, кругом сосновые леса, всё это осенью и зимою немного печально, но зато весной и летом должно казаться земным раем. Соседей у нас мало, и я еще ни с кем не видалась. Уединение мне нравится на самом деле как в элегиях твоего Ламартина.

Пиши ко мне, мой ангел, письма твои будут мне большим утешением. Что ваши балы, что наши общие знакомые? Хоть я и сделалась затворницей, однако ж я не вовсе отказалась от суеты мира — вести об нем для меня занимательны.

Село Павловское.

2. Ответ Саши.

Милая Лиза.

Вообрази мое изумление, когда узнала я про твой отъезд в деревню. Увидев княжну Ольгу одну, я думала, что ты нездорова, и не хотела верить ее словам. На другой день получаю твое письмо. Поздравляю тебя, мой ангел, с новым образом жизни. Радуюсь, что он тебе понравился. Твои жалобы о прежнем твоем положении меня тронули до слез, но показались мне слишком горькими. Как можешь ты сравнивать себя с воспитанницами и *demoiselles de compagnie*? Все знают, что Ольгин отец был всем обязан твоему и что дружба их была столь же священна, как самое близкое родство. Ты, казалось, была довольна своей судьбою. Никогда не предполагала я в тебе столько раздражительности. Признайся: нет ли другой, тайной причины твоему поспешному отъезду. Я подозреваю... но ты со мною скромничаешь, и я боюсь рассердить тебя заочно своими догадками.

Что сказать тебе про Петербург? Мы еще на даче, но почти все уже разъехались. Балы начнутся недели через две. Погода прекрасная. Я гуляю очень много. На днях обедали у нас гости,— один из них спрашивал, имею ли о тебе известия. Он сказал, что твое отсутствие на балах заметно, как порванная струна в фортепьяно — и я совершенно с ним согласна. Я всё надеюсь, что этот припадок мизантропии будет не продолжителен. Возвратись, мой ангел; а то нынешней зимою мне не с кем будет разделять моих невинных наблюдений и некому будет передавать эпиграмм моего сердца. Прости, моя милая,— подумай и одумайся.

Крестовский остров.

3. Лиза — Саше.

Письмо твое меня чрезвычайно утешило. Оно так живо напомнило мне Петербург, мне казалось, я тебя слышу. Как смешны твои вечные предположения! Ты подозреваешь во мне какие-то глубокие, тайные чувства, какую-то несчастную любовь — не правда ли? успокойся, милая; ты ошибаешься: я похожа на героиню только тем, что живу в глухой деревне и разливаю чай, как Кларисса Гарлов.

Ты говоришь, что тебе некому будет нынешней зимою передавать своих сатирических наблюдений,— а на что же переписка наша? Пиши ко мне всё, что ты заметишь; повторяю тебе, что я вовсе не отказалась от света, что всё, касающееся до него, для меня занимательно. В доказательство того прошу тебя написать, кому отсутствие мое кажется так заметным? Не любезному ли нашему говоруну Алексею Р — ? — Я уверена, что угадала... Уши мои были всегда к его услугам, а ему только и надобно.

Я познакомилась с семейством ***. Отец балагур и хлебосол; мать толстая, веселая баба, большая охотница до виста; дочка стройная меланхолическая девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и на чистом воздухе. Она целый день в саду или в поле с книгой в руках, окружена дворными собаками, говорит о погоде нараспев и с чувством потчует варением. У нее нашла я целый шкап, наполненный старинными романами. Я наме-

рена всё это прочесть и начала Ричардсоном. Надобно жить в деревне, чтоб иметь возможность прочитать хваленую Клариссу. Я благословясь начала с предисловия переводчика и, увидя в нем уверение, что хотя первые шесть частей скучненьки, зато последние шесть в полной мере вознаградят терпение читателя, храбро принялась за дело. Читаю том, другой, третий, — наконец добралась до шестого, — скучно, мочи нет. Ну, думала я, теперь буду я награждена за труд. Что же? Читаю смерть Клариссы, смерть Ловласа, и конец. Каждый том заключал в себе две части, и я не заметила перехода от шести скучных к шести занимательным.

Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внушек! Что есть общего между Ловласом и Адольфом? между тем роль женщин не изменяется. Кларисса, за исключением церемонных приседаний, всё же походит на героиню новейших романов. Потому ли, что способы нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения... а в женщинах — они основаны на чувстве и природе, которые вечны.

Ты видишь: я с тобою болтлива по обыкновенному. Не будь же и ты скупа на заочные разговоры. Пиши ко мне как можно чаще и как можно более: ты не можешь вообразить, что значит ожидание почтового дня в деревне. Ожидание бала не может с ним равняться.

4. Ответ Саши.

Ты ошиблась, милая Лиза. Чтобы смирить твое самолюбие, объявляю, что Р — вовсе не замечает твоего отсутствия. Он привязался к леди Пелам, приезжей англичанке, и от нее не отходит. На его речи отвечает она видом невинного удивления и маленьким восклицанием *oho!*.. а он в восхищении. Знай: спрашивал меня о тебе, всем сердцем жалеет о тебе твой постоянный Владимир **. Довольна ли ты? думаю, очень довольна, и по своему обыкновенью осмеливаюсь предполагать, что и без меня ты догадалась. Шутки в сторону, ** очень занят тобою. На твоём месте я бы завела его далеко. Что ж, он прекрасный жених... Зачем не выйти за него, — ты жила бы на Английской набережной, по субботам имела бы вечера, и вся-

кое утро заезжала бы за мною. Полно тебе дурачиться, мой ангел, приезжай к нам и выходи за **.

Третьего дня был бал у К**. Народу было пропасть. Танцевали до пяти часов. К. В. была одета очень просто; белое креповое платье, даже без гирлянды, а на голове и шее на полмиллиона бриллиантов: только! Z по своему обыкновению была одета уморительно. Откуда берет она свои наряды? На платье ее были нашиты не цветы, а какие-то сушеные грибы. Не ты ли ей, мой ангел, прислала их из деревни? Владимир ** не танцевал. Он едет в отпуск. С. приехали (вероятно, первые), просидели всю ночь не танцуя и уехали последние. Старшая, кажется, была нарумянена — пора... Бал очень удался. Мужчины были недовольны ужином, но ведь они вечно должны быть чем-нибудь да недовольны. Мне было очень весело, хоть я и танцевала *котильон* с несносным дипломатом Ст —, который к природной своей глупости присоединил еще рассеянность, вывезенную им из Мадрита.

Благодарю тебя, душа моя, за отчет об Ричардсоне. Теперь я имею об нем понятие. Прочитать его не надеюсь с моим нетерпением; я и в Вальтер Скотте нахожу лишние страницы.

Кстати: кажется, роман Елены Н. и графа Л. кончается — по крайней мере он так приуныл, а она так важничает, что, вероятно, свадьба решена. Прости, моя прелесть, довольна ли ты моею сегодняшней болтовнею?

5. *Лиза — Саше.*

Нет, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и приехать к вам на свою свадьбу. Откровенно признаюсь, что Владимир ** мне нравился, но никогда я не предполагала выйти за него. Он аристократ, а я смиренная демократка. Спешу объяснить и заметить гордо, как истинная героиня романа, что родом принадлежу я к самому старинному русскому дворянству, а что мой рыцарь внук бородатого миллионщика. Но ты знаешь, что значит наша аристократия. Как бы то ни было, ** человек светский; я могла ему понравиться, но он для меня не жертвует богатой невестою и выгодным родством. Если когда-нибудь и выйду замуж, то выберу здесь какого-нибудь сорокалетнего помещика. Он станет заниматься

своим сахарным заводом, я хозяйством — и буду счастлива, не танцуя на бале у гр. К** и не имея суббот у себя на Английской набережной.

У нас зима: в деревне *c'est un événement*. Это вовсе переменяет образ жизни. Уединенные гуляния прекращаются, раздаются колокольчики, охотники выезжают с собаками, — всё делается светлее, веселее от первого снега. Я никак этого не ожидала. Зима в деревне пугала меня. Но всё на свете имеет свою хорошую сторону.

Я короче познакомилась с Машенькой*** и любила ее; у ней много хорошего, много оригинального. Нечаянно узнала я, что ** их близкий родня. Машенька не видала его семь лет, но от него в восхищении. Он провел у них одно лето, и Машенька беспрестанно рассказывает все подробности тогдашней его жизни. Читая ее романы, я нахожу на полях его замечания, бледно писанные карандашом, — видно, что он был тогда ребенок. Его поражали мысли и чувства, над которыми конечно стал бы он теперь смеяться; по крайней мере видна душа свежая, чувствительная. Я читаю очень много. Ты не можешь вообразить, как странно читать в 1829 году роман, писанный в 775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим около себя странные платья, однако ж знакомые лица, и узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большею частию эти романы не имеют другого достоинства. Происшествие занимательно, положение хорошо запутано, — но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво. Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и вышел бы прекрасный, оригинальный роман. Скажи это от меня моему неблагодарному Р*. Полно ему тратить ум в разговорах с англичанками! Пусть он по старой канве вышьет новые узоры и представит нам в маленькой раме картину света и людей, которых он так хорошо знает.

Маша хорошо знает русскую литературу — вообще здесь более занимаются словесностию, чем в Петербурге. Здесь получают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попеременно верят обоим сторонам, сердятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я понимаю, за что Вяземский и Пушкин так лю-

бят уездных барышень. Они их истинная публика. Я было заглянула в журналы и принялась за критики «Вестника Европы», но их плоскость и лакейство показались мне отвратительны — смешно видеть, как семинарист важно упрекает в безнравственности и неблагопристойности сочинения, которые прочли мы все, мы — санктпетербургские недотроги!..

6. Лиза — Саше.

Милая! мне невозможно долее притворяться, мне нужны помощь и советы дружбы. Тот, от которого убежала, кого боюсь я как несчастья, ** здесь. Что мне делать? голова моя кружится, я теряюсь, ради бога реши, что мне делать. Расскажу тебе всё...

Ты заметила прошедшею зимою, что он от меня не отходил. Он к нам не ездил, но мы виделись везде. Напрасно вооружалась я холодною, даже видом пренебрежения, — ничем не могла я от его избавиться. На балах он вечно умел найти место возле меня, на гулянье он вечно с нами встречался, в театре лорнет его был устремлен на нашу ложу.

Сначала это льстило моему самолюбию. Я, может быть, слишком это ему дала заметить. По крайней мере он, присвоивая себе новые права, говорил мне каждый час о своих чувствах и то ревновал, то жаловался... С ужасом думала я: к чему всё это ведет! и с отчаянием признавала власть его над моей душою. Я уехала из Петербурга, думала тем прекратить зло в его начале. Моя решимость, уверенность в том, что исполнила я свой долг, успокоили было мое сердце, я начинала думать о нем равнодушнее, с меньшею горестию. Вдруг я его вижу.

Я его вижу: вчера были именины ***. Я приехала к обеду, вхожу в гостиную, нахожу толпу гостей, уланские мундиры, дамы меня окружают, я со всеми ими перечековалась. Не замечая никого, сажусь подле хозяйки, гляжу: ** передо мной. Я остолбенела... Он сказал мне несколько слов с видом такой нежной, искренней радости, что и я не имела силы скрыть ни замешательства своего, ни удовольствия.

Пошли за стол. Он сел против меня; я не смела на него взглянуть, но заметила, что все глаза были устремлены на него. Он был молчалив и рассеян. В другое время меня бы очень занимало общее желание привлечь внимание приезжего гвардейского офицера, беспокойство барышень, неловкость мужчин, хохот их при собственных шутках, и между тем учитывая холодность и совершенное невнимание гостя... После обеда он ко мне подошел. Чувствуя, что мне было надобно что-нибудь сказать, я спросила довольно некстати, по делам ли заехал он в нашу сторону. «Я приехал по одному делу, от которого зависит счастье моей жизни», — отвечал он вполголоса и тотчас отошел; он сел играть в бостон с тремя старушками (в том числе с бабушкой), а я ушла наверх к Машеньке, где пролежала до вечера под предлогом головной боли. В самом деле, я была хуже чем нездорова. Машенька от меня не отходила. Она в восторге от **. Он пробудет у них месяц или более. Она целый день будет с ним. Право, она влюблена в него — дай бог, что и он влюбится. Она стройна и странна — мужчинам только того и надобно.

Что мне делать, милая, здесь не будет мне возможности избежать его преследований. Он уж успел обворозжить бабушку. Он будет ездить к нам — опять пойдут признания, жалобы, клятвы — *и к чему?* Он добьется моей любви, моего признания, — потом размыслит о невыгодах женитьбы, уедет под каким-нибудь предлогом, оставит меня, — а я... Какая ужасная будущность! Ради бога, дай мне руку: я тону.

7. Ответ Саши.

То ли дело облегчить сердце полной исповедью! Давно бы так, мой ангел! Охота же тебе было со мною не сознаваться в том, что я давно знала: ** и ты — вы влюблены друг в друга — что за беда? На здоровье. Ты имеешь дар смотреть на вещи бог знает с какой стороны. Ты напрашиваешься на несчастье — берегись накликать его. Почему тебе не выйти за **. Где тут неодолимые препятствия? Он богат, а ты бедна — пустое. Он богат за двух — чего ж вам более. Он аристократ; а ты именем, воспитанием разве не аристократка?

Недавно спор зашел о дамах высшего круга. Я узнала,

что Р объявил однажды себя на стороне аристокрации, потому что она лучше обувается. Итак, не явно ль, что ты с головы до ног аристократка?

Извини меня, мой ангел, но твое патетическое письмо рассмешило меня. ** приехал в деревню для того, чтоб тебя видеть. Какой ужас! Ты гибнешь, ты требуешь моего совета. Уж не сделалась ли ты уездной героиней! Мой совет: обвенчаться как можно скорее в вашей деревянной церкви и приезжать к нам, чтоб явиться Форнариной в картинах, которые затеваются у С **. Поступок твоего рыцаря меня тронул, кроме шуток. Конечно, в старину любовник для благосклонного взгляда уезжал на три года сражаться в Палестину; но в наши времена уехать за 500 верст от Петербурга, для того чтоб увидеться со владычицею своего сердца, — право много значит. ** достоин награды.

*8. Владимир ** — своему другу.*

Сделай одолжение, распусти слух, что я при смерти болен, я намерен просрочить и хочу соблудить всевозможную благопристойность. Вот уже две недели как я живу в деревне и не вижу, как время летит. Отдыхаю от петербургской жизни, которая мне ужасно надоела. Не любить деревни простительно монастырке, только что выпущенной из клетки, да 18-летнему камер-юнкеру — Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете. Тем и я кончу. Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою саратовскую деревню. Звание помещика есть та же служба. Заниматься управлением трех тысяч душ, коих всё благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши...

Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно. Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы оставляем их на произвол плута приказчика, который их притесняет, а нас обкрадывает. Мы проживаем в долг свои будущие доходы, разоряемся, старость нас застает в нужде и в хлопотах.

Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по миру. Древние фамилии приходят в ничтожество; новые поднимаются и в третьем поколении исчезают опять. Состояния сливаются, и ни одна фамилия не знает своих предков. К чему ведет такой политический материализм? Не знаю. Но пора положить ему преграды.

Я без прискорбия никогда не мог видеть унижения наших исторических родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. Да какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятнике: Гражданину Минину и князю Пожарскому. Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был окольный князь Дмитрий Михайлович Пожарский и мещанин Козьма Минич Сухорукий, выборный человек от всего государства. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!

Аристократия чиновная не заменит аристократии родовой. Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа. Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора?

Говоря в пользу аристократии, я не корчу английского лорда, как дипломат Северин, внук портного и повара; мое происхождение, хоть я им и не стыжусь, не дает мне на то никакого права. Но я согласен с Лабрюером: *Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme.*

Всё это надумал я, живучи в чужой деревне, глядя на управление мелкопоместных дворян. Эти господа не служат и сами занимаются управлением своих деревушек, но признаюсь, дай бог им промотаться, как нашему брату. Какая дикость! для них не прошли еще времена Фонвизина. Между ими процветают еще Простаковы и Скотинины!

Это, впрочем, не относится к родственнику, у которого я в гостях. Он очень добрый человек, жена его очень добрая баба, дочь очень добрая девочка. Ты видишь, что я стал очень добр. В самом деле, с тех пор как я в деревне, я стал отменно благосклонен и снисходителен — действие моей патриархальной жизни и присутствия Лизы ***, Мне было скучно без нее не на шутку. Я при-

ехал уговорить ее возвратиться в Петербург. Наше первое свидание было великолепно. Тетка моя была именинница. Всё соседство съехалось. Явилась и Лиза — и едва поверила самой себе, увидев меня... Она не могла же не признаться, что я приехал сюда только для нее. По крайней мере я постарался дать ей это почувствовать. Здесь мой успех превзошел мои ожидания (что много значит). Старушки от меня в восхищении, барыни ко мне так и льнут, «А потому, что патриотки». Мужчины отменно недовольны моею *fatuité indolente*, которая здесь еще новость. Они бесятся тем более, что я чрезвычайно учтив и благопристоен, и они никак не понимают, в чем именно состоит мое нахальство, хотя и чувствуют, что я нахал. Прощай. Что делают наши? *Servitor di tutti quanti*. Пиши ко мне в село **.

9. Ответ друга.

Поручение твое мною исполнено. Вчера в театре объявил я, что ты занемог нервическою горячкою и что, вероятно, тебя уже нет на свете,— итак, пользуйся жизнью, покамест еще ты не воскрес.

Твои нравственные размышления насчет управления имений радуют меня за тебя. То ли дело

Un homme sans peur et sans reproche,
Qui n'est ni roi, ni duc, ni comte aussi.

Состояние русского помещика, по-моему, самое за-
видное.

Чины в России необходимость хотя бы для одних стан-
ций, где без них не добьешься лошадей.

Путившись в важные рассуждения, я совсем забыл,
что теперь тебе не до того — ты занят своею Лизою. Охо-
та тебе корчить г. Фобласа и вечно возиться с женщина-
ми. Это не достойно тебя. В этом отношении ты отстал
от своего века и сбиваешься на *ci-devant* гвардии хрипуна

¹ Здесь в рукописи явный пропуск. По-видимому, часть 9-го письма утрачена.— *Ред.*

1807 г. Покамест это недостаток, скоро ты будешь смешнее генерала Г **. Не лучше ли заранее привыкнуть ко строгости зрелого возраста и добровольно отказаться от увядающей молодости? Знаю, что проповедую втуне, но таково мое назначение.

Все твои друзья тебе кланяются и очень жалеют о преждевременной твоей кончине — между прочим и прежняя твоя приятельница, которая возвратилась из Рима, влюбленная в папу. Как это на нее похоже и как это должно тебя восхитить! Не приедешь ли для соперничества *cum servo servorum dei*? Это было б похоже на тебя. Я всякий день стану тебя ожидать.

*10. Владимир ** — своему другу.*

Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, но ты отстал от своего века — и целым десятилетием. Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг, нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, теперь это всё переменилось. Французский кадрили заменил Адама Смита, всякий волочится и веселится как умеет. Я следую духу времени; но ты неподвижен, ты *si-devant, un homme* стереотип. Охота тебе сиднем сидеть одному на скамеечке оппозиционной стороны. Надеюсь, что Z — обратит тебя на истинный путь: поручаю тебя ее ватиканскому кокетству. Что касается до меня, я совершенно предался патриаршеской жизни: ложусь спать в 10 часов вечера, езжу на порошу с здешними помещиками, играю с старухами в бостон по копейке и сержусь, когда проигрываюсь. С Лизою вижусь каждый день — и час от часу более в нее влюбляюсь. В ней много увлекательного. Эта тихая благородная стройность в обращении, прелесть высшего петербургского общества, а между тем что-то живое, снисходительное, добродородное (как говорит ее бабушка), ничего резкого, жестокого в ее суждениях, она не морщится перед принятием впечатлений, как ребенок перед ревенем. Она слушает и понимает — редкое достоинство в наших женщинах. Часто удивлялся я тупости понятия или нечистоте воображения дам, впрочем очень любезных. Часто самую

тонкую шутку, самое поэтическое приветствие они принимают или за нахальную эпиграмму, или неблагопристойную плоскость. В таком случае холодный вид, ими принимаемый, так убийственно отвратителен, что самая пылкая любовь против него не устоит.

Это испытал я с Еленой ***, в которую был я влюблен без памяти. Я сказал ей какую-то нежность; она приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей приятельнице. Это меня вовсе разочаровало. Кроме Лизы, есть у меня для развлечения Машенька ***. Она мила. Эти девушки, выросшие под яблонями и между скирдами, воспитанные нянюшками и природою, гораздо милее наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения своих матерей, а там — мнения своих мужьев.

Прощай, мой милый; что нового в свете? Объяви всем, что наконец и я пустился в поэзию. Намедни сочинил я надпись к портрету княжны Ольги (за это Лиза очень мило бранила меня):

Глупа как истина, скучна как совершенство.

Не лучше ли:

Скучна как истина, глупа как совершенство.

То и другое похоже на мысль. Попроси В. приискать первый стих и отныне считать меня поэтом.

.

ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА

Г-жа Простакова.
То, мой батюшка, он еще сызмала
к историям охотник.

Скотинин.
Митрофан по мне.

Недоросль.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем как и весьма достаточное биографическое известие.

Милостивый государь мой ** **!

Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, милостивый государь мой, всё, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхино. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смышленный. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк (числом не упомяну), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.

Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив исправного и раторного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту, и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностью; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту

самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и предал его дела (как и он сам) распоряжению всевышнего.

Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию друг с другом не сходились.

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его на́веселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почестся может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девичья.*

Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частию у меня находятся, частию употреблены его ключницею на разные домашние потребности. Таким образом прошлую зимою все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ.** Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия

* Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает.

** В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестью рукою автора надписано: слышано мною от *такой-то особы* (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: «Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» подполковником И. Л. П., «Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня» девицею К. И. Т.

сел и деревень заимствованы из нашего околodka, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волоса русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

Вот, милостивый государь мой, всё, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году Ноября 16.

Село Ненарадово

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.

А. П.

ВЫСТРЕЛ

Стрелялись мы,
Баратынский.

Я поклялся застрелить его по праву дуэли
(за ним остался еще мой выстрел).

Вечер на бивуаке.

I

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею

частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнил счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими

глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу всё было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мною одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор

видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа,— сказал им Сильвио,— обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас,— продолжал он, обратившись ко мне,— жду непременно». С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Всё его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить»,— сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

— Может быть, мы никогда больше не увидимся,— сказал он мне; — перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю посторон-

нее мнение; но я вас люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

— Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.

— Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.

Любопытство мое сильно было возбуждено.

— Вы с ним не дрались? — спросил я. — Обстоятельства, верно, вас разлучили?

— Я с ним дрался, — отвечал Сильвио, — и вот памятник нашего поединка.

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью, с галуном (то, что французы называют *bonnet de police*); он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.

— Вы знаете, — продолжал Сильвио, — что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буйном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которыми не знал он счета и которые никогда у него не пере-

водились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружелюбия; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже напевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундantom. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не поспеял на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел: противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти,— сказал я ему,— вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». — «Вы пичуть не мешаете мне,— возразил он,— извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно; выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам».

Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал...

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что *известная особа* скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

— Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта *известная особа*. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противоположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя*, т. е. самым *горьким* пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде.

Ближних соседей около меня не было, кроме двух или трех *горьких*, коих беседа состояла большею частию в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б ***; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем придет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село *** рекомендоваться их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не выдав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить

взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую.

— Вот хороший выстрел,— сказал я, обращаясь к графу.

— Да,— отвечал он,— выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете? — продолжал он.

— Изрядно,— отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого.— В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов.

— Право? — сказала графиня, с видом большой внимательности; — а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?

— Когда-нибудь, — отвечал граф, — мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета.

— О,— заметил я,— в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать у тебя, брат, рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.

Граф и графиня рады были, что я разговорился.

— А каково стрелял он? — спросил меня граф.

— Да вот как, ваше сиятельство: бывало, увидит он, села на стену муха: вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: Кузька, пистолет! Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавливает муху в стену!

— Это удивительно! — сказал граф; — а как его звали?

— Сильвио, ваше сиятельство.

— Сильвио! — вскричал граф, вскочив со своего места; — вы знали Сильвио?

— Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был как свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?

— Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам... но нет; не думаю; не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?

— Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы?

— А сказывал он вам имя этого повесы?

— Нет, ваше сиятельство, не сказывал... Ах! ваше сиятельство, — продолжал я, догадываясь об истине, — извините... я не знал... уж не вы ли?..

— Я сам, — отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным, — а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи...

— Ах, милый мой, — сказала графиня, — ради бога не рассказывай; мне страшно будет слушать.

— Нет, — возразил граф, — я всё расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил.

Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.

«Пять лет тому назад я женился. — Первый месяц, the honeymoon, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний.

Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. „Ты не узнал меня, граф?“ — сказал он дрожащим голосом. „Сильвио!“ — закричал я, и признаюсь, я почувствовал, как волосы стали вдруг на мне дыбом. „Так

точно,— продолжал он,— выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?“ Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил — он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... я думал о ней... Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. „Жалею,— сказал он,— что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне всё кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому“. Голова моя шла кругом... Кажется, я не соглашался... Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый номер. „Ты, граф, дьявольски счастлив“, — сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить... но — я выстрелил, и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания.)

Я выстрелил,— продолжал граф,— и, слава богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. „Милая,— сказал я ей,— разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища“. Маше всё еще не верилось. „Скажите, правду ли муж говорит? — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио,— правда ли, что вы оба шутите?“ — „Он всегда шутит, графиня,— отвечал ей Сильвио;— однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...“ С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. „Встань, Маша, стыдно! — закричал я в бешенстве;— а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?“ — „Не

буду,— отвечал Сильвио,— я доволен: я видел твоё смещение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести“. Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться».

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.

МЕТЕЛЬ

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой...
Вот, в сторонке божий храм
Виден одинокой.

Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...

Жуковский.

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поестъ, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, Прасковьей Петровною, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Пере-

писываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые конечно будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастьем любовников и скажут им непременно: Дети! придите в наши объятия.

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почитет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие... и она летела стремглав с неизъяснимым замешательством сердца; то видела она Владимира, лежащего

на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головою болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? — раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать; сердце ее сильно забилося. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Всё было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; всё казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша укуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто сию минуту остановить молодую преступницу. Они насили дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял возжи, и лошади поехали. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки-кучера, обратится к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насили с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусар-

ские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи всё было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро напел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, усталая белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избытки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко ли?» — «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» — «Каки у нас лошади», — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». — «Постой, — сказал старик, опуская ставень, — я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» — «Что ж твой сын?» — «Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться». — «Благодарю, высылай скорее сына».

Ворота заскрипели; парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную

снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассветет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым пенарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шляфореке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Ты верно, Маша, вчера угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усастьный землемер и маленький улан были скромны, и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходявшая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что сужело-

го конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единую надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненных под Бородином, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в *** ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши; по крайней мере она берегла всё, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им на встречу. Музыка играла завоеванные песни: *Vive Henri-*

Quatre, тирольские вальсы и арии из Жюконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая по минутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество*! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: *ура!*

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна всё по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с *интересной бледностью*, как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

Se amor non è, che dunque?..

Бурмин был, в самом деле, очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей

Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался права тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятно-го разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно, и он, с своим умом и опытностью, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовию, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностию и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию. Она приготавливала развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду,— отвечала старушка; — подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно бы-

ло избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потушила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю,— сказал Бурмин,— я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux.) «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала,— прервала с живостию Марья Гавриловна,— я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю,— отвечал он ей тихо,— знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

— Я женат,— продолжал Бурмин,— я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

— Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна,— как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость.

— В начале 1812 года,— сказал Бурмин,— я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами.

Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? — сказал мне кто-то, — невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу, — сказала эта, — насильно вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна... Непонятная, непростительная ветреность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»

— Боже мой! — закричала Марья Гавриловна, — и вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?

— Не знаю, — отвечал Бурмин, — не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку; — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...

ГРОБОВЩИК

Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?

Державин.

Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается внаймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в течение восемнадцати лет всё было заведено самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился; кивот с образами, шкаф с посудой, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке, с подписью: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашенные, также отдаются напрокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар.

Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми

веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтоб журить своих дочерей, когда заставлял их без дела глазеющих в окно на прохожих, или чтоб запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье (а иногда и удовольствие) в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгулье, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.

Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать немца ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приблизился к гробовщику. «Извините, любезный сосед, — сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха доньше слышать не можем, — извините, что я вам помешал... я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкупать чашку чаю, и, благодаря открытому праву Готлиба Шульца, вскоре они разговорились дружелюбно. «Какое торгует ваша милость?» — спросил Адриан. «Э-хе-хе, — отвечал Шульц, — и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш: живой без



ГРОБОВЩИК И ГОТЛИВ ШУЛЬЦ

Рисунок А. С. Пушкина. 1830 г.

сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет». — «Сущая правда, — заметил Адриан; — однако ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогневайся, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб». Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени; наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение.

На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые платья и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи.

Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частию немцами ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря

на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почталион Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась новая, серенькая с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около нее *с секирой и в броне сермяжной*. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот: иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, семнадцатилетняя Лотхен, обедая с гостями, всё вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриан ему не уступал; дочери его чинились; разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку — и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим: пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем, unserer Kundleute!» Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко, посреди сих взаимных поклонов, закричал, обратясь к своему соседу: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали

пить, и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красненьком сафьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая в сем случае русскую поговорку: долг платежом красен. Гробовщик пришел домой пьян и сердит. «Что ж это, в самом деле,— рассуждал он вслух,— чем ремесло мое нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу? чему смеются басурмане? разве гробовщик гаер святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой: ин не бывать же тому! А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных». — «Что ты, батюшка? — сказала работница, которая в это время разувала его, — что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье! Экая страсть!» — «Ей-богу, созову,— продолжал Адриан,— и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попить; угощу, чем бог послал». С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.

На дворе было еще темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на Разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты; свечи горели; священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик, по обыкновению своему, побоялся, что лишнего не возьмет; значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно; к вечеру всё сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная.

Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся. «Что бы это значило? — подумал Адриан. — Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго!» И гробовщик думал уже кликнуть себе на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приблизился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но второпях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне, — сказал запыхавшись Адриан, — войдите же, сделайте милость». — «Не церемонься, батюшка, — отвечал тот глухо, — ступай себе вперед; указывай гостям дорогу!» Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина!» — подумал он и спешил войти... тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы... Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совесть и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров, — сказал бригадир от имени всей честной компании, — все мы поднялись на твое приглашение; остались дома только те, которым уже невмочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел — так хотелось ему побывать у тебя...» В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приблизился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Ключки светло-зеленого и красного сукна и

ветхой холстины кой-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров,— сказал скелет.— Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб— и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему костяные объятия— но Адриан, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.

— Как ты заспался, батюшка, Адриан Прохорович,— сказала Аксинья, подавая ему халат.— К тебе заходил сосед портной, и здешний будочник забежал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почитать, и мы не хотели тебя разбудить.

— А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?

— Покойницы? Да разве она умерла?

— Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?

— Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблагостили.

— Ой ли! — сказал обрадованный гробовщик.

— Вестимо так,— отвечала работница.

— Ну коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей.

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.
Князь Вяземский.

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подъячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем однако справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?.. боже! какие ругательства, какие угрозы посылаются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав

ему спасибо. Чрез пять минут — колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во всё это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого зрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных зрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные зрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коиими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия зрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего зрители со мною не церемонились, и часто бирали я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие зрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай*? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй, Дуня! — закричал смотритель, — поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с, — отвечал он с видом довольного самолюбия; — да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шляфоре отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шляфоре выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Всё это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потушила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне всё не хотелось рас-

статься с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцелуев,

С тех пор, как этим занимаюсь,

но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал... Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину — и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?» — спросил я его; — мы с тобою старые знакомые». — «Может статься, — отвечал он угрюмо; — здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало». — «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А бог ее знает», — отвечал он. «Так видно она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слышал моего вопроса и продолжал шепотом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомого.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню?— начал он.— Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не наглажусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе.— Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпугав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать... Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С *** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил

почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и охая заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Большой обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своею рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... «Чего же ты боишься? — сказал ей отец, — ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как напало на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь: священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила

ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С *** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец или только желал похвастаться дальновидностию, но он нисколько не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С *** почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидаться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глаза, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! — продолжал старик, — что с во-

зу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну». — «Что сделано, того не воротить», — сказал молодой человек в крайнем замешательстве; — виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком, и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Поехал!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть еще раз увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял — да и пошел.

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь? — спросил он, — не Минского ли?» — «Точно так, — отвечал кучер, — а что тебе?» — «Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». — «Да вот здесь, во втором этаже. Оpozдал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее». — «Нужды нет, — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца, — спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь, — отвечала молодая служанка; — зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя! — закричала вслед ему служанка, — у Авдотьи Самсоновны гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?» — спросила она, не подымая головы. Он всё молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню, и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? — сказал он ему, стиснув зубы, — что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» и, сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукою и решился отступить. Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год, — заключил он, — как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голю кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей мгилы...»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти

возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжение своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» — никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «Отчего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» — «За околицей, подле покойной хозяйки его». — «Нельзя ли довести меня до его могилы?» — «Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище да укажи ему смотрителеву могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

— Знал ты покойника? — спросил я его дорогой.

— Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезать. Бывало (царство ему небесное!), идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» — а он нас орешками и наделяет. Всё, бывало, с нами возится.

— А проезжие вспоминают ли его?

— Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

— Какая барыня? — спросил я с любопытством.

— Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка; — ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала

и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром — такая добрая барыня!..

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.

— Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, вспрыгнув на грудку песка, в которую врыт был черный крест с медным образом.

— И барыня приходила сюда? — спросил я.

— Приходила, — отвечал Ванька; я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром — славная барыня!

И я дал мальчишке пятак и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.

Богданович.

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезде в поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме «Сенатских ведомостей». Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе,

Но на чужой манер хлеб русский не родится,
и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне

находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англomanии своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с! — говорил он с лукавой усмешкою, — у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англoman выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай.

Алексей был, в самом деле, молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стапа никогда не стягивал военный мундир и если бы он, вместо того чтоб рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р.*

Те из моих читателей, которые не жилали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих

садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохой в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: *особенность характера, самобытность* (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навыв свет скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не во осуждение, однако ж *nota nostra* manet, как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Всё это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и, следственно, балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки *в этой варварской России*.

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.

— Позвольте мне сегодня пойти в гости,— сказала однажды Настя, одевая барышню.

— Изволь; а куда?

— В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать.

— Вот! — сказала Лиза,— господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.

— А нам какое дело до господ! — возразила Настя; — к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело.

— Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да Расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек.

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.

— Ну, Лизавета Григорьевна,— сказала она, входя в комнату,— видела молодого Берестова; нагляделась довольно; целый день были вместе.

— Как это? Расскажи, расскажи по порядку.

— Извольте-с: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...

— Хорошо, знаю. Ну потом?

— Позвольте-с, расскажу всё по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...

— Ну! а Берестов?

— Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...

— Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!

— Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное блан-манже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился.

— Ну что ж? Правда ли, что он так хорош собой?

— Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...

— Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?

— Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.

— С вами в горелки бегать! Невозможно!

— Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!

— Воля твоя, Настя, ты врешь.

— Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.

— Да как же говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?

— Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!

— Это удивительно! А что в доме про него слышно?

— Барин, рассказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно не хорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится.

— Как бы мне хотелось его видеть!— сказала Лиза со вздохом.

— Да что же тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; вы верно встретите его. Он же всякий день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту.

— Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне всё же нельзя будет с ним познакомиться... Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

— И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.

— А по-здесьнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка!— И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.

На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговиц, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, посадила за шитье всю девичью, и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою,

наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму-пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точностью определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? Итак, она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: *tout beau, Sbogar, ici...* и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая,— сказал он Лизе,— собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин,— сказала она, притворяясь полуиспуганной, полужастенчивой,— боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу

тебя, если ты боишься,— сказал он ей; — ты мне позволишь идти подле себя?» — «А кто те мешает? — отвечала Лиза,— вольному воля, а дорога мирская». — «Откуда ты?» — «Из Прилучина; я дочь Василья-кузнеца, иду по грибы» (Лиза несла кузовок на веревочке). «А ты, барин? Тугиловский, что ли?» — «Так точно,— отвечал Алексей,— я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнивать их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь,— сказала она,— не на дуру попал. Вижу, что ты сам барин». — «Почему же ты так думаешь?» — «Да по всему». — «Однако ж?» — «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями,— сказала она с важностию,— то не извольте забываться». — «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? — сказала она,— разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагляделась. Однако,— продолжала она,— болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим...» Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» — «Акулиной,— отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой; — да пусти ж, барин; мне и домой пора». — «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василью-кузнецу». — «Что ты? — возразила с живостию Лиза,— ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец мой, Василий-кузнец, прибьет меня до смерти». — «Да я непременно хочу с тобой опять видеться». — «Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами». — «Когда же?» — «Да хоть завтра». — «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?» — «Да,

да». — «И ты не обманешь меня?» — «Не обману». — «Побожись». — «Ну вот те святая пятница, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перелазала через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее, — сказал он, — как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия-кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.

С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился на встречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним и что она про-

сит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Всё это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил всё свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово,— сказала она наконец,— что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы,— сказала Лиза,— довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности, вообще, должны казаться приторными, итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили.

Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, всё помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романического надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнившись хорошею погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англо-изированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется *господам* по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянный закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не устоял. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскочил к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов при-

гласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорью Ивановичу. «Что это значит, папа? — сказала она с удивлением, — отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» — «Вот уж не угадаешь, my dear», — отвечал ей Григорий Иванович и рассказал всё, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите! — сказала она, побледнев. — Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь». — «Что ты, с ума сошла? — возразил отец, — давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...» — «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нею ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насе; обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, всё ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа,— отвечала Лиза,— я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». — «Опять какие-нибудь проказы! — сказал смеясь Григорий Иванович. — Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов вошел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы, вошла старая мисс Жаксон, набеленная, затянута, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексеево пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши,

насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbécile торчали как фижмы у Madame de Pompadour; талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложженные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирilo его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя всё это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их? — спросил он Лизу. — А знаешь ли что? Белила право тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоём месте я бы стал белиться; разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умиловать раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдания. Лизе

было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъяснением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечер у наших господ? — сказала она тотчас Алексею, — какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», — возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...» — «Что же говорят?» — «Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» — «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом». — «Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень, и, чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж, — сказала она со вздохом, — хоть барышня, может, и смешна, всё же я перед нею дура безграмотная». — «И! — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». — «А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли в самом деле?» — «Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо! — говорил Алексей. — Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам «Наталью, боярскую дочь», прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ими завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Нас-тя втайне исправляла должность почтальона. Туда прино-

сил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина видимо привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича всё его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако же не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович), вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали всё это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговаривались, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились; по крайней мере Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время всё сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает!» — «Нет, батюшка, — отвечал почтительно Алексей, — я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам повиноваться». — «Хорошо, — отвечал Иван Петрович, — вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж

и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

— На ком это, батюшка? — спросил изумленный Алексей.

— На Лизавете Григорьевне Муромской, — отвечал Иван Петрович; — невеста хоть куда; не правда ли?

— Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.

— Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.

— Воля ваша. Лиза Муромская мне вовсе не нравится.

— После понравится. Стерпится, слюбится.

— Я не чувствую себя способным сделать ее счастье.

— Не твое горе — ее счастье. Что? так-то ты считаешь волю родительскую? Добро!

— Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.

— Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться.

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им гибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» — спросил он, останавливая свою лошадь перед

крыльцом прилучинского замка. «Никак нет,— отвечал слуга; — Григорий Иванович с утра изволил выехать». — «Как досадно!» — подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?» — «Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада.

«Все будет решено,— думал он, подходя к гостиной; — объяснюсь с нею самою». Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платье, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться... «*Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?*» — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.

— Ага! — сказал Муромский, — да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

КОНЕЦ ПОВЕСТЯМ
И. П. БЕЛКИНА

ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА

Если бог пошлет мне читателей, то, может быть, для них будет любопытно узнать, каким образом решился я написать Историю села Горюхина. Для того должен я войти в некоторые предварительные подробности.

Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года апреля 1 числа и первоначальное образование получил от нашего дьячка. Сему-то почтенному мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотой к чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадежны, ибо на десятом году от роду я знал уже почти всё то, что поныне осталось у меня в памяти, от природы слабой и которую по причине столь же слабого здоровья не позволяли мне излишне отягощать.

Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый день находил в нем новые незамеченные красоты. После генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству, никто не знал его лично, на все мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил Новейший письмовник, что твердо знал я и прежде. Мрак неизвестности окружал его как некоего древнего полубога; иногда я даже сомневался в истине его существования. Имя его казалось мне вымышленным и предание о нем пустою мифою, ожидавшею изыскания нового Нибура. Однако же он всё преследовал мое воображение, я старался придать какой-нибудь образ

сему таинственному лицу, и наконец решил, что должен он был походить на земского заседателя Корючкина, маленького старичка с красным носом и сверкающими глазами.

В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Ивановича Мейера — где пробыл я не более трех месяцев, ибо нас распустили перед вступлением неприятеля — я возвратился в деревню. По изгнании двухнадесяти языков хотели меня снова везти в Москву посмотреть, не возвратился ли Карл Иванович на прежнее пепелище или, в противном случае, отдать меня в другое училище, но я упросил матушку оставить меня в деревне, ибо здоровье мое не позволяло мне вставать с постели в 7 часов, как обыкновенно заведено во всех пансионах. Таким образом достиг я шестнадцатилетнего возраста, оставаясь при первоначальном моем образовании и играя в лапту с моими потешными, единственная наука, в коей приобрел я достаточное познание во время пребывания моего в пансионе.

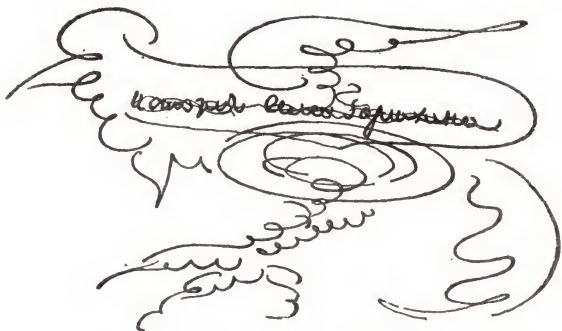
В сие время определился я юнкером в ** пехотный полк, в коем и находился до прошлого 18 ** года. Пребывание мое в полку оставило мне мало приятных впечатлений, кроме производства в офицеры и выигрыша 245 рублей в то время, как у меня в кармане всего оставалось рубль 6 гривен. Смерть дражайших моих родителей принудила меня подать в отставку и приехать в мою вотчину.

Сия эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намерен о ней распространиться, заранее прося извинения у благосклонного читателя, если во зло употреблю снисходительное его внимание.

День был осенний и пасмурный. Прибыв на станцию, с которой должно было мне своротить на Горюхино, нанял я вольных и поехал проселочною дорогой. Хотя я нрава от природы тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ямщика, то обещая ему на водку, то угрожая побоями, и как удобнее было мне толкать его в спину, нежели вынимать и развязывать кошелек, то, признаюсь, раза три и ударил его, что отроду со мною не случалось, ибо сословие ямщиков, сам не знаю почему, для меня в особенности любезно. Ямщик погонял свою тройку, но мне казалось, что он, по обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутом,

все-таки затыгивал гужи. Наконец завидел Горюхинскую рошу; и через 10 минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось — я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Восемь лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в некошенный луг, на котором паслась корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца. Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни были открыты и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской избы и спросила, кого мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу, и вскоре дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые лица — и дружески со всеми ими целуясь: мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии: «Как ты постарела» — и мне отвечали с чувством: «Как вы-то, батюшка, подурнели». Повели меня на заднее крыльцо, навстречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить баню. Повар, ныне в бездействии отрастивший себе бороду, вызвался приготовить мне обед, или ужин — ибо уже смеркалось. Тотчас очистили мне комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матушки, и я очутился в смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой за 23 года тому родился.

Около трех недель прошло для меня в хлопотах всякого рода — я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконец принял я наследство и был введен во владение отчиной; я успокоился, но скоро скука бездействия стала меня мучить. Я не был еще знаком с добрым и почтенным соседом моим **. Занятия хозяйственные были вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произведенной мною в ключницы и управительницы, состояли счетом из 15 домашних анекдотов, весьма для меня любопытных, но рассказываемых ею всегда одинаково, так что она сделалась для меня другим *новейшим письмовником*, в котором я знал, на какой странице какую найду строчку. Настоя-



«ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА»

Заставка-рисунок А. С. Пушкина, 1830 г.

щий же заслуженный письмовник был мною найден в кладовой, между всякой рухлядью, в жалком состоянии. Я вынес его на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю свою прелесть, я прочел его еще раз и больше уже не открывал.

В сей крайности пришло мне на мысль, не попробовать ли самому что-нибудь сочинить? Благосклонный читатель знает уже, что воспитан я был на медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено, до шестнадцати лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, проводя время с жидами да с маркитантами, играя на ободранных биллиардах и маршируя в грязи.

К тому же быть сочинителем казалось мне так мудрено, так недостижимо нам непосвященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание мое встретиться с одним из них никогда не было исполнено? Но это напоминает мне случай, который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности.

В 1820 году еще юнкером случилось мне быть по казенной надобности в Петербурге. Я прожил в нем неделю и, несмотря на то, что не было там у меня ни одного знакомого человека, провел время чрезвычайно весело: каждый день тихонько ходил я в театр, в галерею 4-го яруса. Всех актеров узнал по имени и страстно влюбился

в **, игравшую с большим искусством в одно воскресенье роль Амалии в драме «Ненависть к людям и раскаяние». Утром, возвращаясь из Главного штаба, заходил я обыкновенно в низенькую конфетную лавку и за чашкой шоколада читал литературные журналы. Однажды сидел я углубленный в критическую статью «Благонамеренного»; некто в гороховой шинели ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько потянул листок «Гамбургской газеты». Я так был занят, что не поднял и глаз. Незнакомый спросил себе бифштексу и сел передо мною; я всё читал, не обращая на него внимания; он между тем позавтракал, сердито побранил мальчика за неисправность, выпил полбутылки вина и вышел. Двое молодых людей тут же завтракали. «Знаешь ли, кто это был? — сказал один другому: — Это Б., сочинитель». — «Сочинитель», — воскликнул я невольно, — и, оставя журнал недочитанным и чашку недопитую, побежал расплачиваться и, не дождавшись сдачи, выбежал на улицу. Смотря во все стороны, увидел я издали гороховую шинель и пустился за нею по Невскому проспекту только что не бегом. Сделав несколько шагов, чувствую вдруг, что меня останавливают, — оглядываюсь, гвардейский офицер заметил мне, что-де мне следовало не толкнуть его с тротуара, но скорее остановиться и вытянуться. После сего выговора я стал осторожнее; на беду мою поминутно встречались мне офицеры, я поминутно останавливался, а сочинитель всё уходил от меня вперед. Отроду моя солдатская шинель не была мне столь тягостною, отроду эполеты не казались мне столь завидными. Наконец у самого Аничкина моста догнал я гороховую шинель. «Позвольте спросить, — сказал я, приставя ко лбу руку, — вы г. Б., коего прекрасные статьи имел я счастье читать в „Соревнователе просвещения?“» — «Никак нет-с, — отвечал он мне, — я не сочинитель, а стряпчий, но ** мне очень знаком; четверть часа тому я встретил его у Полицейского мосту». — Таким образом уважение мое к русской литературе стоило мне 30 копеек потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста — а всё даром.

Несмотря на все возражения моего рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец, не будучи более в состоянии противиться влечению природы, я спил себе толстую тетрадь с твердым намерением наполнить ее чем бы то ни было. Все

роды поэзии (ибо о смиренной прозе я еще и не помышлял) были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из отечественной истории. Недолго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика — и принялся за работу.

К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, именно: «Опасного соседа», «Критику на Московский бульвар», «на Пресненские пруды» и т. п. Несмотря на то поэма моя подвигалась медленно, и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический род не мой род, и начал трагедию Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал обратить ее в балладу — но и баллада как-то мне не давалась. Наконец вдохновение озарило меня, я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика.

Несмотря на то, что надпись моя была не вовсе недостойна внимания, особенно как первое произведение молодого стихотворца, однако ж я почувствовал, что я не рожден поэтом, и довольствовался сим первым опытом. Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что уже не мог я расстаться с тетрадью и чернильницей. Я хотел низойти к прозе. На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением плана, скреплением частей и т. п., я вознамерился писать отдельные мысли, без связи, без всякого порядка, в том виде, как они мне станут представляться. К несчастью, мысли не приходили мне в голову, и в целые два дня надумал я только следующее замечание:

Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию.

Мысль конечно справедливая, но уже не новая. Оставя мысли, принялся я за повести, но, не умея с непривычки расположить вымышленное происшествие, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить истину живостию рассказа, а иногда и цветами собственного воображения. Составляя сии повести, мало-помалу образовал я свой слог и приучился выражаться правильно, приятно и свободно. Но скоро запас мой истощился, и я стал опять искать предмета для литературной моей деятельности.

Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшествий

давно тревожила мое воображение. Быть судиею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью, доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностию, где бы не предупредили меня многоученые, добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими? Стану ль писать историю всемирную — но разве не существует уже бессмертный труд аббата Милота? Обращусь ли к истории отечественной? что скажу я после Татищева, Болтина и Голикова? и мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного смысла обветшалого языка, когда не мог я выучиться славянским цифрам? Я думал об истории меньшего объема, например об истории губернского нашего города; но и тут сколько препятствий, для меня неодолимых! Поездка в город, визиты к губернатору и к архиерею, просьба о допущении в архивы и монастырские кладовые и проч. История уездного нашего города была бы для меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика и представляла мало пищи красноречию: *** был переименован в город в 17 ** году, и единственное замечательное происшествие, сохранившееся в его летописях, есть ужасный пожар, случившийся десять лет тому назад и истребивший базар и присутственные места.

Нечаянный случай разрешил мои недоумения. Баба, развешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. Весь дом знал охоту мою к чтению. Ключница моя, в то самое время как я, сидя за моей тетрадью, грыз перо и думал об опыте сельских проповедей, с торжеством втащила корзинку в мою комнату, радостно восклицая: «книги! книги!» — «Книги!» — повторил я с восторгом и бросился к корзинке. В самом деле, я увидел целую грудку книг в зеленом и синем бумажном переплете. Это было собрание старых календарей. Сие открытие охладило мой восторг, но всё я был рад нечаянной находке, всё же это были книги, и я щедро наградил усердие прачки полтиною серебром. Оставшись наедине, я стал рассматривать свои календари, и скоро мое внимание было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цепь годов от 1744 до 1799, т. е. ровно 55 лет. Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным почерком. Брося взор на сии строки, с изумлением увидел я, что они за-

ключали не только замечания о погоде и хозяйственные счета, но также и известия краткие исторические касательно села Горюхина. Немедленно занялся я разбором драгоценных сих записок и вскоре нашел, что они представляли полную историю моей отчины в течение почти целого столетия в самом строгом хронологическом порядке. Сверх сего заключали они неисчислимый запас экономических, статистических, метеорологических и других учебных наблюдений. С тех пор изучение сих записок заняло меня исключительно, ибо увидел я возможность извлечь из них повествование стройное, любопытное и поучительное. Ознакомясь довольно с драгоценными сими памятниками, я стал искать новых источников истории села Горюхина. И вскоре обилие оных изумило меня. Посвятив целые шесть месяцев на предварительное изучение, наконец приступил я к давно желанному труду и с помощью божиею совершил оный сего ноября 3 дня 1827-го года.

Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню, оконча свой трудный подвиг, кладу перо и с грустью иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне, что, написав Историю Горюхина, я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что пора мне опочить!

Здесь прилагаю список источников, послуживших мне к составлению Истории Горюхина:

1. Собрание старинных календарей. 54 части. Первые 20 частей исписано старинным почерком с титлами. Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным. Она отличается ясностию и краткостию слога, например: 4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 — коро-ва бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 — погода ясная. 9 — дождь и снег. Тришка бит по погоде. 11 — погода ясная. Пороша. Затравил 3 зайцев, и тому подобное, безо всяких размышлений... Остальные 35 частей писаны разными почерками, большею частию так называемым *ла-вочничьим* с титлами и без титлов, вообще плодовито, несвязно и без соблюдения правописания. Кой-где заметна женская рука. В сие отделение входят записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а его супруги, Евпраксии Алексеевны, также и записки приказчика Гарбовицкого.

2. Летопись горюхинского дьячка. Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего попа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал посреди моего двора. Я поднял его и хотел было возвратить детям, как заметил, что он был исписан. С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи, к счастью успел спасти остальное. Летопись сия, приобретенная мною за четверть овса, отличается глубокомыслием и велеречьем необыкновенным.

3. Изустные предания.— Я не пренебрегал никакими известиями. Но в особенности обязан Аграфене Трифоновой, матери Авдея-старосты, бывшей, говорят, любовницею приказчика Гарбовицкого.

4. Ревижские сказки, с замечаниями прежних старост (счетные и расходные книги) касательно нравственности и состояния крестьян.

Страна, по имени столицы своей Горюхином называемая, занимает на земном шаре более 240 десятин. Число жителей простирается до 63 душ. К северу граничит она с деревнями Дериуховом и Перкуховом, коего обитатели бедны, тощи и малорослы, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению заячьей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений карачевских вольных хлебопашцев — соседей беспокойных, известных буйной жестокостию нравов. К западу облегают ее цветущие поля захарьинские, благоденствующие под властью мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное кваканье лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищем некоего беса.

№3. Сие болото и называется *Бесовским*. Рассказывают, будто одна полуумная пастушка стерегла стадо свиней недалеко от сего уединенного места. Она сделалась беременною и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Глас народный обвинил болотного беса; но сия сказка недостойна внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить.

Издревле Горюхино славилось своим плодородием и благорастворенным климатом. Рожь, овес, ячмень и гречиха родятся на тучных его нивах. Березовая роща и еловый лес снабжают обитателей деревьями и валежником на построение и отопку жилищ. Нет недостатка в орехах, клюкве, бруснике и чернике. Грибы произрастают в необыкновенном количестве; сжаренные в сметане представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Пруд наполнен карасями, а в реке Сивке водятся щуки и налимы.

Обитатели Горюхина большей частию росту среднего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностию. *№3. Баба здоровенная*, сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к Ревижским сказкам. Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашне), храбры, воинственны: многие из них ходят одни на медведя и славятся в околodge кулачными бойцами; все вообще склонны к чувственному наслаждению пиянства. Женщины сверх домашних работ разделяют с мужчинами большую часть их трудов; и не уступят им в отважности, редкая из них боится старосты. Они составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе, и называются *копейщицами* (от словенского слова *копье*). Главная обязанность копейщиц как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем устрашать злоумышление. Они столь же целомудренны, как и прекрасны, на покушения дерзновенного отвечают сурово и выразительно.

Жители Горюхина издавна производят обильный торговля, лукошками и лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весною переправляются они на челноках, подобно древним скандинавам, а прочие времена года переходят вброд, предварительно засучив портки до колен.

Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разнится от него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усечениями, некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими. Однако ж великороссиянину легко понять горюхинца, и обратно.

Мужчины женивались обыкновенно на 13-м году на девицах 20-летних. Жены били своих мужей в течение четырех или пяти лет. После чего мужья уже начинали бить жен; и таким образом оба пола имели свое время власти, и равновесие было соблюдено.

Обряд похорон происходил следующим образом. В самый день смерти покойника относили на кладбище, дабы мертвый в избе не занимал напрасно лишнего места. От сего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу. Жены оплакивали мужьев, вой и приговаривая: «Свет-моя удалая головушка! на кого ты меня покинул? чем-то мне тебя поминати?» При возвращении с кладбища начиналася тризна в честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны два, три дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Сии древние обряды сохранились и поныне.

Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения. Зимой носили они овчинный тулуп, но более для красоты, нежели из настоящей нужды, ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде, требующем движения.

Науки, искусства и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии. Сверх священника и церковных причетников, всегда водились в нем грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою. Сей необыкновенный человек прославился в околodge сочинением всякого роду писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т. п. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время как приучался писать правою ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как читатель увидит ниже, важную роль и в истории Горюхина.

Музыка была всегда любимое искусство образованных горюхинцев; балалайка и волынка, услаждая чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла.

Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. Доныне стихотворения Архипа-Лысого сохранились в памяти потомства.

В нежности не уступят они эклогам известного Виргилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостию и остроумием.

Приведем в пример сие сатирическое стихотворение:

Ко боярскому двору
Антон староста идет, (2)
Бирки в пазухе несет (2)
Боярину подает,
А боярин смотрит,
Ничего не смыслит.
Ах ты, староста Антон,
Обокрал бояр кругом,
Село по миру пустил,
Старостиху надарил.

Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию.

БАСНОСЛОВНЫЕ ВРЕМЕНА

СТАРОСТА ТРИФОН

Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властью старшин, выбранных миром, приказчиков, пазначенных помещиком, и наконец, непосредственно под рукою самих помещиков. Выгоды и невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего повествования.

Основание Горюхина и первоначальное население оно-го покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оно-го были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких возах. В то время всё покупали дешево, а дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили

припеваючи, и пастухи стерегли стадо в сапогах. Мы не должны обольщаться сею очаровательною картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что достоверно:

Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну. Горюхино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народом на вече, мирского сходкою называемом.

Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек и требовали прежнего полного дохода от имения, в десять крат уже уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их на вече; старшины витийствовали, мир волновался, а господа, вместо двойного оброку, получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом.

Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял. В последний год властвования Трифона, последнего старосты, народом избранного, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание (кабаком в просторечии именуемое) или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа-Лысого, въехала в село плетеная крытая бричка, заложенная парюю кляч едва живых; на козлах сидел оборванный жид, а из брички высунулась голова в картузе и, казалось, с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. (№3. Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы глумились над еврейским возницею и восклицали смехотворно: «Жид, жид, ешь свиное ухо!..» *Летопись горюхинского дьячка.*) Но сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда приезжий, выпрыгнув из нее, повелительным голосом потребовал старосты Трифона. Сей сановник находился в увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки. Незнакомец, посмотрев на

него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Старосты горюхинские имели обыкновение никогда ничего сами не читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли неподалеку, спящего в переулке под забором, и привели к незнакомцу. Но по приходе или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы письма, четко написанного, показались ему отуманенными, и он не был в состоянии их разобрать. Незнакомец, с ужасными проклятиями отослав спать старосту Трифона и земского Авдея, отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошел в приказную избу, куда жид понес за ним и его маленький чемодан.

Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное происшествие, но вскоре бричка, жид и незнакомец были забыты. День кончился шумно и весело, и Горюхино заснуло, не предвидя, что ожидало его.

С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошки и призыванием на мирскую сходку. Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служивший вечевою площадью. Глаза их были мутны и красны, лица опухлы; они, зевая и почесываясь, смотрели на человека в картузе, в старом голубом кафтане, важно стоявшего на крыльце приказной избы, и старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Староста Трифон и земский Авдей стояли подле него без шапки с видом подобострастия и глубокой горести. «Все ли здесь?» — спросил незнакомец. «Все ли-ста здесь?» — повторил староста. «Все-ста», — отвечали граждане. Тогда староста объявил, что от барина получена грамота, и приказал земскому прочесть ее во услышание мира. Авдей выступил и громогласно прочел следующее. (№. «Грамоту грозновеющую сию списах я у Трифона-старосты, у него же хранилася она в кивоте вместе с другими памятниками владычества его над Горюхином». Я не мог отыскать сего любопытного письма.)

Трифон Иванов!

Вручитель письма сего, поверенный мой **, едет в отчину мою село Горюхино для поступления в управление оною. Немедленно по его прибытию собрать мужиков и объявить им мою барскую волю, а именно: Приказаний поверенного моего ** им, мужикам, слушаться, как моих собственных. А всё, чего он ни потребует, исполнять

беспрекословно, в противном случае имеет он ** поступать с ними со всевозможною строгостию. К сему понудило меня их бессовестное непослушание и твое, Трифон Иванов, плутовское потворство.

Подписано NN.

Тогда **, растопыря ноги наподобие буквы хера и подбочась наподобие ферта, произнес следующую краткую и выразительную речь: «Смотрите ж вы у меня, не очень умничайте; вы, я знаю, народ избалованный, да я выбью дурь из ваших голов небось скорее вчерашнего хмеля». Хмеля ни в одной голове уже не было. Горюхинцы, как громом пораженные, повесили носы и с ужасом разошлись по домам.

ПРАВЛЕНИЕ ПРИКАЗЧИКА **

** принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы; она заслуживает особенного рассмотрения.

Главным основанием оной была следующая аксиома: Чем мужик богаче, тем он избалованнее, чем беднее, тем смирнее. Вследствие сего ** старался о смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и бедняков. 1) Недоимки были разложены меж зажиточных мужиков и взыскаемы с них со всевозможною строгостию. 2) Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на папшю, если же по его расчету труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что они платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатя сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая общественная повинность падала на зажиточных мужиков. Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому правителю; ибо от оногo по очереди откупались все богатые мужики, пока наконец выбор не падал на негодя или разоренного.* Мирские сходки были уничтожены.

* Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в желез, а старик Тимофей сына откупил за 100 р.; а приказчик заковал Петрушку Еремеева, и того откупил отец за 68 р., и хотел окаянный сковать Леху Тарасова, но тот бежал в лес, и приказчик о том вельми крушился и свирепствовал во словесах, а отвезли в город и отдали в рекруты Ваньку пьяницу (Донесение горюхинских мужиков).

Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того, завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противу прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В три года Горюхино совершенно обнищало.

Горюхино приуныло, базар запустел, песни Архипа-Лысого умолкли. Ребятишки пошли по миру. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках; и день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного.

.

РОСЛАВЛЕВ

Читая «Рославлева», с изумлением увидела я, что завязка его основана на истинном происшествии, слишком для меня известном. Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести. Он вновь обратил внимание публики на происшествие забытое, разбудил чувства негодования, усыпленные временем, и возмутил спокойствие могилы. Я буду защитницею тени,— и читатель извинит слабость пера моего, уважив сердечные мои побуждения. Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги.

Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не стану описывать первых моих впечатлений. Легко можно себе вообразить, что должна была чувствовать шестнадцатилетняя девушка, променяв антресоли и учителей на беспрерывные балы. Я предавалась вихрю веселия со всею живостию моих лет и еще не размышляла... Жаль: тогдашнее время стоило наблюдения.

Между девицами, выехавшими вместе со мною, отличалась княжна ** (г. Загоскин назвал ее Полиною, оставляю ей это имя). Мы скоро подружились вот по какому случаю.

Брат мой, двадцатидвухлетний малый, принадлежал сословию тогдашних франтов; он считался в Иностранной коллегии и жил в Москве, танцуя и повесничая. Он влюбился в Полину и упросил меня сблизить наши дома. Брат был идолом всего нашего семейства, а из меня делал, что хотел.

Сблизясь с Полиною из угождения к нему, вскоре я искренно к ней привязалась. В ней было много странного и еще более привлекательного. Я еще не понимала ее, а

уже любила. Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями.

Отец Полины был заслуженный человек, т. е. ездил цугом и носил ключ и звезду, впрочем был ветрен и прост. Мать ее была, напротив, женщина степенная и отличалась важностью и здравым смыслом.

Полина являлась везде; она окружена была поклонниками; с нею любезничали — но она скучала, и скука придавала ей вид гордости и холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому лицу и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это правильное и скучающее лицо.

Полина чрезвычайно много читала, и без всякого разбора. Ключ от библиотеки отца ее был у ней. Библиотека большею частью состояла из сочинений писателей XVIII века. Французская словесность, от Монтескье до романов Кребильона, была ей знакома. Руссо знала она наизусть. В библиотеке не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мне, что с трудом разбирала русскую печать, и, вероятно, ничего по-русски не читала, не исключая и стихов, поднесенных ей московскими стихотворцами.

Здесь позволю себе маленькое отступление. Вот уже, слава богу, лет тридцать, как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке. (NB : Автору «Юрия Милославского» грех повторять пошлые обвинения. Мы все прочли его, и, кажется, одной из нас обязан он и переводом своего романа на французский язык.) Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша, кажется, не старше Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же ото всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только «Историю Карамзина»; первые два или три романа появились два или три года назад, между тем как во Франции, Англии и Германии книги одна другой замечательнее следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для наших литераторов. Мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслим мы на

языке иностранном (по крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода). В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговков, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток. Обращаюсь к моему предмету.

Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны даже в эпоху историческую. Однако ж появление в Москве одной путешественницы оставило во мне глубокое впечатление. Эта путешественница — *m-me de Staël*. Она приехала летом, когда большая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуетилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на нее и были по большей части недовольны ею. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, знавший *m-me de Staël* еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших московских умников. Тут увидела я сочинительницу «Корины». Она сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги. Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны ухотою князя, нежели беседою *m-me de Staël*. Дамы чинились. Те и другие только изредка прерывали молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при европейской знаменитости. Во всё время обеда Полина сидела как на иголках. Внимание гостей разделено было между осетром и *m-me de Staël*. Ждали от нее поминутно *bon-mot*; наконец вырвалось у ней двусмыслие, и даже довольно смелое. Все подхватили его, захохотали, поднялся шепот удивления; князь был вне себя от радости. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее глазах. Гости встали из-за стола, совершенно примиренные с *m-me de Staël*: она сказала каламбур, который они поскакали развозить по городу.

«Что с тобою сделалось, *ma chère*? — спросила я Полину, — неужели шутка, немножко вольная, могла до такой

степени тебя смутить?» — «Ах, милая, — отвечала Полина, — я в отчаянии! Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестящее замечание, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла к увлекательному разговору высшей образованности. А здесь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течение трех часов! Тупые лица, тупая важность — и только! Как ей было скучно! Как она казалась утомленною! Она увидела, чего им было надобно, что могли понять эти обезьяны просвещения, и кинула им каламбур. А они так и бросились! Я сгорела со стыда и готова была заплакать... Но пускай, — с жаром продолжала Полина, — пускай она вывезет об нашей светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере, она видела наш добрый простой народ и понимает его. Ты слышала, что сказала она этому старому, несносному шуту, который из угождения к иностранке вздумал было смеяться над русскими бородами: „Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову“. Как она мила! Как я люблю ее! Как ненавижу ее гонителя!»

Не я одна заметила смущение Полины. Другие пропительные глаза остановились на ней в ту же самую минуту: черные глаза самой *m-me de Staël*. Не знаю, что подумала она, но только она подошла после обеда к моей подруге и с нею разговорилась. Через несколько дней *m-me de Staël* написала ей следующую записку:

Ma chère enfant, je suis toute malade Il serait bien aimable à vous de venir me ranimer. Tâchez de l'obtenir de m-me votre mère et veuillez lui présenter les respects de votre amie de S.

Эта записка хранится у меня. Никогда Полина не объясняла мне своих сношений с *m-me de Staël*, несмотря на всё мое любопытство. Она была без памяти от славной женщины, столь же добродушной, как и гениальной.

До чего доводит охота к злословию! Недавно рассказывала я всё это в одном очень порядочном обществе. «Может быть, — заметили мне, — *m-me de Staël*, была не что иное, как шпион Наполеонов, а княжна ** доставляла ей нужные сведения». — «Помилуйте, — сказала я, — *m-me de*

Staël, десять лет гонимая Наполеоном, благородная, добрая m-me de Staël, насилу убежавшая под покровительство русского императора, m-me de Staël, друг Шатобриана и Байрона, m-me de Staël будет шпионом у Наполеона!..» — «Очень, очень может статься, — возразила востроносовая графиня Б. — Наполеон был такая бестия, а m-me de Staël претонкая штука!»

Все говорили о близкой войне и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастью, заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого моста и тому подобным. Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко.

Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились протонародные листки графа Растопчина; народ ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и гостинные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюр, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.

Полина не могла скрыть свое презрение, как прежде не скрывала своего негодования. Такая проворная перемена и трусость выводили ее из терпения. На бульваре, на Пресненских прудах она нарочно говорила по-французски; за столом в присутствии слуг нарочно оспаривала патриотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности Наполеоновых войск, о его военном гении. Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и спешили укорить

ее в приверженности ко врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. «Дай бог,— говорила она,— чтобы все русские любили свое отечество, как я его люблю». Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда взялась у ней такая смелость. «Помилуй,— сказала я однажды,— охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике; женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта». — Глаза ее засверкали. — «Стыдись,— сказала она,— разве женщины не имеют отечества? разве нет у них отцов, братьев, мужьев? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтоб нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет, я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, к которому присуждают нас. Посмотри на m-me de Staël: Наполеон боролся с нею, как с неприятельскою силой... И дядюшка смеет еще насмехаться над ее робостью при приближении французской армии! „Будьте покойны, сударыня: Наполеон воюет против России, не противу вас...“ Да! если б дядюшка попался в руки французам, то его бы пустили гулять по Пале-Роялю; но m-me de Staël в таком случае умерла бы в государственной темнице. А Шарлота Кордэ? а наша Марфа Посадница? а княгиня Дашкова? чем я ниже их? Уж верно не смелостию души и решительностию». Я слушала Полину с изумлением. Никогда не подозревала я в ней такого жара, такого честолюбия. Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель: *Il n'est de bonheur que dans les voies communes.* *

Приезд государя усугубил общее волнение. Восторг патриотизма овладел наконец и высшим обществом. Гостинные превратились в палаты прений. Везде толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим именем. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении. Полина бредила им. «Вы чем жертвуете?» — спросила она раз у моего брата. «Я не вла-

* Кажется, слова Шатобриана. *Прим. Изд.*

дею еще моим именем,— отвечал мой повеса.— У меня всего-на-все 30 000 долгу: приношу их в жертву на алтарь отечества». Полина рассердилась. «Для некоторых людей,— сказала она,— и честь и отечество, всё безделица. Братья их умирают на поле сражения, а они дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли женщина, довольно низкая, чтоб позволить таким фиглярам притворяться перед нею в любви». Брат мой вспыхнул. «Вы слишком взыскательны, княжна,— возразил он.— Вы требуете, чтобы все видели в вас *m-me de Staël* и говорили бы вам тирады из „Корины“. Знайте, что кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед лицом отечества и его неприятелей». С этим словом он отвернулся. Я думала, что они навсегда поссорились, но ошиблась: Полине понравилась дерзость моего брата, она простила ему неуместную шутку за благородный порыв негодования и, узнав через неделю, что он вступил в Мамоновский полк, сама просила, чтоб я их помирила. Брат был в восторге. Он тут же предложил ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свадьбу до конца войны. На другой день брат мой отправился в армию.

Наполеон шел на Москву; наши отступали; Москва тревожилась. Жители ее выбирались один за другим. Князь и княгиня уговорили матушку вместе ехать в их ***скую деревню.

Мы приехали в **, огромное село в 20-ти верстах от губернского города. Около нас было множество соседей, большею частию приезжих из Москвы. Всякий день все бывали вместе; наша деревенская жизнь походила на городскую. Письма из армии приходили почти каждый день, старушки искали на карте местечка *бивака* и сердились, не находя его. Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кроме газет, растопчинских афишек, и не открывала ни одной книги. Окруженная людьми, коих понятия были ограничены, слыша постоянно суждения нелепые и новости неосновательные, она впала в глубокое уныние; томность овладела ее душою. Она отчаивалась в спасении отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла ее безнадежность, полицейские объявления графа Растопчина выводили ее из терпения. Шутливый слог их казался ей верхом неприличия, а меры, им принимаемые, варварством нестерпимым. Она не постигала мысли тогдашнего времени, столь великой в своем ужасе, мысли, которой

смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты, следуя за быстрыми движениями войск. Странные мысли приходили ей в голову. Однажды она мне объявила о своем намерении уйти из деревни, явиться в французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук. Мне не трудно было убедить ее в безумстве такого предприятия. Но мысль о Шарлоте Кордэ долго ее не оставляла.

Отец ее, как уже вам известно, был человек довольно легкомысленный; он только и думал, чтоб жить в деревне как можно более по-московскому. Давал обеды, завел *théâtre de société*, где разыгрывал французские *proverbes*, и всячески старался разнообразить наши удовольствия. В город прибыло несколько пленных офицеров. Князь обрадовался новым лицам и выпросил у губернатора позволение поместить их у себя...

Их было четверо — трое довольно незначачие люди, фанатически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны, правда, выкупающие свою хвастливость почтенными своими ранами. Но четвертый был человек чрезвычайно примечательный.

Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хорошему дому. Лицо его было приятно. Тон очень хороший. Мы тотчас отличили его. Ласки принимал он с благородной скромностью. Он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные действия и движения войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег и столько же беспокоило французов, как ожесточало русских. «Но вы, — спросила его Полина, — разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора?» Сеникур (назову же и его именем, данным ему г-м Загоскиным) — Сеникур, несколько помолчав, отвечал, что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно требовала ответа. Сеникур признался, что устремление французских войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812-го года, кажется, кончен, но не представляет ничего решительного. «Кончен! — возразила Полина, — а Наполеон всё еще идет вперед, а мы всё еще отступаем!» — «Тем хуже для нас», — отвечал Сеникур, и заговорил о другом предмете.

Полина, которой надоели и трусливые предсказания, и глупое хвастовство наших соседей, жадно слушала суждения, основанные на знании дела и беспристрастии. От брата получала я письма, в которых толку невозможно было добиться. Они были наполнены шутками, умными и плохими, вопросами о Полине, пошлыми уверениями в любви и проч. Полина, читая их, досадовала и пожимала плечами. «Признайся,— говорила она,— что твой Алексей препустой человек. Даже в нынешних обстоятельствах, с полей сражений находит он способ писать ничего не значащие письма, какова же будет мне его беседа в течении тихой семейственной жизни?» Она ошибалась. Пустота братниных писем происходила не от его собственного ничтожества, но от предрассудка, впрочем самого оскорбительного для нас: он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются. Таковое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем.

Разнеслась весть о Бородинском сражении. Все толковали о нем; у всякого было свое самое верное известие, всякий имел список убитым и раненым. Брат нам не писал. Мы чрезвычайно были встревожены. Наконец один из развозителей всякой всячины приехал нас известить о его взятии в плен, а между тем пошепту объявил Полине о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена в моего брата и часто на него досадовала, но в эту минуту она в нем видела мученика, героя, и оплакивала втайне от меня. Несколько раз я застала ее в слезах. Это меня не удивляло, я знала, какое болезненное участие принимала она в судьбе страждущего нашего отечества. Я не подозревала, что было еще причиною ее горести.

Однажды утром я гуляла в саду; подле меня шел Сеникур; мы разговаривали о Полине. Я заметила, что он глубоко чувствовал ее необыкновенные качества и что ее красота сделала на него сильное впечатление. Я смеясь дала ему заметить, что положение его самое романтическое. В плену у неприятеля раненый рыцарь влюбляется в благородную владительницу замка, трогает ее сердце и наконец получает ее руку. «Нет,— сказал мне Сеникур,—

княжна видит во мне врага России и никогда не согласится оставить свое отечество». В эту минуту Полина показала в конце аллеи, мы пошли к ней навстречу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ее меня поразила.

«Москва взята», — сказала она мне, не отвечая на поклон Сеникура; сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Сеникур молчал, потупя глаза. «Благородные, просвещенные французы, — продолжала она голосом, дрожащим от негодования, — ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву. Москва горит уже два дни». — «Что вы говорите, — закричал Сеникур, — не может быть». — «Дождитесь ночи, — отвечала она сухо, — может быть, увидите зарево». — «Боже мой! Он погиб, — сказал Сеникур; — как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принужден будет скорее отступить сквозь разоренную, опустелую сторону при приближении зимы с войском расстроенным и недовольным! И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад! нет, нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное, варварское великодушие! Теперь всё решено: ваше отечество вышло из опасности; но что будет с нами, что будет с нашим императором...»

Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться. «Неужели, — сказала она, — Сеникур прав и пожар Москвы наших рук дело? Если так... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу».

Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали слезы благородного восторга и жаркие мольбы за отечество. «Ты не знаешь? — сказала мне Полина с видом вдохновения; — твой брат... он счастлив, он не в плену, радуйся: он убит за спасение России».

Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия...

ДУБРОВСКИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ГЛАВА I

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окна во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирила Петрович вы-

давал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; но они тщеславились богатством и славою своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство.

Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье; они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходились отчасти и в характерах и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоём Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол». Андрей Гаврилович качал головою и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки».

Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай всё расстроил и переменял.

Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъездное поле. Накануне был отдан приказ псарям и стрелянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирила Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак, под присмотром штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки щенялись и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался пред некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирила Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что же ты хмуришься, брат,— спросил его Кирила Петрович,— или псарня моя тебе не нравится?» — «Нет,— отвечал он сурово,— псарня чудная, вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье,— сказал он,— благодаря бога и барина не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее и теплее». Кири-

ла Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорожденных щенят; он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.

Возвратясь с гостями со псарного двора, Кирила Петрович сел ужинать и тогда только, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по обыкновению своему разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал, Кирила Петрович, встав из-за стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее:

«Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопов не намерен, да и от Вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. За сим остаюсь покорным ко услугам

Андрей Дубровский».

По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирила Петровича не странным слогом и расположением, но только

своею сущностью: «Как,— загремел Троекуров, вскочив с постели босой,— высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! Да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его... Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!»

Кирила Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своею пышностью, но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался, или по крайней мере был не по вкусу Кирила Петровича, который прибил повара, разбранил гостей и на возвратном пути со всею своею охотою нарочно поехал полями Дубровского.

Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское, Кирила Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение.

Дубровский объезжал однажды малое свое владение; приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит: прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту.

Слух о сем происшествии в тот же день дошел до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа), разорить ее дотла и осадить самого помещика в

его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину. Но мысли его вскоре приняли другое направление.

Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку; маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику; Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.

— Здорово, как бишь тебя зовут, — сказал ему Троекуров, — зачем пожаловал?

— Я ехал в город, ваше превосходительство, — отвечал Шабашкин, — и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства.

— Очень кстати заехал, как бишь тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай.

Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.

— У меня сосед есть, — сказал Троекуров, — мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь?

— Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или...

— Врешь, братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой однако ж. Это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?

— Мудрено, ваше высокопревосходительство; вероятно, сия продажа совершена законным порядком.

— Подумай, братец, поищи хорошенько.

— Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то конечно...

— Понимаю, да вот беда — у него все бумаги сгорели во время пожара.

— Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! чего ж вам лучше? — в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.

— Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.

Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и, благодаря его проворству, ровно через две недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистеневкою.

Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение. Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но в последствии времени оказавшуюся недостаточной.

Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела. Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, страдая и подкупая судей и толкуя вкрив и впрям всевозможные указы.

Как бы то ни было, 18... года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к ** земскому судье для выслушания решения одного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.

ГЛАВА II

Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствии уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирила Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открытых дверях. Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке. Настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда. Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидеть один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право.

18... года октября 27 дня ** уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кирилу Петрову сыну Троекурову, состоящим ** губернии в сельце Кистеневке, мужеска пола ** душами, да земли с лугами и угодьями ** десятин. Из коего дела видно: означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18... года июня 9 дня возшел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский ассессор и кавалер Петр Ефимов сын Троекуров в 17... году августа 14 дня, служивший в то время в ** наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение, состоящее ** округи в помянутом сельце Кистеневке (которое селение тогда по ** ревизии называлось Кистеневскими выселками), всего значащихся по 4-й ревизии мужеска пола ** душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, с пашенною и непашенною землею, лесами, санными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистеневке, и со всеми принадлежащими к оному имению угодьями и господским деревянным домом, и словом всё без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына по наследству досталось и во владении его было, не оставляя из людей ни единыя души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2500 р., на что и купчая в тот же день в ** палате суда и расправы совершена, и отец его тогда же августа в 26-й день ** земским судом введен был во владение и учинен за него отказ.— А накопец 17... года сентября 6-го дня отец его волею божиею помер, а ме-

жду тем он, проситель генерал-аншеф Троекуров, с 17... года почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имения отца его, состоящие ** и ** губерниях **, ** и ** уездах, в разных селениях, всего до 3000 душ, находит, что из числа таковых имений вышеписанными ** душами (коих по нынешней ** ревизии значится в том сельце всего ** душ) с землею и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его, Троекурова, распоряжение. А за несправедливое одного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении об оных надлежащего дознания, положить с него, Дубровского, следующее по законам взыскание и оным его, Троекурова, удовлетворить.

По учинении ж ** земским судом по сему прошению исследования открылось: что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневке, ** душ с землею и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности, данной от него в 17... году августа 30 дня, засвидетельствованной в ** уездном суде, титулярному советнику Григорью Васильеву сыну Соболеву, по которой должна быть от него на имение сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, всё доставшееся ему по купчей от канцеляриста Спицына имение, ** душ с землею, продал отцу его, Дубровского, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил и просил одного доверенного Соболева выдать отцу его указную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему, продавцу Троекурову, впредь и никому в то имение уже не вступаться. Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу,—

ему, Андрею Дубровскому, неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорела ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 17... году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что оным имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть с 17... года, а по смерти отца его с 17... года и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей, которые, всего 52 человека, на опрос под присягою показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые г.г. Дубровские назад сему лет с 70 без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно.— Упомянутый же по сему делу прежний покупчик сего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владе ли сим имением, они не запомнят. Дом же г.г. Дубровских назад сему лет 30 от случившегося в их селении в ночное время пожара сгорел, причем сторонние люди допускали, что доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 р.

Напротив же сего генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров 3-го генваря сего года взошел в сей суд с прошением, что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учиненном следствии к делу сему выданную покойным его отцом Гаврилом Дубровским титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинной купчей, но даже и на совершение когда-либо оной никаких ясных доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года поября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне, за смертью самого дателя оной, отца его, по указу 1818 года мая... дня, совершенно уничтожается.— А сверх сего —

велено спорные имения отдавать во владения — крепостные по крепостям, а некрепостные по розыску.

На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского отобрав, отдать ему по праву наследства. А как означенные помещики, имея во владении не принадлежащего им имения и без всякого укрепления, и пользовались с оного неправильно и им не принадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых будет причитаться по силе ... взыскать с помещика Дубровского и его, Троекурова,

овыми удовлетворить.— По рассмотрении какового дела и учиненной из оного и из законов выписки в** уездном суде определено:

Как из дела сего видно, что генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров на означенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце Кистеневке, по нынешней ... ревизии всего мужеска пола** душ, с землею и угодьями, представил подлинную купчую на продажу оного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским асессором, в 17... году из дворян канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей покупатель, Троекуров, как из учиненной на той купчей надписи видно, был в том же году** земским судом введен во владение, которое имение уже и за него отказано, и хотя напротив сего со стороны гвардии поручика Андрея Дубровского и представлена доверенность, данная тем умершим покупщиком Троекуровым титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его, Дубровского, но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу воспрещено, к тому ж и самая доверенность смертию дателя оной совершенно уничтожается. Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена где и когда на означенное спорное имение купчая, со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, то есть с 18... года, и по сие время не представлено. А потому сей суд и полагает: означенное имение, ** душ, с землею и угодьями, в каком ныне положении тое окажется, утвердить по представленной на оное купчей за генерал-аншефа Троекурова; о удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него, г. Троекурова, и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать** земскому суду. А хотя сверх сего генерал-аншеф Троекуров и просит о взыскании с гвардии поручика Дубровского за неправо владение наследственным его имением воспользовавшихся с оного доходов. Но как оное имение, по показанию старожилых людей, было у г.г. Дубровских несколько лет в беспорном владении, и из дела сего не видно, чтоб со стороны г. Троекурова были какие-либо до сего времени прошения о таковом неправильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложению

велено, ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бити челом, и

про то сыщется допрямо, тогда правому отдавать тую землю и с посеянным хлебом, и городьбою, и строением,

а посему генерал-аншефу Троекурову в изъявленном на гвардии поручика Дубровского иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение, не изъемя из оного ничего. А что при вводе за него оказаться может всё без остатка, предоставя между тем генерал-аншефу Троекурову, буде он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные и законные доказательства, может просить где следует особо. Каковое решение наперед объявить как истцу, равно и ответчику, на законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписки удовольствия или неудовольствия чрез полицию.

Каковое решение подписали все присутствующие того суда.

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под *решением* суда совершенное свое удовольствие.

Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.

Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законами **время** просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал... Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как! не почитать церковь божию! прочь, хамово племя!» Потом, обратясь к Кирилу Петровичу: «Слыхано дело, ваше превосходительство,— продолжал он,— псари вводят собак в божию церковь! собаки бегают по церкви. Я вас уже проучу...» Сторожа сбежались на шум и насилиу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского **сильно** подействовало на его воображение и отравило его торжество.

Судьи, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский между

тем лежал в постеле; уездный лекарь, по счастью не совершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.

ГЛАВА III

Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского всё еще было плохо. Правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним, как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и кроме ее не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряженьях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.

Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести.

Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости.

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее:

«Государь ты наш, Владимир Андреевич.— я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папеньки-

ном. Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день сидит как дитя глупое, а в животе и смерти бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову, потому что мы-дескать ихние, а мы искони ваши, и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька

Орина Егоровна Бузырева.

Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит? У нас дожди идут вот уже другая неделя и пастух Родя помер около Миколина дня».

Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста; со всем тем он романически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах.

Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления.

Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через три дня был уж на большой дороге.

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого

толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земли, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами, и между ими завязался разговор.

— Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?

— А бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич... Барин, слышь, не поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал в суд, хотя почасть он сам себе судия. Не наше холопые дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не перешибешь.

— Так видно этот Кирила Петрович у вас делает что хочет?

— И вестимо, барин: заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.

— Правда ли, что отымают он у нас имение?

— Ох, барин, слышали так и мы. На днях покровский пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо приберет вас к рукам Кирила Петрович. Микита-кузнец и сказал ему: и, полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей. Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе, а все мы божии да государевы; да ведь на чужой рот пуговицы не нашешь.

— Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?

— Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави: у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Нет, дай бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем.— При сих словах Антон размахнул

кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.

Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал и предался снова размышлениям. Прошло более часа, вдруг Гриша пробудил его восклицанием: «Вот Покровское!» Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезьями. Дубровский узнал сии места; он вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его.

Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадам и, повинувшись честолюбию, общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нем забилося. Перед собою видел он Кистеневку и бедный дом своего отца.

Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошенный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изб и окружила молодого барина с шумными изъяснениями радости. Насилу мог он прорваться сквозь их усердную толпу и взбежал на ветхое крыльцо; в сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. «Здорово, здорово, няня,— повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху,— что батюшка, где он? каков он?»

В эту минуту в залу вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке.

— Здравствуй, Володька! — сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддерживал его.

— Зачем ты встал с постели, — говорила ему Егоровна, — на ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди.

Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями.

ГЛАВА IV

Где стол был яств, там гроб стоит.

Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения; у Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное; из того не мог он получить ясное понятие о тяжбе и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела.

Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство.

Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству вступить во владение новоприобретенным имением — самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирила Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком

далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтоб его выбранить, но не найдя достаточного к тому предлога, сказал ему сердито: «Пошел вон, не до тебя».

Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирила Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая: «Гром победы раздавайся», что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей.

Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора.

Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщенье и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор.

В это время больной сидел в спальней у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его: багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся... и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания, паралич его ударил. «Скорей, скорей в город за лекарем!» — кричал Владимир. «Кирила Петрович спрашивает вас», — сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд.

— Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора... пошел! — Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина; Егоровна всплеснула руками. «Батюшка ты наш, — сказала она пискливым голосом, — погубишь ты свою головушку! Кирила Петрович съест нас». — «Молчи, няня, — сказал с

сердцем Владимир, — сейчас пошли Антона в город за лекарем». — Егоровна вышла.

В передней никого не было, все люди сбежались на двор смотреть на Кирила Петровича. Она вышла на крыльцо и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила Петрович выслушал его сидя на дрозжах. Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня шумно толковала о сем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал: «Не надобно лекаря, батюшка скончался».

Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир; правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь, не было уж и признака жизни с сем теле, еще не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечение, вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину.

ГЛАВА V

Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев.

При выходе из рощи увидели кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери; там подле могилы ее накануне вырыта была свежая яма.

Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса; он не плакал и не молился, но лицо его было страшно. Печальный обряд

кончился. Владимир первый пошел прощаться с телом, за ним и все дворовые. Принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли; мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в нее по горсти песка, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу.

Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать, и таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, по-видимому, ожидало его наследника. Приезд Троекурова и прием, ему оказанный, были уже известны всему околотку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия.

— Что будет, то будет,— сказала попадья,— а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать.

— А кому же как не ему и быть у нас господином,— прервала Егоровна.— Напрасно Кирила Петрович и горячится. Не на робкого напал: мой соколик и сам за себя постоит, да и, бог даст, благодетели его не оставят. Больно спесив Кирила Петрович! а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: Вон, старый пес! долой со двора!

— Ахти, Егоровна,— сказал дьячок,— да как у Григорья-то язык повернулся; я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и клонят ниц, а спина-то сама так и гнется, так и гнется...

— Суета сует,— сказал священник,— и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, всё как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче да гостей созовут побольше, а богу не всё ли равно!

— Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околоток, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно, есть чем угостить, да что прикажешь делать. По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши.

Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.

Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостию стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, ноги его поминутно вязли в болоте, он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его... Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастия. Бедное его достоинство могло отойти от него в чужие руки; в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представлявшего ему верное подобие жизни — подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться; он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.

Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.

— Удались от зла и сотвори благо,— говорил поп попадье,— нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось.— Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать.

Приближаясь, увидел он множество народа; крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали.

— Что это значит?— спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу.— Это кто такие, и что им надобно?

— Ах, батюшка Владимир Андреевич,— отвечал старик задыхаясь.— Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..

Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш,— кричали они, целуя ему руки,— не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим». Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно,— сказал он им,— а я в приказными переговорю». — «Переговори, батюшка,— закричали ему из толпы,— да усовести окаянных».

Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крикнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь г. Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит»,— спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника.— «А это то значит,— отвечал замысловатый чиновник,— что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить *иных прочих* убираться подобру-поздорову». — «Но вы могли бы, кажется, отнестися ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти...» — «А ты кто такой,— сказал Шабашкин с дерзким взором.— Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею божиею помре, мы вас не знаем, да и знать не хотим».

— Владимир Андреевич наш молодой барин,— сказал голос из толпы.

— Кто там смел рот разинуть,— сказал грозно исправник,— какой барин, какой Владимир Андреевич? барин ваш Кирила Петрович Троекуров, слышите ли, олухи.

— Как не так,— сказал тот же голос.

— Да это бунт! — закричал исправник.— Гей, староста, сюда!

Староста выступил вперед.

— Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!

Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил? но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него смотреть,— закричали дворовые,— ребята! долой их!»— и вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь.

«Ребята, вязать»,— закричал тот же голос,— и толпа стала напирать... «Стойте,— крикнул Дубровский.— Дураки! что вы это? вы губите и себя и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать».

Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся, двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. «Мы решили,— продолжал заседатель,— с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, мы отправимся восвояси».

— Делайте, что хотите,— отвечал им сухо Дубровский,— я здесь уже не хозяин.— С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.

ГЛАВА VI

«Итак, всё кончено,— сказал он сам себе;— еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченною на перила, в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства,— подумал Владимир,— он заброшен бу-

дет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальней, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец всё утихло.

Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большею частию состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: *письма моей жены*. С сильным движением чувства Владимир принялся за них: они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъясляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл всё на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастья, и не заметил, как прошло время. Стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю.— Двери были заперты. Не найдя ключа, Владимир возвратился в залу,— ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол; топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы,— отвечал Архип пошепту,— господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою!» Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» — спросил он кузнеца.

— Я хотел... я пришел... было проведать, всё ли дома,— тихо отвечал Архип запинаясь.

— А зачем с тобою топор?

— Топор-то зачем? Да как же без топора нонче и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники — того и гляди...

— Ты пьян, брось топор, поди выпись.

— Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было... да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело, подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора... Эх они храпят, окаянные; всех бы разом, так и концы в воду.

Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною».

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка, — отвечал тонкий голос, — Василиса да Лукерья». — «Подите по дворам, — сказал им Дубровский, — вас не нужно». — «Шабаш», — примолвил Архип. «Спасибо, кормилец», — отвечали бабы и тотчас отправились домой.

Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антопа и Гриши. «Зачем вы не спите?» — спросил он их. «До сна ли нам, — отвечал Антон. — До чего мы дожили, кто бы подумал...»

— Тише! — прервал Дубровский, — где Егоровна?

— В барском доме, в своей светелке, — отвечал Гриша.

— Поди, приведи ее сюда да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу.

Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.

— Все ли здесь? — спросил Дубровский, — не осталось ли никого в доме?

— Никого, кроме подьячих, — отвечал Гриша.

— Давайте сюда сена или соломы, — сказал Дубровский.

Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.

— Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!

Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.

— Постой,— сказал он Архипу,—кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.

Архип побежал в сени — двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвляя вполголоса: «Как не так, отопри!» — и возвратился к Дубровскому.

Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.

— Ахти,— жалобно закричала Егоровна,— Владимир Андреевич, что ты делаешь?

— Молчи,— сказал Дубровский.— Ну, дети, прощайте, иду куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.

— Отец наш, кормилец,— отвечали люди,— умрем, не оставим тебя, идем с тобою.

Лошади были поданы; Дубровский сел с Гришей в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла затрепали, сыпались, пылающие бревна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «Горим, помогите, помогите». — «Как не так», — сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар. «Архипушка,— говорила ему Егоровна,— спаси их, окаянных, бог тебя наградит».

— Как не так,— отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окнах, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.

Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, избы загорелись.

— Теперь всё ладно,— сказал Архип,— каково горит, а? чай, из Покровского славно смотреть.

В сию минуту новое явление прилекло его внимание; кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда прыгнуть; со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетесь, бесенята,— сказал им сердито кузнец.—

Бога вы не боитесь: божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь», — и, поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз. «Ну, ребята, прощайте, — сказал он смущенной дворне, — мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом».

Кузнец ушел; пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки.

ГЛАВА VII

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселии, многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, страпчий и писарь, так же как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были отрыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа-кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, был жив и вероятно главный, если не единственный, виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирилла Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.

Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В** появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые противу них правительством, оказались недостаточными. Граби-

тельства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в села, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса; имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а не кто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному: поместья Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностью Троекуров приписывал сие исключение страху, который умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый день ожидали, чтоб незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться, но наконец принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение... Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо.

Между тем наступило 1-е октября — день храмового праздника в селе Троекурова. Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами для него новыми, или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести.

ГЛАВА VIII

Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирила Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она при-

выкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседей редко езжали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирила Петровича. Огромная библиотека, составленная большею частию из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме «Совершенной повари-хи», не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирила Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность и которую принужден он был наконец выслать тихонько в другое поместье, когда следствия сего дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияния, которое видимо имела над Кирилом Петровичем, в чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирила Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет девяти, напоминающий полуденные черты m-lle Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то, что множество босых ребятшек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирила Петрович выписал из Москвы для своего маленького Сашки француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.

Сей учитель понравился Кирилу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кирилу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого четыре года жил он гувернером. Кирила Петрович всё это пересмотрел и был недоволен одною молодостью своего француза — не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностью, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были

свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком).

— Подойди сюда, Маша; скажи ты этому мусье, что так и быть, принимаю его; только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего сына... переведи это ему, Маша.

Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение.

Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности.

Маша слово в слово перевела его ответ.

— Хорошо, хорошо,— сказал Кирила Петрович,— не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии, переведи это ему.

Марья Кириловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирила Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната.

Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления, ею произведенного на м-г Дефоржа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие.

На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила Петрович по целым часам возился с ними, сравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь, в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотроги-

вался, колол себе лапы, осердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю божью. Но лучшею шуткою почиталась у Кирила Петровича следующая.

Прогладавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, печально вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынным. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять прижавшись к стене и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! Несколько дней спустя после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате: для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами; вдруг боковая дверь отворилась, двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него... Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приблизился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Всё сбежалось, двери отворились, Кирила Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу: кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.

— Я не слыхивал о медведе, — отвечал Дефорж, — но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не на-

мерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу требовать удовлетворения.

Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру; потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! не струсил, ей-богу, не струсил». С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уж его пробовать.

Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марию Кириловну. Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности; Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже не трудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.

ТОМ ВТОРОЙ

ГЛАВА IX

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В девять часов утра за благовестили к обедне, и всё потянулось к новой каменной церкви, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не началась, ждали Кирила Петровича. Он приехал в коляске шестернею и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Мариею Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее; первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием рассмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул *и о зиждителе храма сего*.

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и насилу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах

и бриллиантах, мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «кушание поставлено», — и Кирила Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей, Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная шестью лошадьми. «Это кто?» — спросил хозяин. «Антон Пафнutyч», — отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнutyч Спицын, толстый мужчина лет 50-ти с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться... «Прибор сюда, — закричал Кирила Петрович, — милости просим, Антон Пафнutyч, садись, да скажи нам, что это значит: не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже: ты и богомолен и покушать любишь». — «Виноват, — отвечал Антон Пафнutyч, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана, — виноват, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти верст, вдруг шина у переднего колеса пополам — что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни; пока до нее дотащились, да отыскивали кузнеца, да всё кое-как уладили, прошли ровно три часа, делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в объезд...»

— Эге! — прервал Кирила Петрович, — да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься?

— Как чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то; того и гляди попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет.

— За что же, братец, такое отличие?

— Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствии ваше, т. е. по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе бог миловал. Всего-на-все разграбили у меня один анбар, да того и гляди до усадьбы доберутся.

— А в усадьбе-то будет им раздолье,— заметил Кирила Петрович,— я чай, красная шкатулочка полным полна...

— Куда, батюшка Кирила Петрович. Была полна, а нынче совсем опустела!

— Полно врать, Антон Пафнutyич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь да и только.

— Вы всё изволите шутить, батюшка Кирила Петрович,— пробормотал с улыбкою Антон Пафнutyич,— а мы, ей-богу, разорились,— и Антон Пафнutyич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирила Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.

— А что, господин исправник, поймаете хоть вы Дубровского?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец:— Постараемся, ваше превосходительство.

— Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку все-таки нет. Да правда, зачем и ловить его. Разбой Дубровского благодать для исправников: разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?

— Сущая правда, ваше превосходительство,— отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

— Люблю молодца за искренность,— сказал Кирила Петрович,— а жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича; кабы не сожгли его, так в околотке бы-

ло бы тише. А что слышно про Дубровского? где его видели в последний раз?

— У меня, Кирила Петрович,— пропищал толстый дамский голос,— в прошлый вторник обедал он у меня...

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.

— Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела; однако сами изволите знать: офицеру гвардии пужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей дежусь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего семь верст, авось бог пронесет. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш — я так и ахнула. — «Что такое? что с тобою сделалось?» Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили; самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь и телегу». Я обмерла; царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала всё и послала ему свое благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая — вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет 35-ти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича; он-де ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем бог послал, разговорились о том о сем, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно,— сказал он,— я слышал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет; нет ли тут плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким

образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват — грех попутал — солгал». — «Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как всё дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, — продолжал генерал, — рассказывай: где ты встретился с Дубровским?» — «У двух сосен, батюшка, у двух сосен». — «Что же сказал он тебе?» — «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?» — «Ну, а после?» — «А после потребовал он письмо и деньги». — «Ну». — «Я отдал ему письмо и деньги». — «А он?.. Ну — а он?» — «Батюшка, виноват». — «Ну, что же он сделал?..» — «Он возвратил мне деньги и письмо да сказал: ступай себе с богом, отдай это на почту». — «Ну, а ты?» — «Батюшка, виноват». — «Я с тобою, голубчик, управлюсь, — сказал грозно генерал, — а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучерá привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф.

— И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский, — спросил Кирила Петрович. — Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

— Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих да их осматривать.

— Не знаю, а уж верно не Дубровский. Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у него волосы, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик, но знаю на верное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следственно, ему не 35 лет, а около 23-х.

— Точно так, ваше превосходительство,— провозгласил исправник,— у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду 23-й год.

— А! — сказал Кирила Петрович,— кстати: прочита, а мы послушаем; не худо нам знать его приметы; авось в глаза попадетсЯ, так не вывернется.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать нараспев.

«Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей.

От роду 23 года, *роста* среднего, *лицом* чист, *бороду* бреет, *глаза* имеет карие, *волосы* русые, *нос* прямой. *Приметы особые*: таковых не оказалось».

— И только,— сказал Кирила Петрович.

— Только,— отвечал исправник, складывая бумагу.

— Поздравляю, г-н исправник. Ай да бумага! по этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто ж не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные!

Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уже несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цимлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.

— Нет,— продолжал Кирила Петрович,— уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил: таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступить в это дело да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они и очистят воровскую

рощу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятятся.

— Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович,— сказал Антон Пафнутыч, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.

— Миша приказал долго жить,— отвечал Кирила Петрович.— Умер славною смертью, от руки неприятеля. Вон его победитель,— Кирила Петрович указывал на Дефоржа;— выменяй образ моего француза. Он отомстил за твою... с позволения сказать... Помнишь?

— Как не помнить,— сказал Антон Пафнутыч почесываясь,— очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

Обед, продолжавшийся около трех часов, кончился; хозяин положил салфетку на стол, все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.

ГЛАВА X

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу открылись, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любясь веселостию молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько

раз кружился он с Марьей Кириловною, и барышни пасмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешептывались со своими соседями; дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали, — словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости: Антоп Пафнутьич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеяннo и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнутьич, призывая господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал: красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностью успокаивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться почевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему почлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надежного товарища и выбрал наконец Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутьич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутьич стал вертеться около молодого француза, побрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением.

— Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что извольте видеть...

— *Que désire monsieur?* — спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.

— Эк беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве, муа, ше ву куше, понимаешь ли?

— *Monsieur, très volontiers,* отвечал Дефорж, — *veuillez donner des ordres en conséquence.*

Антон Пафнutyич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться.

Гости стали прощаться между собою и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнutyич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная. Дефорж освещал дорогу фонарем, Антон Пафнutyич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную суму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнutyич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при сем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкою, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения; француз его не понял, и Антон Пафнutyич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

— Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше,— закричал Антон Пафнutyич, спрягая с грехом пополам русский глагол *тушу* на французский лад.— Я не могу dormire в потемках.— Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи.

— Проклятый басурман,— проворчал Спицын, закутываясь в одеяло.— Нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня.— Мусье, мусье,— продолжал он,— же ве авек ву парле.— Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

«Храпит bestия француз,— подумал Антон Пафнutyич,— а мне так сон и в ум нейдет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его, bestию, и пушками не добудешься».

— Мусье! а, мусье! дьявол тебя поberi.

Антон Пафнutyич замолчал, усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость, он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнutyич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа: француз в одной руке держал карманный пистолет, а другою отстегивал заветную суму. Антон Пафнutyич обмер.

— Кесь ке се, мусье, кесь ке се,— произнес он трепещущим голосом.

— Тише, молчать,— отвечал учитель чистым русским языком,— молчать или вы пропали. Я Дубровский.

ГЛАВА XI

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать.

На станции ** в доме смотрителя, о коем уже мы упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, т. е. человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофью, поглядывал в окно и посвистывал, к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою.

— Вот бог послал свистуна,— говорила она вполголоса.— Эк посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман.

— А что?— сказал смотритель,— что за беда, пускай себе свищет.

— Что за беда? — возразила сердитая супруга.— А разве не знаешь приметы?

— Какой приметы? что свист деньгу выживает. И! Пахомовна, у нас что свисти, что нет: а денег всё нет как нет.

— Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту.

— Подождет, Пахомовна; на конюшню всего три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу! так и есть! вон скадут. Э-ге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю; вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.

— Лошадей,— сказал офицер повелительным голосом.

— Сейчас,— отвечал смотритель.— Пожалуйста подорожную.

— Нет у меня подорожной. Я еду в сторону... Разве ты меня не узнаешь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

— Бог его ведает,— отвечала смотрительша,— какой-то француз. Вот уже пять часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел, проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

— Куда изволите вы ехать?— спросил он его.

— В ближний город,— отвечал француз,— оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учителя. Я думал сегодня быть уже на месте, но г-н смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, г-н офицер.

— А к кому из здешних помещиков определились вы?— спросил офицер.

— К г-ну Троекурову,— отвечал француз.

— К Троекурову? кто такой этот Троекуров?

— Ma foi, mon officier... я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своеправный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями (avec les outchitels) он не церемонится и уже двух засек до смерти.

— Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

— Что же делать, г-н офицер. Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 р. в год и всё готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости, и тогда bonsoir, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.

— Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?— спросил он.

— Никто,— отвечал учитель.— Меня он выписал из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать,

что я готовился было не в учителя, а в кондитеры, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее...

Офицер задумался.

— Послушайте,— прервал он француза,— что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж.

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

— Лошади готовы,— сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.

— Сейчас,— отвечал офицер,— выдьте воп на минуточку.— Смотритель и слуга вышли.— Я не шучу,— продолжал он по-французски,— 10 000 могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги.— При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.

— Мое отсутствие... мои бумаги,— повторял он с изумлением.— Вот мои бумаги... Но вы шутите: зачем вам мои бумаги?

— Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, всё еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.

— Ваш паспорт... хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте.

Француз стоял как вкопанный.

Офицер воротился.

— Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что всё это останется между нами, честное ваше слово.

— Честное мое слово,— отвечал француз.— Но мои бумаги, что мне делать без них?

— В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием: «Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский».

Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно: Дубровский был уж далеко. Она принялась бранить мужа:

— Бога ты не боишься, Сидорыч. Зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!

Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, всё казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут, у него в кармане, и красноречиво твердили ему о существовании удивительного происшествия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился восвояси — без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами.

Дубровский, овладев бумагами французa, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы, зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сживал с нею за фортепьяно. Все любили молодого учителя, Кирила Петрович — за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна — за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша — за снисходительность к его шалостям, домашние — за доброту и за

щедрость, по-видимому несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом одного.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во всё это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло стать и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника.

Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнutyича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

В девять часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиную, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна, а Кирила Петрович в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнutyич; он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил и что Кирила Петрович осведомился о его здоровье. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова; Антон Пафнutyич спешил откланяться и, несмотря на увещания хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирила Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и всё вошло в обыкновенный порядок.

ГЛАВА XII

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирила Петрович ежедневно выезжал

на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну, особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, с негодной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он с своей стороны не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем унескомывал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостию предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или незапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце.

Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкою записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее:

«Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить».

Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками, или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смерклось, подали свечи, Кирила Петрович сел играть в бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами, в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кирилов-

на шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки; тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею.

— Благодарю вас,— сказал он ей тихим и печальным голосом,— что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если б вы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленною фразой:

— Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалось, собирался с духом.

— Обстоятельства требуют... я должен вас оставить,— сказал он наконец...— Вы скоро, может быть, услышите... Но перед разлукой я должен с вами сам объяснить...

Марья Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

— Я не то, что вы предполагаете,— продолжал он, потупя голову,— я не француз Дефорж, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

— Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться — ни за себя, ни за него. Всё кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству, в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни... Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня... сей же час...

Но прежде я должен был вам открыться, чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском, знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...

Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.

— Простите,— сказал Дубровский,— меня зовут, минута может погубить меня.— Он отошел, Марья Кириловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку.

— Если когда-нибудь,— сказал он ей нежным и трогательным голосом,— если когда-нибудь несчастье вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Марья Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

— Вы меня губите! — закричал Дубровский.— Я не оставляю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы или нет?

— Обещаюсь,— прошептала бедная красавица.

Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кириловна возвращалась из сада. Ей показалось, что все люди разбегались, дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка, издали услышала она голос Кирила Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирила Петрович, гости окружали исправника, нашего знакомого, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.

— Где ты была, Маша,— спросил Кирила Петрович,— не встретила ли ты м-г Дефоржа? — Маша насилу могла отвечать отрицательно.

— Вообрази,— продолжал Кирила Петрович,— исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

— Все приметы, ваше превосходительство,— сказал почтительно исправник.

— Эх, братец,— прервал Кирила Петрович,— убирай-

ся, знаешь куда, со своими приметам. Я тебе моего француза не выдам, покамест сам не разберу дела. Как можно верить на слово Антону Пафнutyичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?

— Француз заставлял его, ваше превосходительство,— отвечал исправник,— и взял с него клятву молчать...

— Вранье,— решил Кирила Петрович,— сейчас я всё выведу на чистую воду.— Где же учитель? — спросил он у вошедшего слуги.

— Нигде не найдут-с,— отвечал слуга.

— Так сыскать его,— закричал Троекуров, начинающий сомневаться.— Покажи мне твои хваленые приметы,— сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу.— Гм, гм, 23 года... Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что же учитель?

— Не найдут-с,— был опять ответ. Кирила Петрович начинал беспокоиться, Марья Кириловна была ни жива ни мертва.

— Ты бледна, Маша,— заметил ей отец,— тебя перепугали.

— Нет, папенька,— отвечала Маша,— у меня голова болит.

— Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся.— Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постель и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее, насилу-насилу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами, ее уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая «Гром победы раздавайся». Гости шептались между собою, исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? это оставалось тайною.

Било 11, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

— Ну что? ведь не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка восвояси да вперед будь расторопнее. Да

и вам пора домой,— продолжал он, обратясь к гостям.—
Велите закладывать, а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!

ГЛАВА XIII

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича.

В 30-ти верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях, всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвращаясь из-за границы и приехал в свою деревню, которой отроду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своему приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около 50-ти лет, но он казался гораздо старше. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стриженными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался; слуга пришел доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки и уже раскаиваясь в своем посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее. Князь был оживлен ее присутствием, был

весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своею подагрой; он предпочел прогулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою своею соседкою. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит?.. Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому.

— Дубровскому, — повторил Верейский, — как, этому славному разбойнику?..

— Отцу его, — отвечал Троекуров, — да и отец-то был порядочный разбойник.

— Куда же девался наш Ринальдо? жив ли он, схвачен ли он?

— И жив и на воле, и покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?

— Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил... Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

— Чего любопытно! — сказал Троекуров, — она знакома с ним: он целые три недели учил ее музыке, да слава богу, не взял ничего за уроки. — Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кириловна сидела как на иголках. Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел всё это очень странным и переменял разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету и, несмотря на усиленные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной, и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и 3000 душ родового имения, он

до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густо-зеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Просторный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбацьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кириловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинство и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего Амфитриона и искусству его повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них, на одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя; время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой; самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любез-

ного говоруна; вдруг раздался выстрел, и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась как дитя. Князь Вере́йский радовался ее восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал *tous les frais* князя, как знаки уважения и желания ему угодить.

Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

ГЛАВА XIV

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пальцах, перед открытым окошком. Она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то ее мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, кто-то положил на пальцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет.

Кирила Петрович был не один. Князь Вере́йский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.

— Подойди сюда, Маша, — сказал Кирила Петрович, — скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остолбенела, смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала.

— Согласна, конечно, согласна,— сказал Кирила Петрович,— но знаешь, князь: девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал ее руку, вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.

— Пошла, пошла, пошла,— сказал Кирила Петрович,— осуши свои слезы и воротись к нам веселешенька. Они все плачут при помолвке,— продолжал он, обратясь к Верейскому,— это у них уж так заведено... Теперь, князь, поговорим о деле, т. е. о приданом.

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным... брак пугал ее, как плаха, как могила... «Нет, нет,— повторяла она в отчаянии,— лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и с жадностью бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им и заключало только следующие слова:

«Вечером в 10 час. на прежнем месте».

ГЛАВА XV

Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробежал по всему саду.

Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

— Я всё знаю,— сказал он ей тихим и печальным голосом.— Вспомните ваше обещание.

— Вы предлагаете мне свое покровительство,— отвечала Маша,— но не сердитесь: оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь?

— Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

— Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите. Я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса...

— Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнию. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в

моих преступлений. Но как же спасу вас от жестокого отца?

— Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

— Не надейтесь по-пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что, если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?

-- Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною, я буду вашей женой.

Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову.

— Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и обратного старика, решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим, то... то вы найдете ужасную защиту... скажите, что богатство не доставит вам и одной минуты счастья; роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если же не будет уже другого средства...

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался. Маша плакала...

— Бедная, бедная моя участь,— сказал он, горько вздохнув.— За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнующему сердцу и сказать: ангел, умрем! бедный, я должен остерегаться от блаженства, я должен отдалять его всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того... но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти.

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело. «Пора»,— сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо.

— Если решитесь прибегнуть ко мне,— сказал он,— то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать.

Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями.

ГЛАВА XVI

Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства. Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась действовать и написала письмо князю Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился; насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говорить, но решил не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее липнётся слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. За сим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением

князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.

— Папенька,— закричала она жалобным голосом,— папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою...

— Это что значит,— сказал грозно Кирила Петрович,— до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда всё решено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь дурачиться; этим со мною ты ничего не выиграешь.

— Не губите меня,— повторяла бедная Маша,— за что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому? разве я вам надоела? я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька: не принуждайте меня, я не хочу идти замуж...

Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово:

— Всё это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

— Послезавтра! — вскрикнула Маша,— боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.

— Что? что? — сказал Троекуров,— угрозы! мне угрозы, дерзкая девчонка! Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня стращать защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.

— Владимир Дубровский,— отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением.

— Добро,— сказал он ей, после некоторого молчания.— Жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате, ты из нее не выйдешь до самой свадьбы.— С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою двери.

Долго плакала бедная девушка, воображая всё, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о

том, что надлежало ей делать. Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки; она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смерклось. Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий соп ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.

ГЛАВА XVII

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в Арбатове и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Ее слова ожесточили молодую затворницу, голова ее кипела, кровь волновалась, она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба; в это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело, и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

— Здравствуй, Саша,— сказала она,— зачем ты меня зовешь?

— Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому

вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас всё сделаю.

— Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

— Знаю, сестрица.

— Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видал.

С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марье Кириловне, как вдруг оборванный мальчишка, рыжий и косой, мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.

— Что ты здесь делаешь? — сказал он грозно.

— Тебе како дело? — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

— Оставь это кольцо, рыжий заяц, — кричал Саша, — или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во всё горло: «Воры, воры, сюда, сюда...»

Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по видимому, двумя годами старше Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол-аршина от земли...

— Ах ты, рыжая бестия, — говорил садовник, — да как ты смеешь бить маленького барина...

Саша успел вскочить и оправиться.

— Ты меня схватил под силки, — сказал он, — а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убираться.

— Как не так, — отвечал рыжий и, вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Сте-

пановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног. Садовник снова его схватил и связал кушаком.

— Отдай кольцо! — кричал Саша.

— погоди, барин, — сказал Степан, — мы сведем его на расправу к приказчику.

Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

— Это что? — спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал всё происшествие. Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

— Ты, повеса, — сказал он, обратясь к Саше, — за что ты с ним связался?

— Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

— Какое кольцо, из какого дупла?

— Да мне Марья Кириловна... да то кольцо...

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился и сказал, качая головою:

— Тут замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.

— Ей-богу, папенька, я, папенька... Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.

— Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую березовую розгу...

— Пойдите, папенька, я всё вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко, и я подбежал, и сестрица не нарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло, и... и... этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть...

— Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать... Степан, ступай за розгами.

— Папенька, погодите, я всё расскажу. Сестрица Марья Кириловна велела мне сбежать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбежал и положил кольцо, а этот скверный мальчик...

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно: «Чей ты?»

— Я дворовый человек господ Дубровских,— отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

— Ты, кажется, меня господином не признаешь, добро,— отвечал он.— А что ты делал в моем саду?

— Малину крал,— отвечал мальчик с большим равнодушием.

— Ага, слуга в барина, каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, прикажите ему отдать кольцо,— сказал Саша.

— Молчи, Александр,— отвечал Кирила Петрович,— не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты, косой, ты мне кажешься малый не промах. Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, а дам еще пятак на орехи. Не то я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

— Добро,— сказал Кирила Петрович,— запереть его куда-нибудь да посмотреть, чтоб он не убежал, или со всего дома шкуру спущу.

Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

— Сейчас ехать в город за исправником,— сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами,— да как можно скорее.

«Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь? — думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая «Гром победы». — Может быть, я наконец нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправник».

— Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.

— Славная весть,— сказал ему Кирила Петрович,— я поймал Дубровского.

— Слава богу, ваше превосходительство,— сказал исправник с видом обрадованным,— где же он?

— То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атamana. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая однако ж о Марье Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на всё, что делалось около него.

— Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине,— сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь.

Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.

— Барин хотел,— сказал ему исправник,— посадить тебя в городской острог, выстегать плетью и сослать потом на поселение, но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение. Развязать его.

Мальчика развязали.

— Благодарю же барина,— сказал исправник. Мальчик подошел к Кирилу Петровичу и поцеловал у него руку.

— Ступай себе домой,— сказал ему Кирила Петрович,— да вперед не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко; окошко поднялось, и старуха показалась.

— Бабушка, хлеба,— сказал мальчик,— я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

— Ах, это ты, Митя, да где ж ты пропадал, бесенок,— отвечала старуха.

— После расскажу, бабушка, ради бога хлеба.

— Да войди ж в избу.

— Некогда, бабушка, мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба.

— Экой непосед,— проворчала старуха,— на, вот тебе ломотик,— и сунула в окно ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и жуя мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать; легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

ГЛАВА XVIII

Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню; весь дом был в движении, слуги бегали, девки сутились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышни, перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кириловну, голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.

— Скоро ли? — раздался у дверей голос Кирила Петровича.

— Сю минуту,— отвечала дама.— Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?

Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились.

— Невеста готова,— сказала дама Кирилу Петровичу,— прикажите садиться в карету.

— С богом,— отвечал Кирила Петрович и, взяв со стола образ,— подойди ко мне, Маша,— сказал он ей тронутым голосом,— благословляю тебя...— Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.

— Папенька... папенька...— говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирила Петрович спешил ее благословить, ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел на встречу

невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь; за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала; священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова.

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и всё еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обежал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово; туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой князь нисколько не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите». — «Что это значит, — закричал князь, — кто ты такой?..» — «Это Дубровский», — сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.

— Не трогать его! — закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили.

— Вы свободны,— продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.

— Нет,— отвечала она.— Поздно, я обвенчана, я жена князя Верейского.

— Что вы говорите,— закричал с отчаянием Дубровский,— нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться...

— Я согласилась, я дала клятву,— возразила она с твердостью,— князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас.

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставляя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атamana.

ГЛАВА XIX

Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок.

На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги; он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкою с искусством, обличающим опытного портного, и поминутно поглядывал во все стороны.

Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало в сей толпе; разбойники отобедали, один после другого вставал и молился богу, некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению.

Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколот к рукаву иголку,

сел на пушку верхом и запел во всё горло меланхолическую старую песню:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне молодцу думу думати.

В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога. «Полно тебе, Степка,— сказала она сердито,— барин почивает, а ты знай горланишь; нет у вас ни совести, ни жалости». — «Виноват, Егоровна,— отвечал Степка,— ладно, больше не буду, пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает». Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу.

В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался.

Вдруг Дубровский вздрогнул: в укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка, Владимир Андреевич,— закричал он,— наши знак подают, нас ищут». Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе; при его появлении настало глубокое молчание. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных», — отвечали ему. «По местам!» — закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определенное место. В сие время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» — спросил он их. «Солдаты в лесу,— отвечали они,— нас окружают». Дубровский велел запереть ворота и сам пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться; разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам. «Готовиться к бою», — сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох, снова всё утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды, оружия блеснули между деревьями,

человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед, солдаты за ним последовали и сбежали в ров; разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставя во рву человек двадцать раненых товарищей. Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь. Несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес, прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велев отлучаться.

Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после сражения он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни. «Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло». После сей речи он оставил их, взяв с собою одного **. Никто не знал, куда он девался. Сначала сомневались в истине сих показаний: приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении. Но последствия их оправдали; грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.

ПИКОВАЯ ДАМА

Пиковая дама означает тайную
недоброжелательность.

Новейшая гадительная книга.

I

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — бог их прости! —
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом; прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

— Что ты сделал, Сурин? — спросил хозяин.

— Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандром, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а всё проигрываюсь!

— И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на *руте*?.. Твердость твоя для меня удивительна.

— А каков Германн! — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера, — отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!

— Игра занимает меня сильно, — сказал Германн, — но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

— Германн немец: он расчетлив, вот и всё! — заметил Томский. — А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна.

— Как? что? — закричали гости.

— Не могу постигнуть, — продолжал Томский, — каким образом бабушка моя не понтирует!

— Да что ж тут удивительного, — сказал Нарумов, — что осмидесятилетняя старуха не понтирует?

— Так вы ничего про нее не знаете?

— Нет! право, ничего!

— О, так послушайте:

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть *la Vénus moscovite*; Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счета, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь и что есть разница между принцем и каретником. — Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за Вечного Жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих Запис-

ках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.

«Я могу вам услужить этой суммою, — сказал он, — но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыгаться». — «Но, любезный граф, — отвечала бабушка, — я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». — «Деньги тут не нужны, — возразил Сен-Жермен: — извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал...

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал.

В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале, au jeu de la Reine. Герцог Орлеанский метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно.

— Случай! — сказал один из гостей.

— Сказка! — заметил Германи.

— Может статься, порошковые карты? — подхватил третий.

— Не думаю, — отвечал важно Томский.

— Как! — сказал Нарумов, — у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики?

— Да, черта с два! — отвечал Томский — у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них и даже для меня.

Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл — помнится Зоричу — около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтоб он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе,— отыгрался и остался еще в выигрыше...

Однако пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уже рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались.

II

— Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.

— Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches.

Светский разговор.

Старая графиня *** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятих годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пальцами барышня, ее воспитанница.

— Здравствуйте, grand'maman, — сказал, вошедши, молодой офицер. — Bon jour, mademoiselle Lise. Grand'maman, я к вам с просьбою.

— Что такое, Paul?

— Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.

— Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчера у ***?

— Как же! очень было весело; танцевали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна?

— Как, постарела? — отвечал рассеянно Томский, — она лет семь как умерла.

Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала вестъ, для нее новую, с большим равнодушием.

— Умерла! — сказала она, — а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

— Ну, Paul, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышней.

— Кого это вы хотите представить? — тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нет! Он военный или статский?

— Военный.

— Инженер?

— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.

— Paul! — закричала графиня из-за ширмов, — пришли мне какой-нибудь новый роман, только пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand'maman?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!

— Простите, grand'maman: я спешу... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Ру-

мянец покрыл ее щеки: она принялась опять за работу и наклонила голову над самой канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.

— Прикажи, Лизанька,— сказала она,— карету закладывать, и поедem прогуляться.

Лизанька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что ли! — закричала графиня.— Вели скорей закладывать карету.

— Сейчас! — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю.

Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить,— сказала графиня.— Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

— Одеваться.

— Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух...

Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.

— Громче! — сказала графиня.— Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?.. погоди: подвинь мне скамеечку, ближе... ну! —

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

— Брось эту книгу,— сказала она,— что за вздор! Отшли это князю Павлу и вели благодарить... Да что ж карета?

— Карета готова,— сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.

— Что ж ты не одета? — сказала графиня,— всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

— Что это вас не докличешься? — сказала им графиня.— Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.

— Наконец, мать моя! — сказала графиня.— Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода? — кажется, ветер.

— Никак нет-с, ваше сиятельство! очень тихо-с! — отвечал камердинер.

— Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку.

Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

«И вот моя жизнь!» — подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня ***, конечно, не имела злой души; но была своеправна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, раздумянная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с пизкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посевев в ее передней и девичьей, делала что хотела, паперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как недоставало *vis-à-vis*, и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, — с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать и где сальная свеча темно горела в медном шандале!

Однажды,— это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились,— однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пальцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; через пять минут взглянула опять,— молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шла около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пальцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было,— и она про него забыла...

Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бровным воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку,— офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение,— подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась...

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилося. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходи-

мости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолобив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) *жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее*, — а между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что, если, — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что, если старая графиня откроет мне свою тайну! — или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастья?.. Представиться ей, подбиться в ее милость, — пожалуй, сделаться ее любовником, — но на это всё требуется время — а ей восемьдесят семь лет, — она может умереть через неделю, — через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и даст мне покой и независимость!»

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.

— Чей это дом? — спросил он у углового будочника.

— Графини ***, — отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигры-

вал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини ***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.

III

Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire.

Переписка.

Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился? — как зовут этот мост? — что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад и рассердила графиню.

— Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна.

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать:

перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? — отослать ли ему письмо? — отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать.

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу — и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо, — и рвала его: то выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманном поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение».

На другой день, увидя идущего Гермanna, Лизавета Ивановна встала из-за пьедестала, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Германи подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригой.

Три дня после того Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Гермanna.

— Вы, душенька, ошиблись, — сказала она, — эта записка не ко мне.

— Нет, точно к вам! — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. — Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Германи требовал свидания.

— Не может быть! — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований и способу, им употребленному. — Это писано верно не ко мне! — И разорвала письмо в мелкие кусочки.

— Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? — сказала мамзель, — я бы возвратила его тому, кто его послал.

— Пожалуйста, душенька! — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, — вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно...

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать, — и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо:

«Сегодня бал у ***ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, — и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите всё прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. — Германн стоял в одном сертуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболию шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с головой, убранным свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома:

он подошел к фонарю, взглянул на часы,— было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германи ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германи взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германи прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германи вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже *m-me Lebrun*. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою; другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Легоу, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом. Германи пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая — в коридор. Германи ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Всё было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать,— и всё умолкло опять. Германи стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра,— и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Германи глядел в щелку: Ли-

завета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умокло. Он окаменел.

Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных тайнств ее туалета; наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна.

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! — сказал он внятным и тихим голосом. — Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему.

— Вы можете, — продолжал Германн, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка, — сказала она наконец, — клянусь вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить, — возразил сердито Германн. — Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыгратися.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили силь-

ное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы,— продолжал Германн,— назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того, они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..

Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

— Если когда-нибудь,— сказал он,— сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческого билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери,— всем, что ни есть святого в жизни,— не откажите мне в моей просьбе! — откройте мне вашу тайну! — что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить вам уж недолго,— я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы,— так я ж заставляю тебя отвечать...

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатилась навзничь... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться,— сказал Германн, взяв ее руку.— Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? — да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.

IV

7 Mai 18**

Homme sans mœurs et sans religion!

Переписка.

Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу,— сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарил судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека,— и уже она была с ним в переписке,— и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала... до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во всё время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы всё это знаете? — спросила она, смеясь.

— От приятеля известной вам особы, — отвечал Томский, — человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели...

— Этот Германн, — продолжал Томский, — лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодеяния. Как вы побледнели!..

— У меня голова болит... Что же говорил вам Германн, — или как бишь его?..

— Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе... Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень равнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

— Да где ж он меня видел?

— В церкви, может быть — на гулянье!.. Бог его знает! может быть, в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами — *oubli ou regret?* — прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна ***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. — Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложив крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще украшенную цветами... Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

— Где же вы были? — спросила она испуганным шепотом.

— В спальне у старой графини,— отвечал Германи,— я сейчас от нее. Графиня умерла.

— Боже мой!.. что вы говорите?..

— И кажется,— продолжал Германи,— я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодейства на душе!* Германи сел на окошко подле нее и всё рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, всё это было не любовь! Деньги,— вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Германи смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, по ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.

— Вы чудовище! — сказала наконец Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти,— отвечал Германи,— пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германи: он сидел на окошке, сложив руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Как вам выйти из дому? — сказала наконец Лизавета Ивановна.— Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надобно идти мимо спальни, а я боюсь.

— Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германи и дала ему подробное наставление. Германи пожал ее холодную безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.

Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствами. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный *à l'oiseau royal*, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливек, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.

V

В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В***. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!»

Шведенборг.

Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в*** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог однако совершенно заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь,— и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре,— дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы — une affectation. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить и что ее родственники давно смотрели на нее как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное усупение праведницы, которой долгие годы были тихим, умирительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее,— сказал оратор,— бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного».

Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, — и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Германи решил подождать ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился... В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германи, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об землю. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: Oh?

Целый день Германи был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул.

Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко, — и тотчас отошел. Германи не обратил на то никакого внимания. Чрез минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германи думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германи принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее

в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним,— и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли,— сказала она твердым голосом,— но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду,— но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, зажег свечку и записал свое видение.

VI

— *Atánde!*

— Как вы смели мне сказать *атáнде?*

— Ваше превосходительство, я сказал *атáнде-с!*

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «какой час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, прошедшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для

карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волюнтаризма. Нарумов привез к нему Германа.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалившись на плюшевых диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек двадцати лет, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всею улыбкою. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.

Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт. Чекалинский останавливался после каждой проигрыша, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту, — сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.

— Идет! — сказал Германн, написав мелом куш над своею картою.

— Сколько-с? — спросил, прищуриваясь, банкомет, — извините-с, я не разгляжу.

— Сорок семь тысяч, — отвечал Германн.

При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. — Он с ума сошел! — подумал Нарумов.

— Позвольте заметить вам, — сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою, — что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелом здесь еще не ставил.

— Что ж? — возразил Германн, — бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

— Я хотел только вам доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я конечно уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.

Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

— Выиграла! — сказал Германн, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

— Изволите получить? — спросил он Германна.

— Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой талы, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но всё улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский

стасовал. Германи снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германи и открыл свою карту.

— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский.

Германи вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германи стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. — Славно спонтировал! — говорили игроки. — Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.

З а к л ю ч е н и е

Германи сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м пумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.

КИРДЖАЛИ

ПОВЕСТЬ

Кирджали был родом болгар. Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю.

Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию. Чтоб дать об нем некоторое понятие, расскажу один из его подвигов. Однажды ночью он и арнаут Михайлаки напали вдвоем на болгарское селение. Они зажгли его с двух концов и стали переходить из хижины в хижину. Кирджали резал, а Михайлаки нес добычу. Оба кричали: «Кирджали! Кирджали!» Всё селение разбежалось.

Когда Александр Ипсиланти обнародовал возмущение и начал набирать себе войско, Кирджали привел к нему несколько старых своих товарищей. Настоящая цель этерии была им худо известна, но война представляла случай обогатиться на счет турков, а может быть и молдаван,— и это казалось им очевидно.

Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться и сам заступил его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл послушниками, трусами и негодьями. Эти трусы и негодяи большею частию погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля вдесятеро сильнейшего.

Кирджали находился в отряде Георгия Кантакузина, о котором можно повторить то же самое, что сказано о

Ипсиланти. Накануне сражения под Скулянами Кантакузин просил у русского начальства позволение вступить в наш карантин. Отряд остался без предводителя; но Кирджали, Сафьянос, Кантагони и другие не находили никакой нужды в предводителе.

Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной истине. Вообразите себе 700 человек арнаутов, албанцев, греков, болгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отступающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута и выставил перед собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря и из которых, бывало, палили во время именинных обедов. Турки рады были бы действовать картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе, отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился и разбранил за то майора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. Майор, не зная, что делать, побежал к реке, за которой гарцевали делибашы, и погрозил им пальцем. Делибашы, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкий отряд. Майор, погрозивший пальцем, назывался Хорчевский. Не знаю, что с ним сделалось.

На другой день, однако ж, турки атаковали этеристов. Не смея употреблять ни картечи, ни ядер, они решились, вопреки своему обыкновению, действовать холодным оружием. Сражение было жестоко. Резались атаганами. Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были русские: некрасовцы сражались в их рядах. Этеристы, с разрешения нашего государя, могли перейти Прут и скрыться в нашем карантине. Они начали переправляться. Кантагони и Сафьянос остались последние на турецком берегу. Кирджали, раненный накануне, лежал уже в карантине. Сафьянос был убит. Кантагони, человек очень толстый, ранен был копьём в брюхо. Он одной рукою поднял саблю, другою схватился за вражеское копьё, всадил его в себя глубже и таким образом мог достать саблею своего убийцу, с которым вместе и повалился.

Всё было кончено. Турки остались победителями. Молдавия была очищена. Около шестисот арнаутов рассыпались по Бессарабии; не ведая, чем себя прокормить, они всё ж были благодарны России за ее покровительство. Они вели жизнь праздную, но не беспутную. Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких чашечек. Их узорные куртки и красные остроносые туфли начинали уже изнашиваться, но хохлатая скуфейка всё же еще надета была накрепко, а атаганы и пистолеты всё еще торчали из-за широких поясов. Никто на них не жаловался. Нельзя было и подумать, чтоб эти мирные бедняки были известнейшие клефты Молдавии, товарищи грозного Кирджали, и чтоб он сам находился между ими.

Паша, начальствовавший в Яссах, о том узнал и на основании мирных договоров потребовал от русского начальства выдачи разбойника.

Полиция стала доискиваться. Узнали, что Кирджали в самом деле находится в Кишиневе. Его поймали в доме беглого монаха, вечером, когда он ужинал, сидя в потемках с семью товарищами.

Кирджали засадили под караул. Он не стал скрывать истины и признался, что он Кирджали. «Но,— прибавил он,— с тех пор, как я перешел за Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Для турков, для молдаван, для валахов я конечно разбойник, но для русских я гость. Когда Сафьянос, расстреляв всю свою картечь, пришел к нам в карантин, отбирая у раненых для последних зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и набалдашники с атаганов, я отдал ему двадцать бешлыков и остался без денег. Бог видит, что я, Кирджали, жил подаяннем! За что же теперь русские выдают меня моим врагам?» После того Кирджали замолчал и спокойно стал ожидать разрешения своей участи.

Он дожидался недолго. Начальство, не обязанное смотреть на разбойников с их романтической стороны и убежденное в справедливости требования, повелело отправить Кирджали в Яссы.

Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне занимающий важное место, живо описывал мне его отъезд.

У ворот острога стояла почтовая каруца... (Может быть, вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая, плетеная тележка, в которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть или восемь клячонок. Молдаван в усах и в бараньей шапке, сидя верхом на одной из них, поминутно кричал и хлопал бичом, и клячонки его бежали рысью довольно крупной. Если одна из них начинала приставать, то он отпрягал ее с ужасными проклятиями и бросал на дороге, не заботясь об ее участи. На обратном пути он уверен был найти ее на том же месте, спокойно пасущуюся на зеленой степи. Нередко случалось, что путешественник, выехавший из одной станции на осьми лошадях, приезжал на другую на паре. Так было лет пятнадцать тому назад. Ныне в обрусевшей Бессарабии переняли русскую упряжь и русскую телегу.)

Таковая каруца стояла у ворот острога в 1821 году, в одно из последних чисел сентября месяца. Жидовки, спустя рукава и шлепая туфлями, арнауты в своем оборванном и живописном наряде, стройные молдаванки с черноглазыми ребятами на руках окружали каруцу. Мужчины хранили молчание, женщины с жаром чего-то ожидали.

Ворота отворились, и несколько полицейских офицеров вышли на улицу; за ними двое солдат вывели скованного Кирджали.

Он казался лет тридцати. Черты смуглого лица его были правильны и суровы. Он был высокого роста, широкоплеч, и вообще в нем изображалась необыкновенная физическая сила. Пестрая чалма панскось покрывала его голову, широкий пояс обхватывал тонкую поясницу; долиман из толстого синего сукна, широкие складки рубахи, падающие выше колен, и красивые туфли составляли остальной его наряд. Вид его был горд и спокоен.

Один из чиновников, красноречивый старичок в полинялом мундире, на котором болтались три пуговицы, прищипил оловянными очками багровую шишку, заменявшую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, начал читать на молдавском языке. Время от времени он надменно взглядывал на скованного Кирджали, к которому, по-видимому, относилась бумага. Кирджали слушал его со вниманием. Чиновник кончил свое чтение, сложил бумагу, грозно прикрикнул на народ, приказав ему раздаться, — и велел подвезти каруцу. Тогда Кирджали обратился к

нему и сказал ему несколько слов на молдавском языке; голос его дрожал, лицо изменилось; он заплакал и повалился в ноги полицейского чиновника, загремев своими цепями. Полицейский чиновник, испугавшись, отскочил; солдаты хотели было приподнять Кирджали, но он встал сам, подобрал свои кандалы, шагнул в каруцу и закричал: «Гайда!» Жандарм сел подле него, молдаван хлопнул бичом, и каруца покатилась.

— Что это говорил вам Кирджали? — спросил молодой чиновник у полицейского.

— Он (видите-с) просил меня, — отвечал, смеясь, полицейский, — чтоб я позаботился о его жене и ребенке, которые живут недалеко от Килии в болгарской деревне, — он боится, чтоб и они *из-за него* не пострадали. Народ глупый-с.

Рассказ молодого чиновника сильно меня тронул. Мне было жаль бедного Кирджали. Долго не знал я ничего об его участи. Несколько лет уж спустя встретился я с молодым чиновником. Мы разговорились о прошедшем.

— А что ваш приятель Кирджали? — спросил я, — не знаете ли, что с ним сделалось?

— Как не знать, — отвечал он и рассказал мне следующее:

Кирджали, привезенный в Яссы, представлен был паше, который присудил его быть посажену на кол. Казнь отсрочили до какого-то праздника. Покамест заключили его в тюрьму.

Невольника стерегли семеро турок (люди простые и в душе такие же разбойники, как и Кирджали); они уважали его и с жадностью, общею всему Востоку, слушали его чудные рассказы.

Между стражами и невольником завелась тесная связь. Однажды Кирджали сказал им: «Братья! час мой близок. Никто своей судьбы не избежит. Скоро я с вами расстанусь. Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь на память».

Турки развесили уши.

— Братья, — продолжал Кирджали, — три года тому назад, как я разбойничал с покойным Михайлаки, мы зарыли в степи недалеко от Ясс котел с *гальбинами*. Видно, ни мне, ни ему не владеть этим кладом. Так и быть: возьмите его себе и разделите полюбовно.

Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как им будет найти заветное место? Думали, думали и положили, чтобы Кирджали сам их повел.

Настала ночь. Турки сняли оковы с ног невольника, связали ему руки веревкою и с ним отправились из города в степь.

Кирджали их повел, держась одного направления, от одного кургана к другому. Они шли долго. Наконец Кирджали остановился близ широкого камня, отмерил двенадцать шагов на полдень, топнул и сказал: «Здесь».

Турки распорядились. Четверо вынули свои атаганы и начали копать землю. Трое остались на страже. Кирджали сел на камень и стал смотреть на их работу.

— Ну что? скоро ли? — спрашивал он, — дорылись ли?

— Нет еще, — отвечали турки и работали так, что пот лил с них градом.

Кирджали стал оказывать нетерпение.

— Экой народ, — говорил он. — И землю-то копать порядочно не умеют. Да у меня дело было бы кончено в две минуты. Дети! развяжите мне руки, дайте атаган.

Турки призадумались и стали советоваться.

— Что же? (решили они) развяжем ему руки, дадим атаган. Что за беда? Он один, нас семеро. — И турки развязали ему руки и дали ему атаган.

Наконец Кирджали был свободен и вооружен. Что-то должен он был почувствовать!.. Он стал проворно копать, сторожа ему помогали... Вдруг он в одного из них вонзил свой атаган и, оставя булат в его груди, выхватил из-за его пояса два пистолета.

Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженного двумя пистолетами, разбежались.

Кирджали ныне разбойничает около Ясс. Недавно писал он господарю, требуя от него пяти тысяч левов, и грозясь, в случае неисправности в платеже, зажечь Яссы и добраться до самого господаря. Пять тысяч левов были ему доставлены.

Каков Кирджали?

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

ГЛАВА I

— Quel est cet homme?

— Ha c'est un bien grand talent, il fait de sa voix tout ce qu'il veut.

— Il devrait bien, madame, s'en faire une culotte.

Чарский был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было еще тридцати лет; он не был женат; служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший вице-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь его могла быть очень приятна; но он имел несчастье писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских сочинителем.

Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться: кроме права ставить винительный падеж вместо родительного и еще кой-каких так называемых поэтических вольностей, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем) — как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невзгодам и неприятностям. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее *пользы и удовольствия*. Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека, тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? — красавица его покупает себе альбом в Английском магазине и ждет уж элегии. При-

едет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле, тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то; и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще цветы ремесла! Каковы же должны быть невзгоды? Чарский признавался, что приветствия, запросы, альбомы и мальчишки так ему надоедали, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости.

Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братьи литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостью и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя; книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было того беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставлял его с пером в руках. Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный, впрочем, талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах, и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое.

Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая *дрянь* (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новенького?

Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами и вы обретаєте живые, неожиданные слова

для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение... и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи.

Вдруг дверь его кабинета скрипнула и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился.

— Кто там? — спросил он с досадою, проклиная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней.

Незнакомец вошел.

Он был высокого роста — худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желто-смуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истертым черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз; шершавая шляпа, казалось, видала и ведро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе — за политического заговорщика; в передней — за шарлатана, торгующего эликсирами и мышьяком.

— Что вам надобно? — спросил его Чарский на французском языке.

— Signor, — отвечал иностранец с низкими поклонами, — *Lei voglia perdonarmi se...*

Чарский не предложил ему стула и встал сам, разговор продолжался на итальянском языке.

— Я неаполитанский художник, — говорил незнакомый, — обстоятельства принудили меня оставить отечество. Я приехал в Россию в надежде на свой талант.

Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончели и развозит по домам свои билеты. Он уже хотел вручить ему свои двадцать пять рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил:

— Надеюсь, Signor, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ.

Невозможно было нанести тщеславию Чарского оскор-

бления более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто назывался его собратом.

— Позвольте спросить, кто вы такой и за кого вы меня припимаете? — спросил он, с трудом удерживая свое негодование.

Неаполитанец заметил его досаду.

— Signor, — отвечал он запинаясь... — ho creduto... ho sentito... la vostra eccellenza mi perdonera...

— Что вам угодно? — повторил сухо Чарский.

— Я много слыхал о вашем удивительном таланте; я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту, — отвечал итальянец, — и потому осмелился к вам явиться...

— Вы ошибаетесь, Signor, — прервал его Чарский. — Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (черт их побери!) этого не знают, то тем хуже для них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения *libretto*. У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения. Впрочем, вероятно вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но, слава богу, с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу.

Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках, — поразили его. Он понял, что между надменным dandy, стоящим перед ним в хохлатой парчовой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истертом галстуке и поношенном фраке, ничего не было общего. Он проговорил несколько несвязных извинений, поклонился и хотел выйти. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия.

— Куда ж вы? — сказал он итальянцу. — Постойте... Я должен был отклонить от себя незаслуженное титул и признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?

— Нет, есселенза! — отвечал итальянец, — я бедный импровизатор.

— Импровизатор! — вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения. — Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор? — и Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния.

Дружеский вид его ободрил итальянца. Он простодушно разговаривал о своих предположениях. Наружность его не была обманчива; ему деньги были нужны; он надеялся в России коё-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием.

— Я надеюсь, — сказал он бедному художнику, — что вы будете иметь успех: здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора. Любопытство будет возбуждено; правда, итальянский язык у нас не в употреблении, вас не поймут; но это не беда; главное — чтоб вы были в моде.

— Но если у вас никто не понимает итальянского языка, — сказал призадумавшись импровизатор, — кто ж поедет меня слушать?

— Поедут — не опасайтесь: иные из любопытства, другие, чтоб провести вечер как-нибудь, третьи, чтоб показать, что понимают итальянский язык; повторяю, надобно только, чтоб вы были в моде; а вы уж будете в моде, вот вам моя рука.

Чарский ласково расстался с импровизатором, взяв себе его адрес, и в тот же вечер он поехал за него хлопотать.

ГЛАВА II

Я царь, я раб, я червь, я бог,
Державин.

На другой день Чарский в темном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-ый номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний итальянец отворил ее.

— Победа!— сказал ему Чарский,— ваше дело в шляпе. Княгиня ** дает вам свою залу; вчера на рауте я успел завербовать половину Петербурга; печатайте билеты и объявления. Ручаюсь вам если не за триумф, то по крайней мере за барыш...

— А это главное!— вскричал итальянец, изъясняя свою радость живыми движениями, свойственными южной его породе.— Я знал, что вы мне поможете. *Согро ди Вассо!* Вы поэт, так же, как и я; а что ни говори, поэты славные ребята! Как изъясню вам мою благодарность? постойте... хотите ли выслушать импровизацию?

— Импровизацию!.. разве вы можете обойтись и без публики, и без музыки, и без грома рукоплесканий?

— Пустое, пустое! Где найти мне лучшую публику? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое ободрение дороже мне целой бури рукоплесканий... Садитесь где-нибудь и задайте мне тему.

Чарский сел на чемодане (из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем). Импровизатор взял со стола гитару — и стал перед Чарским, перебирая струны костливыми пальцами и ожидая его заказа.

— Вот вам тема,— сказал ему Чарский: — *поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением.*

Глаза итальянца засверкали, он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его... Вот они, вольно переданные одним из наших приятелей со слов, сохранившихся в памяти Чарского.

Поэт идет — открыты вежды,
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его...
«Скажи: зачем без цели бродишь?
Едва достиг ты высоты,
И вот уж долу взор низводишь
И низойти стремишься ты.
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит;
Предмет ничтожный поминутно
Тебя тревожит и манит.
Стремиться к небу должен гений,
Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет».
— Зачем крутится ветер в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пенъ? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона, избирает
Кумир для сердца своего.

Итальянец умолк... Чарский молчал, изумленный и растроганный.

— Ну что? — спросил импровизатор.

Чарский схватил его руку и сжал ее крепко.

— Что? — спросил импровизатор, — каково?

— Удивительно, — отвечал поэт. — Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. Итак, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?.. Удивительно, удивительно!..

Импровизатор отвечал:

— Всякий талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами? — Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею — тщетно я сам захотел бы это изъяснять. Однако... надобно подумать о моем первом вечере. Как вы полагаете? Какую цену можно будет назначить за билет, чтобы публике не слишком было тяжело и чтобы я между тем не остался в накладе? Говорят, *la signora Catalani* брала по 25 рублей? Цена хорошая...

Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика; но он очень хорошо понимал житейскую необходимость и пустился с итальянцем в меркантильные расчеты. Итальянец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому, который поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, произведенное в нем блестящим импровизатором. Озабоченный итальянец не заметил этой перемены и проводил его по коридору и по лестнице с глубокими поклонами и уверениями в вечной благодарности.

ГЛАВА III

Цена за билет 10 рублей; начало в 7 часов.

Афишка.

Зала княгини ** отдана была в распоряжение импровизатору. Подмостки были сооружены; стулья расставлены в двенадцать рядов; в назначенный день, с семи часов вечера, зала была освещена, у дверей перед столиком для продажи и приема билетов сидела старая долгоногая женщина в серой шляпе с надломленными перьями и с перстнями на всех пальцах. У подъезда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарский приехал из первых. Он принимал большое участие в успехе представления и хотел видеть импровизатора, чтоб узнать, всем ли он доволен. Он нашел итальянца в боковой комнатке, с нетерпением посматривающего на часы. Итальянец одет был театрально; он был в черном с ног до головы; кружевной воротник его рубашки был откинут, голая шея своею странной белизною ярко отделялась от густой и черной бороды, волосы опущенными клоками осеняли ему лоб и брови. Всё это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра. Он после короткого разговора возвратился в залу, которая более и более наполнялась.

Вскоре все ряды кресел были заняты блестящими дамами; мужчины стесненной рамою стали у подмостков, вдоль стен и за последними стульями. Музыканты с своими пульпитрами занимали обе стороны подмостков. Посредине стояла на столе фарфоровая ваза. Публика была многочисленна. Все с нетерпением ожидали начала; наконец в половине осьмого музыканты засуетились, приготовили смычки и заиграли увертюру из «Танкреда». Всё

уселось и примолкло, последние звуки увертюры прогремели... И импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон, с низкими поклонами приблизился к самому краю подмостков.

Чарский с беспокойством ожидал, какое впечатление произведет первая минута, но он заметил, что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику. Сам Чарский не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках, с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей. Плеск утих; говор умолк... Итальянец, изъясняясь на плохом французском языке, просил господ посетителей назначить несколько тем, написав их на особых бумажках. При этом неожиданном приглашении все молча поглядели друг на друга и никто ничего не отвечал. Итальянец, дожидаясь немного, повторил свою просьбу робким и смиренным голосом. Чарский стоял под самыми подмостками; им овладело беспокойство; он предчувствовал, что дело без него не обойдется и что принужден он будет написать свою тему. В самом деле, несколько дамских головок обратились к нему и стали вызывать его сперва вполголоса, потом громче и громче. Услыша имя его, импровизатор отыскал его глазами у своих ног и подал ему карандаш и клочок бумаги с дружескою улыбкою. Играть роль в этой комедии казалось Чарскому очень неприятно, но делать было нечего; он взял карандаш и бумагу из рук итальянца, написал несколько слов; итальянец, взяв со стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее Чарскому, который бросил в нее свою тему. Его пример подействовал; два журналиста, в качестве литераторов, почли обязанностью написать каждый по теме; секретарь неаполитанского посольства и молодой человек, недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции, положили в урну свои свернутые бумажки; наконец, одна некрасивая девица, по приказанию своей матери, со слезами на глазах написала несколько строк по-итальянски и, покраснев по уши, отдала их импровизатору, между тем как дамы смотрели на нее молча, с едва заметной усмешкою. Возвратясь на свои подмостки, импровизатор поставил урну на стол и стал вынимать бумажки одну за другой, читая каждую вслух:

Семейство Ченчи.

(*La famiglia dei Cenci.*)

L'ultimo giorno di Pompeïa.

Cleopatra e i suoi amanti.

La primavera veduta da una prigione.

Il trionfo di Tasso.

— Что прикажет почтенная публика? — спросил смиренный итальянец, — назначит ли мне сама один из предложенных предметов или предоставит решить это жребию?..

— Жребий!.. — сказал один голос из толпы.

— Жребий, жребий! — повторила публика.

Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил: «Кому угодно будет вынуть тему?» Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал... вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке; он с живостию оборотился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможною простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток.

— Извольте развернуть и прочитать, — сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух:

— Cleopatra e i suoi amanti.

Эти слова произнесены были тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки.

— Господа, — сказал он, обратясь к публике, — жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее любовников. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою мысль: о каких любовниках здесь идет речь, perché la grande regina n'aveva molto...

При сих словах многие мужчины громко засмеялись. Импровизатор немного смутился.

— Я желал бы знать, — продолжал он, — на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему... Я буду весьма благодарен, если угодно ей будет изъясниться.

Никто не торопился отвечать. Несколько дам оборотили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по при-

казанию своей матери. Бедная девушка заметила это неблагосклонное внимание и так смутилась, что слезы повисли на ее ресницах... Чарский не мог этого вынести и, обратясь к импровизатору, сказал ему на итальянском языке:

— Тема предложена мною. Я имел в виду показание Аврелия Виктора, который пишет, будто бы Клеопатра назначила смерть ценою своей любви и что нашлись обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило... Мне кажется, однако, что предмет немного затруднителен... не выберете ли вы другого?..

Но уже импровизатор чувствовал приближение бога... Он дал знак музыкантам играть... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, стер платком высокое чело, покрытое каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь... музыка умолкла... Импровизация началась.

Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир.
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир;
Сердца неслись к ее престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой...

И пышный пир как будто дремлет,
Безмолвны гости. Хор молчит.
Но вновь она чело подымлет
И с видом ясным говорит:
В моей любви для вас блаженство?
Блаженство можно вам купить...
Внемлите ж мне: могу равенство
Меж нами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою? —

— Клянусь... — о мать наслаждений,
Тебе неслыханно служу,
На ложе страстных искушений

Простой наемницей всхожу.
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
О боги грозного Аида,
Клянусь — до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утомлю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утолю.
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь — под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет.

Рекла — и ужас всех объемлет,
И страстью дрогнули сердца...
Она смущенный ропот внемлет
С холодной дерзостью лица,
И взор презрительный обводит
Кругом поклонников своих...
Вдруг из толпы один выходит,
Вослед за ним и два других.
Смела их поступь; ясны очи;
Навстречу им она встает;
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти их зовет.

Благословенные жрецами,
Теперь из урны роковой
Пред неподвижными гостями
Выходят жребии чредой.
И первый — Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседелый;
Снести не мог он от жены
Высокомерного презренья;
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярого сраженья.
За ним Критон, молодой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура,
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура...
Любезный сердцу и очам,

Как вешний цвет едва развитый,
Последний имени векам
Не передал. Его ланиты
Пух первый нежно отенял;
Восторг в очах его сиял;
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом...
И с умилением на нем
Царица взор остановила.¹

¹ Возможно, что продолжением этих стихов является отрывок (черновик на отдельном листке):

И вот уже сокрылся день,
Восходит месяц алаторогий.
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Фонтаны бьют, горят лампы,
Куруется легкий фимиам.
И сладострастные прохлады
Земным готовятся богам.
В роскошном сумрачном покое
Средь обольстительных чудес
Под сенью пурпурных завес
Блещет ложе золотое.

Ред.

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Береги честь смолоду.

Пословица.

ГЛАВА I

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

- Был бы гвардии он завтра ж капитан.
- Того не надобно; пусть в армии послужит.
- Изрядно сказано! пускай его потужит...

Да кто его отец?

Княжнин.

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нынешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из

Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу,— ворчал он про себя,— кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию *pour être outchitel*, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам*, но он предпочел наскоро выучиться от меня коё-как болтать по-русски,— и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, раз-

будил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал его со двора, к неопи-санной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспи-тание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шест-надцать лет. Тут судьба моя переменялась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удиви-тельное волнение желчи. Матушка, зная наизусть все его свичай и обычай, всегда старалась засунуть несчаст-ную книгу как можно подальше, и таким образом Придвор-ный календарь не попадался ему на глаза иногда по це-лым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок,— отвечала ма-тушка.— Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...

«Добро,— прервал батюшка,— пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матуш-ку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхище-ние. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о сво-боде, об удовольствиях петербургской жизни. Я вообра-жал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович,— сказала матушка,— поклониться и от меня князю Б.; я-дескать надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

— Что за вздор!— отвечал батюшка нахмуясь.— К какой стати стану я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши.

— Ну, а там что?

— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его паспорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего! На другой день утром подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка

сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смблodu». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр ** гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это,— говорил он,— необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не всё же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым ус-

пехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедem к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? — сказал он жалким голосом, — где ты это нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!» — «Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь; — ты верно пьян, пошел спать... и уложи меня».

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкой чая. «Рано, Петр Андреич, — сказал он мне, качая головою, — рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволила брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: „Мадам, же ву при, водкю“. Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять, когда бывало примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам

Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был *и денег, и белья, и дел моих рачитель*, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен», — отвечал я со всевозможной холодно-стью. «Должен! — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление; — да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, — произнес он дрожащим голосом, — не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, кроме как в орехи...» — «Полно врать, — пре-

рвал я строго,— подавай сюда деньги или я тебя взамен прогоню».

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С беспокойной совестью и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

ГЛАВА II

ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонushка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь
завез:
Завезла меня, доброго молодца.
Прытость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня.

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Всё это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только побрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только! Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя всё еще изредка

ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Всё покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал: «Барин, не прикажешь ли воротиться?»

— Это зачем?

— Время ненадежно: ветер слегка подымается; — вишь, как он сметает порошу.

— Что ж за беда!

— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

— А вон — вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слышал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но всё поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облежала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Всё исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка; — невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бранить. Савельич за него заступился: «И охота было не слу-

шаться,— говорил он сердито,— воротился бы на постоянный двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понурия голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я,— смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин,— сказал он, садясь на свое место; — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк или человек».

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик.— Скажи, не знаешь ли, где дорога?»

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе,— отвечал дорожный,— да что толку?

— Послушай, мужичок,— сказал я ему,— знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— Страна мне знакомая,— отвечал дорожный,— слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да вишь какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».

— А почему ехать мне вправо?— спросил ямщик с неудовольствием.— Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой.— Ямщик казался мне прав. «В самом деле,— сказал я,— почему думаешь ты, что жило недалеко?»— «А потому, что ветер оттоле потянул,— отвечал дорожный,— и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лоша-

ди тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо вероятно знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда сущность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтоб батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным слушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише,— говорит она мне,— отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; онворотился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего, вижу в постеле лежит мужик с черной бороδοю, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?»— «Всё равно, Петруша,— отвечала мне матушка,— это твой посаженный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое

благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

— Куда приехали?— спросил я, протирая глаза.

— На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый?— спросил я у Савельича.

«Здесь, ваше благородие»,— отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?»— «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведдал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость,— прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе,— сказал он,— опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая индифферентный разговор. — Стали было к вечеру звонить,

да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.— «Молчи, дядя,— возразил мой бродяга,— будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» — При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмирённого после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился почевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он, — за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо,— сказал я хладнокровно; — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платя. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».

— Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич. — Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке.

— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напаялишь его на свои окаянные плечища.

— Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке; — сейчас неси сюда тулуп.

— Господи владыко! — простонал мой Савельич. — Заячий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле, тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». — Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней выюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзвывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой! — сказал он. — Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» — Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «„Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство"... Это что за серемонии? Фу, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому

камрад?... „ваше превосходительство не забыло“... „гм... „и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку“... Эхе, братер! так он еще помнит стары наши проказ? „Теперь о деле... К вам моего повесу“... „гм... „держат в ежовых рукавицах“... Что такое ешовы рукавиц? Это должно быть русска поговорк... Что такое „дершат в ешовых рукавицах“?“ — повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит,—отвечал я ему с видом как можно более невинным,—обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

«Гм, понимаю... „и не давать ему воли“ нет, видно ешовы рукавицы значит не то... „При сем... его паспорт“... Где ж он? А, вот... „отписать в Семеновский“... Хорошо, хорошо: всё будет сделано... „Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом“— а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка,—сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт,—всё будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня».

«Час от часу не легче! — подумал я про себя,—к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей!..» Я отобедал у Андрея Карловича, вдвоем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

ГЛАВА III

КРЕПОСТЬ

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку,

Солдатская песня.

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль.

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частью печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». — Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же кре-

пость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, — отвечал инвалид: — наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, — сказала она; — он пошел в гости к отцу Герасиму; да всё равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он: — вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, — сказала ему капитанша; — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захоlustье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин

Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! — сказала ему капитанша. — Отведи г. офицеру квартиру, да почище». — «Слушаю, Василиса Егоровна, — отвечал урядник. — Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимыч, — сказала капитанша; — у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, всё ли благополучно?»

— Всё, слава богу, тихо, — отвечал казак; — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. — Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Нависось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться,

как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня,— сказал он мне по-французски,— что я без церемонии прихожу с вами познаться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени».—Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фронт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь,— прибавил он,— нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! — сказала комендантша.— Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» — Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться».— Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой

батюшка? — сказала ему жена. — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — «А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузмич, — я был занят службой: солдатушек учил». — «И, полно! — возразила капитанша. — Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! — сказала она, — ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка, да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековой невестой». — Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». — «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», — отвечал я. «Пустяки! — сказал комендант. — У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острastку, что лет на десять уgomоню». — «И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она. — Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

— Да, слышь ты,— сказал Иван Кузмич;— баба-то не робкого десятка.

— А Марья Ивановна? — спросил я,— так же ли смела, как и вы?

— Смела ли Маша? — отвечала ее мать.— Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

ГЛАВА IV

ПОЕДИНОК

— Ии изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я тесю фигуру!

Княжнин.

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в неопозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал

читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловой, первую вестовщицею во всем околотке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным междуусобием.

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведение стихотворца. После маленького предисловия выпул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,
Всемигнута предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,
Сжался, Маша, надо мной,
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь? — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно сни-

сходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

— Потому, — отвечал он, — что такие стихи достойны учителя моего, Василия Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплеты.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозой. «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дело, — отвечал я нахмуясь, — кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

— Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня, — но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь моя закипела. «А почему ты об ней такого мнения?» — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

— А потому, — отвечал он с адской усмешкою, — что знаю по опыту ее нрав и обычай.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменялся в лице. «Это тебе так не пройдет, — сказал он, стиснув мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию».

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Анд-

реич! — сказал он, увидя меня, — добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Ивановичем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Ивановича заколоть, и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

— Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Ивановичем побрались? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Ивановичем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно, — сказал Иван Игнатьич; — делайте, как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего на-смотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша, — сказал он. — Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортении умышляется злодейство, противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилиу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к

нежности и к умилению. Марья Ивановна правилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты,— сказал он мне сухо:— без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали по-видимому так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так,— сказал он мне с довольным видом;— худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

— Что, что, Иван Игнатьич? — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты,— я не вслушалась.

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомя свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

— Иван Игнатьич,— сказал он,— одобряет нашу мировую.

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

— Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем.

— За что так?

— За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровпа.

— Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

— Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь.

Вышла разлада. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось.

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришел домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать,— сказал он мне;— надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам,— сказал он ей хладнокровно,— не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело».— «Ах! мой батюшка!— возразила комендантша;— да разве муж и жена не один дух и единая плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассадь их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения да каялись перед людьми».

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утих-

ла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было,— сказал я ему сердито,— доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил,— отвечал он;— Василиса Егоровна выведала всё от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что всё так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может»,— сказал я ему. «Конечно,— отвечал Швабрин;— вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» — И мы расстались, как ни в чем не бывали.

Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла,— сказала она,— когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью, и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно виноват Алексей Иванович».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

— Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела.

— Мне кажется,— сказала она,— я думаю, что нравлюсь.

— Почему же вам так кажется?

— Потому что он за меня сватался.

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

— В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.

— И вы не пошли?

— Как изволите видеть. Алексей Иванович, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался не долго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин, — за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и *monsieur* Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

ГЛАВА V

ЛЮБОВЬ

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная.

Буде лучше меня найдешь, позабудешь,
Если хуже меня найдешь, вспомнянешь.

То же.

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрипнула дверь. «Что? Каков?» — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. «Всё в одном положении,— отвечал Савельич со вздохом;— всё без памяти, вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава богу,— отвечал я слабым голосом.— Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...» — я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнися! опомнися! — повторял он.— Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..»

Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич,— сказала она.— Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна,— сказал я ей,— будь моею женою, согласишься на мое счастье».— Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь,— сказала она, отняв у меня свою руку.— Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастье воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла всё мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Всё семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители конечно рады будут ее счастью. «Но подумай хорошенько,— прибавила она;— со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался; но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть как на блажь молодого человека. Я чисто-сердечно признался в том Марье Ивановне и решился однако писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась

чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». — Я слишком был счастлив, чтоб храпить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрину, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что всё дело пошло к черту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на

брак с Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться да за проказы твои проучить тебя путем, как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостойн, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоём поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой А. Г.»

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала, но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь умирить». Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь,— сказал он, чуть не зарыдав,— что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — «Что ты сделал? — отвечал я.— Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» — «Я? писал на тебя доносы? — отвечал Савельич со слезами.— Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! pošлю свиной пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил,— повторял он; — вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось? — сказала она, увидев меня. — Как вы бледны!» — «Всё конечно!» — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» — «Этому не бывать! — вскричал я, схватив ее за руку; — ты меня любишь; я готов на всё. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со временем, я уве-

рен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит...» — «Нет, Петр Андреич, — отвечала Маша, — я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле божьей. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь, — сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги; — посмотри, доносчик ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович,
отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний; — а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испугать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровье бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него кроме хорошего печего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то быть молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш
Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменялось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичем виделся я только, когда того требовала служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более, что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне нестерпима. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

ГЛАВА VI

ПУГАЧЕВЩИНА

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывать.

Песня.

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, и заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства беспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убийство Траубенберга, своевольная перемена в управлении и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Всё было уже тихо или ка-

залось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казачьего урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости
капитану Миропову.

По секрету.

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

— Принять надлежащие меры! — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. — Слышь ты, легко сказать. Злодей-то видно силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите

всё это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно.

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает, — отвечал он; — посмотрим. Важно-го покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадья, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он ни мало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастье, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». — «А для чего ж было тебе запирасть Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузмич не был приготовлен к такому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоров-

на не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, зашпанный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления?— думала комендантша,— уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?»

— И, матушка! — отвечал Иван Игнатьич. — Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

— А что за человек этот Пугачев? — спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать далее побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя

драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот уж тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна,— сказал он ей покашливая.— Отец Герасим получил, говорят, из города...» — «Полно врать, Иван Кузмич,— перервала комендантша;— ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь!» Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка,— сказал он,— коли ты уже всё знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при тебе». — «То-то, батька мой,— отвечала она;— не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не супротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

— Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?

— Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

— Видно, он в самом деле силен, — заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу, — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

— Постой, Иван Кузмич, — сказала комендантша, вставая с места. — Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший опую, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колodge) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого роста, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали

еще огнем. «Эхе! — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. — Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь? — продолжал Иван Кузмич, — али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

— Якши, — сказал комендант; — ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся, — тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну, — сказал комендант, — видно нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

— Что это с тобою сделалось? — спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна. — Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женищин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей: «А слышишь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?»

— И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

— Ну, матушка, — возразил Иван Кузмич, — оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?

— Ну, тогда... — Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

— Нет, Василиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.

— Добро,— сказала комендантша,— так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

— И то дело,— сказал комендант.— Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?

— У Акулины Памфиловны,— отвечала комендантша.— Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич!— сказала она мне со слезами.— Мени посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой,— сказал я,— прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

ГЛАВА VII

ПРИСТУП

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Народная песня.

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя открылась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы? — сказал Иван

Игнатьич, догоняя меня.— Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». — «Уехала ли Марья Ивановна?» — спросил я с сердечным трепетом. «Не успела, — отвечал Иван Игнатьич: — дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!».

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетаскивали накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалось, казаки, но между ними находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысым шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, стоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди brave и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу, и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас уехали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну, что? — сказала комендантша. — Каково идет баталья? Где же неприятель?» — «Неприятель недалече, — отвечал Иван Кузмич. — Бог даст, всё будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?» — «Нет, папенька, — отвечала Марья Ивановна; — дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в

красном кафтане с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас! — закричал Иван Кузмич. — Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники видимо приготавлились к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна! — сказал комендант. — Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва».

Василиса Егоровна, присмирившая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) «Поцелуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте

домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вослед Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и всё внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко,— сказал комендант:— будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята,— сказал комендант;— теперь отворй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; по обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стойте? — закричал Иван Кузмич.— Умирать, так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот уж вам будет, государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красивый казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали парод и

нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, моему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатъича. «Присягай, — сказал ему Пугачев, — государю Петру Феодоровичу!» — «Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатъич, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и самозванец!» Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неопisanному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накиннули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! — говорил бедный дядька. — Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», — говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили

перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!»—говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич!—шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня.— Не упрямясь! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!»— Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Всё это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои!—кричала бедная старушка.— Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! — закричала она в исступлении.— Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника! — «Унять старую ведьму!»— сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

ГЛАВА VIII

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Незванный гость хуже татарина.
Пословица.

Площадь опустела. Я всё стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Всё было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; всё растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкаф был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

— Ах, Петр Андреич! — сказала она, сплеснув руками. — Какой денек! какие страсти!..

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо, — что Марья Ивановна?

— Барышня жива, — отвечала Палаша. — Она спрятана у Акулины Памфиловны.

— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради бога! где Марья Ивановна?— спросил я с неизъяснимым волнением.

— Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою,— отвечала попадья.— Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава богу, всё прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя».— «А молода твоя племянница?»— «Молода, государь».— «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу».— У меня сердце так и екнуло, да нечего было делать.— «Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости».— «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! — и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастью, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать! А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то.— В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась.— Ступайте себе домой, Петр Андреич,— сказала она;— теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич! Что будет, то будет; авось бог не оставит!

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел

несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава богу! — вскричал он, увидя меня. — Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреевич! веришь ли? всё у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто ж он такой?

— Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новешенький; а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоянным дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

— Не изволишь ли покушать? — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — Дома ничего нет; пойду, пошарю, да что-нибудь тебе изготовлю.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но всё же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что-де «великий государь требует тебя к себе». — «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться.

— В комендантском, — отвечал казак. — После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его.

Я не почел нужным оспаривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши всё еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, повобранных изменников. «А, ваше благородие! — сказал Пугачев, увидя меня. — Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъясляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеечем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об

утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы,— сказал Пугачев,— затынем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! начинай!»— Сосед мой затынул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.
Что завтра мне, доброму молодцу, в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всё правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалуйю
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным,— всё потрясало меня каким-то психическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить».— Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением

плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, ваше благородие?— сказал он мне.— Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накиннули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват,— продолжал он; — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешь ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

— Чему ты усмехаешься?— спросил он меня нахмуясь.— Или ты не веришь, что я великий государь? Ответчай прямо.

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя гибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленный: ты сам увидел бы, что я лукавству».

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь,— сказал он,— чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удатому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне

верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет,— отвечал я с твердостью.— Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу,— сказал он,— так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я.— Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть,— сказал он, ударя меня по плечу.— Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости всё было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, всё в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, голящего по моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко! — сказал он перекрестившись.— Чем свет оставим крепость и пойдем куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покупай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

ГЛАВА IX

РАЗЛУКА

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой,

Херасков.

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где всё еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело не обошлось без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай,— сказал он мне.— Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовью и послушанием; не то не избежать им

лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!» Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина: «Вот вам, детушки, новый командир: слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было посадить его.

В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изволишь увидеть», — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмуясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

«Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей. Штаны белые суконные на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей.

Погребец с чайною посудю на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крикнул и стал объясняться. «Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...»

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

— Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич. — Зло-

деи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай,— сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

«Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге — четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. — Глупый старик! Их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими слушниками... Заячий тулуп! Я-те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь,— отвечал Савельич;— а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был, видно, в припадке великодушия.

Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь,— отвечал Савельич;— смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в

ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, незащищенной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашало меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на всё. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решил тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте, — говорила мне попадья, провожая меня; — прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянувшись; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводи и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще, — примолвил запинаясь урядник, — жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!» — «Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь. — Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина». — «Добро, — сказал я, прерывая спор. — Благодаря

от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку». — «Очень благодарен, ваше благородие, — отвечал он, поворачивая свою лошадь; — вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь, — сказал старик, — что я не даром подал мошеннику челобитье: вору-то стало известно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да всё же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

ГЛАВА X

ОСАДА ГОРОДА

Заняв дуга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры,
За станом повелел соорудить раскат
И, в нем перуны скрыв, в нощи привести под град.
Херасков.

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений, под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему всё. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. — Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая мастерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у понады. «Ай, ай, ай! — заметил генерал. — Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя поло-

житься. Что будет с бедной девушкою?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим,— сказал он.— Об этом мы еще успеем потолковать. Попрошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и правоучительными замечаниями, которые если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело: «Теперь, господа,— продолжал он,— надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно* или *оборонительно*? Каждый из опытных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть, начиная с младших по чину. Г-н прапорщик! — продолжал он, обращаясь ко мне.— Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явною благосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и

дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово: молокосос, произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Г-н прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать собрание голосов. Г-н коллежский советник! скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

— Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумленный генерал. — Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное...

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

— Э-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и ногам.

— Мы еще об этом подумаем и потолкуем, — отвечал генерал. — Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

— Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен: ибо мнение сие основано на всех правилах

здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает.

Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

— Но, государи мои, — продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать.

Чиновники в свою очередь насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета, узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приблизился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была губительна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетающим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отреза-

пы. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Незнание о ее судьбе меня мучило. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и добродетельных. Тощая городская конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, оставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует?»

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. «Здравствуй, Максимыч,— сказал я ему.— Давно ли из Белогорской?»

— Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера вошел. У меня есть к вам письмецо.

— Где ж оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув.

— Со мною,— отвечал Максимыч, положив руку за пазуху.— Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить.— Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускорил. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда

выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозит, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия прищипывая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.

— Ваше превосходительство, — сказал я ему, — прибегаю к вам, как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастье всей моей жизни.

— Что такое, батюшка? — спросил изумленный старик. — Что я могу для тебя сделать? Говори.

— Ваше превосходительство, прикажите взять роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

— Как это? Очистить Белогорскую крепость? — скавал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Только отпустите меня.

— Нет, молодой человек, — сказал он качая головою. — На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.

— Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж.

— Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покамест надобно взять терпение...

— Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем женится на Марье Ивановне!..

— О! — возразил генерал. — Это еще не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица.

— Скорее соглашусь умереть, — сказал я в бешенстве, — нежели уступить ее Швабрину!

— Ба, ба, ба, ба! — сказал старик. — Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но всё же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоприятна; я не могу взять ее на свою ответственность.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

ГЛАВА XI

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
«За чем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
Спросил он ласково.

А. Сумароков.

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переводываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-на-все денег? «Будет с тебя,— отвечал он с довольным видом.— Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич,— сказал я ему,— отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

— Батюшка Петр Андреич! — сказал добрый дядька дрожащим голосом.— Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерение мое было твердо принято.

— Поздно рассуждать,— отвечал я старику.— Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридоро-

га. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

— Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич. — Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами: это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная царя, я хотел молча проехать мимо их, но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутой, прищипорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что

было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка,—прибавил он,—волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дожждаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец,—сказал один из мужиков;—сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотец на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками,— всё было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостью.— Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?» Я отве-

чал, что ехал по своему делу и что люди его меня останавливали. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них, — сказал мне Пугачев: — от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, щедушный и сгорбленный старичок с седой бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого роста, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй — Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» — закричал он. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадья, и насильно хочет на ней жениться.

— Я проучу Швабрина, — сказал грозно Пугачев. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

— Прикажи слово молвить,— сказал Хлопуша хриплым голосом.— Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

— Нечего их ни жалеть, ни жаловать!— сказал старичок в голубой ленте.— Швабрина казнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие?— сказал он мне подмигивая.— Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

— Добро,— сказал Пугачев.— Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

— Слава богу,— отвечал я;— всё благополучно.

— Благополучно?— повторил Пугачев.— А народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что всё это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

— Ты видишь,— подхватил старичок,— что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

— Полно, Наумич,— сказал он ему.— Тебе бы всё душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в

чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

— Да ты что за угодник?— возразил Белобородов.— У тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно,— отвечал Хлопуша,— и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим разговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «рванные ноздри!»...

— Что ты там шепчешь, старый хрыч?— закричал Хлопуша.— Я тебе дам рванные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородинки не вырвал!

— Господа енаралы!— провозгласил важно Пугачев.— Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладной; беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен,— сказал он, мигая и прищуриваясь.— Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя,— отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невеста!— закричал Пугачев.— Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем!— Потом, обращаясь к Белобородову:— Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяйна избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темпоте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобоострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилося. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреевич! — кричал дядька. — Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» — «А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев. — Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

— Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич усаживаясь. — Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану.

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслышал или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровавых привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любовью! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему всё; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробежал по моему телу, и волосы становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

— О чем, ваше благородие, изволил задуматься?

— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя.

— Что ж? — спросил Пугачев. — Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— И ты прав, ей-богу прав! — сказал самозванец. — Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился, — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, — помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья.

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспаривать и не отвечал ни слова.

— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да! — сказал он с веселым видом. — Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?»

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.

— Сам как ты думаешь? — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фридериком?

— С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса: «Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою».

— То-то! — сказал я Пугачеву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся. «Нет, — отвечал он; — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою».

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его неплот пушку и выпалили!

— Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на-все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот увидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул

крылом и сказал ворону: нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка?

— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погружаясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

ГЛАВА XII

СИРОТА

Как у нашей у яблонки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня.

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъясняя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» — Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заняло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про

неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно: «Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее».

Швабрин побледнел как мертвый. «Государь,— сказал он дрожащим голосом...— Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит».

«Веди ж меня к ней»,— сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице. «Государь! — сказал он.— Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей».

Я затрепетал. «Так ты женат!» — сказал я Швабрина, готовясь его растерзать.

— Тише! — прервал меня Пугачев.— Это мое дело. А ты,— продолжал он, обращаясь к Швабрина,— не умичай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом: «Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку».

— Отворяй! — сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою: «Хорош у тебя лазарет!» — Потом, подошед к Марье Ивановне: «Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?»

— Мой муж! — повторила она.— Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина: «И ты смел меня обманывать! — сказал он ему.— Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?»

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился. «Милую тебя на сей раз,— сказал он Швабрину;—но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта». Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково: «Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь».

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

— Что, ваше благородие? — сказал смеясь Пугачев. — Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посажёным отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем — и ворота запрем!

Чего я опасался, то и случилось. Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя. «Государь! — закричал он в исступлении. — Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости».

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. «Это что еще?» — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостью.

— Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

— И то правда, — сказал смеясь Пугачев. — Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.

— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой

благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедною сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ии быть по-твоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остоленый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовления к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были закрыты. Я постучался. «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне: я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич, — говорила попадья. — Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не уколошил? Добро, спасибо злодею и за то». — «Полно, старуха, — прервал отец Герасим. — Не всё то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались».

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная! — гово-

рила Акулина Памфиловна. — Промчи бог тучу мимо. Ай-да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» — В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Всё было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне всё, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевавшем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагоприятное отношение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец. — Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцеловались горячо, искренно — и таким образом всё было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводитель-

ствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать всё, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». — Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую стену, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Всё было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше всё было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палаией и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! — говорила добрая попадья. — Счастливый путь, и дай бог вам обоим счастья!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

ГЛАВА XIII

АРЕСТ

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Князьнин.

Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что всё со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, пас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приблизились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? — ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяйскою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! — сказал мне усатый вахмистр. — Вот уж тебе будет бавя, и с твоею хозяйскою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили

брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это всё кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяйюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошел?

— Не могу знать, ваше благородие, — отвечал вахмистр. — Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иванович! ты ли?

— Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

— Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.

— Не могу: я не один.

— Ну, подавай сюда и товарища.

— Я не с товарищем; я... с дамою.

— С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат! (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

— Ну, — продолжал Зурин, — так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попиروвали по-старинному... Гей! малый! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошошенько ее в шею.

— Что ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставляю ее.

— Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?

— После всё расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоумении и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Всё это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и всё будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, что в другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностью. «Друг ты мой, Архип Савельич! — сказал я ему. — Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо

решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней».

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неопisanного. «Жениться! — повторил он. — Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?»

— Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич! — отвечал он. — Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она тихим голосом. — Придется ли нам увидаться или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев всё еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и

со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и всё предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время потрясен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу.¹

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла ме-

¹ К этому месту относится «Пропущенная глава», отброшенная Пушкиным и сохранившаяся только в черновом автографе. См. стр. 361—370.— *Ред.*

ня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе не сдобровать! Женишься — ни за что пронадеешься!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, Емеля! — думал я с досадою; — зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность, — отвечал он, подавая мне бумагу. — Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! — сказал Зурин. — Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев, устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.

ГЛАВА XIV

СУД

Мирская молва —
Морская волна.

Пословица.

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, вместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посреди сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, изливающей из чистого, но растерзан-

ного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил, с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер,— сказал он мне нахмуясь; — но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

— Каким же образом,— возразил мой допросчик,— дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь,

правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

«На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою педозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и всё прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными извещениями злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьбы мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова убеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчера* злодея. Я с живостью обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загревели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы

передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать,— как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слышал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать божью в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил всё мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского

рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностью и осторожностью.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б **. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастию, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горечь его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как! — повторял он, выходя из себя. — Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастья. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его

были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург? — сказала она. — Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка! — сказал он ей со вздохом. — Мы твоему счастью помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкой, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решила тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, — словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого

мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, с своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в почном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

— Вы верно не здешние? — сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

— Вы приехали с вашими родными?

— Никак нет-с. Я приехала одна.

— Одна! Но вы так еще молоды.

— У меня нет ни отца, ни матери.

— Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

— Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня,— сказала она голосом еще более ласковым,— если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Всё в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменялось,— и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом.— Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и лежковерия, но как безправственный и вредный негодяй.

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей-богу, неправда! Я знаю всё, я всё вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня.— Тут она с жаром рассказала всё, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» — спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было припаялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьева изумилась и расхлопоталась. «Ахти, господи! — закричала она. — Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабushке за ее желтым робором?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед ней отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых, великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрасала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подождала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговаривалась с нею. «Знаю, что вы не богаты, — сказала она; — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете.

Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии.— В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам.— В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель.

19 окт. 1836.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОПУЩЕННАЯ ГЛАВА ¹

Мы приближались к берегам Волги; полк наш вступил в деревню ** и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шайки пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром. Нетерпение овладело мной. Деревня отца моего находилась в 30-ти верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы; лодок было много. Я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении. «Берегись,— сказал он мне.— Одному ехать опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые и приведем в гости к твоим родителям 50 человек гусаров на всякий случай».

Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами. Они отчалили и ударили в весла.

Небо было ясно. Луна сияла. Погода была тихая. Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по темным волнам. Я погрузился в мечты воображения. Прошло около получаса. Мы уже достигли середины реки... вдруг гребцы начали шептаться между собою. «Что такое?» — спросил я, очнувшись. «Не знаем, бог весть», — отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться

¹ Глава эта не включена в окончательную редакцию «Капитанской дочки» и сохранилась в черновой рукописи. В тексте главы Гринев называется Буланиным, а Зурин — Гриневым. (Ср. стр. 349—350).— *Ред.*

и дожидаться его. Луна зашла за облако. Плывучий призрак сделался еще неяснее. Он был от меня уже близко, и я всё еще не мог различить. «Что бы это было,— говорили гребцы.— Парус не парус, мачты не мачты...» — Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту, три тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною. Я захотел взглянуть на лица висельников.

По моему приказанию гребцы зацепили плот багром, лодка моя толкнулась о плывучую виселицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами. Яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. Но, взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: «Воры и бунтовщики». Гребцы смотрели равнодушно и ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла, и лодка моя причалила к высокому и крутому берегу...

Я щедро расплатился с гребцами. Один из них повел меня к выборному деревни, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу. Выборный, услыша, что я требую лошадей, принял было меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова, я сел в тележку и велел себя везти в нашу деревню.

Я скакал по большой дороге, мимо спящих деревьев. Я боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противодействия правительства. На всякий случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился и к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня. Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал в **.

Барский дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посреди улицы ямщик начал их удерживать. «Что такое?» — спросил я с нетерпением. «Застава, барин», — отвечал ямщик, с трудом останавливая разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне и связал шляпу, спрашивая пашпорту. «Что это значит?» — спросил я его, — зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?» — «Да мы, батюшка, бунтуем», — отвечал он, почесываясь.

— А где ваши господа? — спросил я с сердечным замешательством...

— Господа-то наши где? — повторил мужик. — Господа наши в хлебном анбаре.

— Как в анбаре?

— Да Андрюха, земский, посадил, вишь, их в колодки и хочет вести к батюшке-государю.

— Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку. Что же ты зеваешь?

Караульный медлил. Я выскочил из телеги, треснул его (виноват) в ухо и сам отодвинул рогатку. Мужик мой глядел на меня с глупым недоумением. Я сел опять в телегу и велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика также с дубинами. Телега остановилась прямо перед ними. Я выскочил и бросился прямо на них. «Отворите двери!» — сказал я им. Вероятно, вид мой был страшен. По крайней мере, оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить замок, а двери выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный молодой мужик вышел из людской избы и с видом надменным спросил меня, как я смею буянить. «Где Андрюшка земский, — закричал я ему. — Кликнуть его ко мне».

— Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка, — отвечал он мне, гордо подбочась. — Чего надобно?

Вместо ответа я схватил его за ворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский было заупрямился, но отеческое наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпер анбар. Я кинулся через порог и в темном углу, слабо освещенном узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны, на ноги набиты были колодки. Я бросился их обвинять и не мог выговорить ни слова. Оба смотрели на меня с изумлением, — три года военной жизни так изменили

меня, что они не могли меня узнать. Матушка ахнула и залилась слезами.

Вдруг услышал я милый знакомый голос. «Петр Андреич! Это вы!» Я остолбенел... оглянулся и вижу в другом углу Марью Ивановну, также связанную.

Отец глядел на меня молча, не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его. Я спешил саблею разрезать узлы их веревок.

— Здравствуй, здравствуй, Петруша,— говорил отец мне, прижимая меня к сердцу,— слава богу, дождались тебя...

— Петруша, друг мой,— говорила матушка.— Как тебя господь привел! Здоров ли ты?

Я спешил их вывести из заключения,— но, подошед к двери, я нашел ее снова запертою. «Андрюшка,— закричал я,— отопри!»—«Как не так,— отвечал из-за двери земский.— Сиди-ка сам здесь. Вот уже научим тебя буйнить да за ворот таскать государевых чиновников!»

Я стал осматривать анбар, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться.

— Не трудись,— сказал мне батюшка.— Не таковский я хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками.

Матушка, на минуту обрадованная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с Марьей Ивановной. Со мною была сабля и два пистолета, я мог еще выдержать осаду. Гринев должен был подоспеть к вечеру и нас освободить. Я сообщил всё это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания.

— Ну, Петр,— сказал мне отец,— довольно ты проказил, и я на тебя порядком был сердит. Но нечего поминать про старое. Надеюсь, что теперь ты исправился и перебежился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. Спасибо. Утешил меня, старика. Коли тебе обязан я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее.

Я со слезами целовал его руку и глядел на Марью Ивановну, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна.

Около полудни услышали мы необычайный шум и крики. «Что это значит,— сказал отец,— уж не твой ли полковник подоспел?»—«Невозможно,— отвечал я.— Он не

будет прежде вечера». Шум умножался. Били в набат. По двору скакали конные люди; в эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалостным голосом: «Андрей Петрович, Авдотья Васильевна, батюшка ты мой, Петр Андреич, матушка Марья Ивановна, беда! злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр Андреич, кто их привел? Швабрин, Алексей Иванович, нелегкое его побери!» Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижною.

— Послушай,— сказал я Савельичу,— пошли кого-нибудь верхом к * перевозу, навстречу гусарскому полку; и вели дать знать полковнику об нашей опасности.

— Да кого же послать, сударь! Все мальчишки бунтуют, а лошади все захвачены! Ахти! Вот уж на дворе. До анбара добираются.

В это время за дверью раздалось несколько голосов. Я молча дал знак матушке и Марье Ивановне удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у самой двери. Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел курки и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась и голова земского показалась. Я ударил по ней саблею и он упал, заградив вход. В ту же минуту батюшка выстрелил в двери из пистолета. Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутреннею петлею. Двор был полон вооруженных людей. Между ими узнал я Швабрина.

— Не бойтесь,— сказал я женщинам.— Есть надежда. А вы, батюшка, уж более не стреляйте. Побережем последний заряд.

Матушка молча молилась богу; Марья Ивановна стояла подле нее, с ангельским спокойствием ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по имени.

— Я здесь, чего ты хочешь?

— Сдайся, Буланин, противиться напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством себя не спасешь. Я до вас доберусь!

— Попробуй, изменник!

— Не стану ни сам соваться по-пустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь анбар, и тогда посмотрим,

что ты станешь делать, Дон-Кихот Белогорский. Теперь время обедать. Покамест сиди да думай на досуге. До свидания, Марья Ивановна, не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем.

Швабрин удалился и оставил караул у анбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей. Я воображал себе всё, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе я почти не заботился. Признаться ли? И участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба Марьи Ивановны. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования. Тут пощада была вероятна. Но Марья Ивановна? Какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек? Я не смел остановиться на этой ужасной мысли и готовился, прости господи, скорее умертвить ее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга.

Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных. Караульные наши им завидовали и, досадуя на нас, ругались и стращали нас истязаниями и смертию. Мы ожидали последствия угрозам Швабрина. Наконец сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос Швабрина.

— Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли добровольно в мои руки?

Никто ему не отвечал. Подождав немного, Швабрин велел принести соломы. Через несколько минут вспыхнул огонь и осветил темный анбар, и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Марья Ивановна подошла ко мне и тихо, взяв меня за руку, сказала:

— Полно, Петр Андреич! Не губите за меня и себя и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает.

— Ни за что,— закричал я с сердцем.— Знаете ли вы, что вас ожидает?

— Бесчестия я не переживу,— отвечала она спокойно.— Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно призрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович. Прощайте, Авдотья Васильевна. Вы были для меня более, чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреич. Будьте

уверены, что... что... — тут она заплакала и закрыла лицо руками... Я был как сумасшедший. Матушка плакала.

— Полно врать, Марья Ивановна, — сказал мой отец. — Кто тебя пустит одну к разбойникам! Сиди здесь и молчи. Умирать, так умирать уж вместе. Слушай, что там еще говорят?

— Сдаетесь ли? — кричал Швабрин. — Видите? через пять минут вас изжарят.

— Не сдадимся, злодей! — отвечал ему батюшка твердым голосом.

Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительной бодростью, глаза грозно сверкали из-под седых бровей. И, обратясь ко мне, сказал:

— Теперь пора!

Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по бревнам, законопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав: «Все за мною». Я схватил за руки матушку и Марью Ивановну и быстро вывел их на воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлою рукою отца моего; толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед в себя, увидел я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним всё наше семейство. Меня поддерживали под руки. Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен. Одной рукой прижимал он раненый бок. Лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом:

— Вешать его... и всех... кроме ее...

Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались; в ворота въехал Гринев и за ним целый эскадрон с саблями наголо.

Бунтовщики утекали во все стороны; гусары их преследовали, рубили и хватали в плен. Гринев соскочил с лошади, поклонился батюшке и матушке и крепко пожал мне руку. «Кстати же я подоспел, — сказал он нам. — А!

вот и твоя невеста». Марья Ивановна покраснела по уши. Батюшка к нему подошел и благодарил его с видом спокойным, хотя и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом избавителем. «Милости просим к нам», — сказал ему батюшка и повел его к нам в дом.

Проходя мимо Швабрина, Гринев остановился. «Это кто?» — спросил он, глядя на раненого. «Это сам предводитель, начальник шайки, — отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающей старого воина, — бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея и отомстить ему за кровь моего сына».

— Это Швабрин, — сказал я Гриневу.

— Швабрин! Очень рад. Гусары! возьмите его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему рану и берег его как зеницу ока. Швабрина надобно непременно представить в секретную Казанскую комиссию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны.

Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще.

Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось, всё было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унежении невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия. Слуги явились в переднюю. Они не участвовали в бунте и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побежал в конюшню, где стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, вывел тихонько и благодаря суматохе незаметным образом поскакал к перевозу. Он встретил полк, отдыхавший уже по сю сторону Волги. Гринев, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп — и, слава богу, прискакал вовремя.

Гусары возвратились с погони, захватя в плен несколько человек. Их заперли в тот самый анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду.

Гринев настоял на том, чтобы голова земского была на несколько часов выставлена на песте у кабака.

Мы разошлись каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавши целую ночь, я бросился

на постель и крепко заснул. Гринев пошел делать свои распоряжения.

Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, счастлив совершенно, а много ли таковых минут в бедной жизни человеческой?

На другой день доложили батюшке, что крестьяне явились на барский двор с повинною. Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени.

— Ну что, дураки,— сказал он им,— зачем вы вздумали бунтовать?

— Виноваты, государь ты наш,— отвечали они в голос.

— То-то, виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что бог привел мне свидеться с сыном Петром Андреичем.

— Виноваты! Конечно, виноваты.

— Ну, добро: повинную голову меч не сечет. Бог дал ведро, пора бы сено убрать; а вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно на сенокос; да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к Ильину дню всё сено было в копнах. Убирайтесь.

Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало.

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показывать вид, что торжествую над несчастьем и унижением другого.

Гринев должен был отправиться далее. Я решился за ним последовать, несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям и по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марьей Ивановной. Старики меня подняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марью Ивановну бледную и трепещущую. Нас бла-

гословили... Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет, — кто не бывал, о том только могу пожалеть и советовать, пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение.

На другой день полк собрался. Гринев распростился с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены; через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцеловала меня при всех. Я сел верхом. Савельич опять за мною последовал — и полк ушел.

Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не все несчастья для меня миновались. Сердце чуло новую бурю.

Не стану описывать нашего похода и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.

Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных... Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка.

Пугачев бежал, преследуемый Ив. Ив. Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Гринев получил от своего генерала известие о поимке самозванца, а вместе и повеление остановиться. Наконец мне можно было ехать домой. Я был в восторге; но странное чувство омрачало мою радость.

ОТРЫВКИ
И
НАБРОСКИ



НАДЕНЬКА

Несколько молодых людей, по большей части военных, проигрывали свое имение поляку Ясунскому, который держал маленький банк для преспровождения времени и важно передергивал, подрезая карты. Тузы, тройки, разорванные короли, загнутые валеты сыпались всею, и облако стираемого мела мешалось с дымом турецкого табаку.

— Неужто два часа ночи? боже мой, как мы засиделись,— сказал Виктор N молодым своим товарищам.— Не пора ли оставить игру?

Все бросили карты, встали из-за стола, всякий, докуривая трубку, стал считать свой или чужой выигрыш; поспорили, согласились и разъехались.

— Не хочешь ли вместе отужинать,— спросил Виктор ветреный Вельверов,— я познакомлю тебя с очень милой девочкой, ты будешь меня благодарить.

Оба сели на дрожки и полетели по мертвым улицам Петербурга.

.

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ...

I

Гости съезжались на дачу ***. Зала наполнялась дамами и мужчинами, приехавшими в одно время из театра, где давали новую итальянскую оперу. Мало-помалу порядок установился. Дамы заняли свои места по диванам. Около их составилась кружок мужчин. Висты учредились. Осталось на ногах несколько молодых людей; и смотр парижских литографий заменил общий разговор.

На балконе сидело двое мужчин. Один из них, путешествующий испанец, казалось, живо наслаждался прелестью северной ночи. С восхищением глядел он на ясное, бледное небо, на величавую Неву, озаренную светом неизъяснимым, и на окрестные дачи, рисующиеся в прозрачном сумраке. «Как хороша ваша северная почва,— сказал он наконец,— и как не жалеть об ее прелести даже под небом моего отечества?» — «Один из наших поэтов,— отвечал ему другой,— сравнил ее с русской белокрысой красавицей; признаюсь, что смуглая, черноглазая итальянка или испанка, исполненная живости и полуденной неги, более пленяет мое воображение. Впрочем, давнишний спор между *la brune et la blonde* еще не решен. Но кстати: знаете ли вы, как одна иностранка изъясняла мне строгость и чистоту петербургских нравов? Она уверяла, что для любовных приключений наши зимние ночи слишком холодны, а летние слишком светлы». — Испанец улыбнулся. «Итак, благодаря влиянию климата,— сказал он,— Петербург есть обетованная земля красоты, любезности и беспорочности». — «Красота дело вкуса,— отвечал русский,— но нечего говорить об нашей любезности. Она не в моде; никто об ней и не ду-

мает. Женщины боятся прослыть кокетками, мужчины уронить свое достоинство. Все стараются быть ничтожными со вкусом и приличием. Что ж касается до чистоты нравов, то дабы не употребить во зло доверчивости иностранца, я расскажу вам...» И разговор принял самое сатирическое направление.

В сие время двери в залу отворились, и Вольская вошла. Она была в первом цвете молодости. Правильные черты, большие, черные глаза, живость движений, самая странность наряда, всё поневоле привлекало внимание. Мужчины встретили ее с какой-то шутливой приветливостью, дамы с заметным недоброжелательством; но Вольская ничего не замечала; отвечая криво на общие вопросы, она рассеянно глядела во все стороны; лицо ее, изменчивое как облако, изобразило досаду; она села подле важной княгини Г. и, как говорится, *se mit à boudier*.

Вдруг она вздрогнула и обернулась к балкону. Беспокойство овладело ею. Она встала, пошла около кресел и столов, остановилась на минуту за стулом старого генерала Р., ничего не отвечала на его тонкий мадригал и вдруг скользнула на балкон.

Испанец и русский встали. Она подошла к ним и с замешательством сказала несколько слов по-русски. Испанец, полагая себя лишним, оставил ее и возвратился в залу.

Важная княгиня Г. проводила Вольскую глазами и вполголоса сказала своему соседу:

— Это ни на что не похоже.

— Она ужасно ветрена, — отвечал он.

— Ветрена? этого мало. Она ведет себя непростительно. Она может не уважать себя сколько ей угодно, но свет еще не заслуживает от нее такого пренебрежения. Минский мог бы ей это заметить.

— Il n'en fera rien, trop heureux de pouvoir la compromettre. Между тем, я быюсь об заклад, что разговор их самый невинный.

— Я в том уверена... Давно ли вы стали так добродушны?

— Признаюсь: я принимаю участие в судьбе этой молодой женщины. В ней много хорошего и гораздо менее дурного, нежели думают. Но страсти ее погубят.

— Страсти! какое громкое слово! что такое страсти? Не воображаете ли вы, что у ней пылкое сердце, рома-

ническая голова? Просто она дурно воспитана... Что это за литография? портрет Гуссейн-паши? покажите мне его.

Гости разъезжались; ни одной дамы не оставалось уже в гостиной. Лишь хозяйка с явным неудовольствием стояла у стола, за которым два дипломата доигрывали последнюю игру в экарте. Вольская вдруг заметила зарю и поспешно оставила балкон, где она около трех часов сряду находилась наедине с Минским. Хозяйка простилась с нею холодно, а Минского с намерением не удостоила взгляда. У подъезда несколько гостей ожидали своих экипажей. Минский посадил Вольскую в ее карету. «Кажется, твоя очередь», — сказал ему молодой офицер. «Вовсе нет, — отвечал он; — она занята; я просто ее персник или что вам угодно. Но я люблю ее от души — она уморительно смешна».

Зинаида Вольская лишилась матери на шестом году от рождения. Отец ее, человек деловой и рассеянный, отдал ее на руки француженки, нанял учителей всякого рода и после уж об ней не заботился. Четырнадцати лет она была прекрасна и писала любовные записки своему танцмейстеру. Отец об этом узнал, отказал танцмейстеру и вывез ее в свет, полагая, что воспитание ее кончено. Появление Зинаиды наделало большого шума. Вольский, богатый молодой человек, привыкший подчинять свои чувства мнению других, влюбился в нее без памяти, потому что генерал-адъютант ** на одном придворном бале решительно объявил, что Зенеида первая в Петербурге красавица и что государь, встретив ее на Англинской набережной, целый час с нею разговаривал. Он стал свататься. Отец обрадовался случаю сбыть с рук модную невесту. Зинаида горела нетерпением быть замужем, чтоб видеть у себя весь город. К тому же Вольский ей не был противен, и таким образом участь ее была решена.

Ее искренность, неожиданные проказы, детское легкомыслие производили сначала приятное впечатление, и даже свет был благодарен той, которая поминутно прерывала важное однообразие аристократического круга. Смеялись ее шалостям, повторяли ее странные выходки. Но годы шли, а душе Зинаиды всё еще было 14 лет. Стали роптать. Нашли, что Вольская не имеет никакого чув-

ства приличия, свойственного ее полу. Женщины стали от нее удаляться, а мужчины приблизились. Зинаида подумала, что она не в проигрыше, и утешилась.

Молва стала приписывать ей любовников. Злословие даже без доказательств оставляет почти вечные следы. В светском уложении правдоподобие равняется правде, а быть предметом клеветы унижает нас в собственном мнении. Вольская, в слезах негодования, решилась возмутиться противу власти несправедливого света. Случай скоро представился.

Между молодыми людьми, ее окружающими, Зинаида отличила Минского. По-видимому, некоторое сходство в характерах и обстоятельствах жизни должно было их сблизить. В первой молодости Минский порочным своим поведением заслужил также порицание света, который наказал его клеветою. Минский оставил его, притворясь равнодушным. Страсти на время заглушили в его сердце угрызения самолюбия; но, усмирённый опытами, явился он вновь на сцену общества и принес ему уже не пылкость неосторожной своей юности, но снисходительность и благопристойность эгоизма. Он не любил света, но не презирал, ибо знал необходимость его одобрения. Со всем тем, уважая вообще, он не щадил его в особенности, и каждого члена его готов был принести в жертву своему злопамятному самолюбию. Вольская правилась ему за то, что она осмеливалась явно презирать ему ненавистные условия. Он подстрекал ее ободрением и советами, сделался ее наперсником и вскоре стал ей необходимым.

Б ** несколько времени занимал ее воображение. «Он слишком для вас ничтожен,— сказал ей Минский.— Весь ум его потерян из *Liaisons dangereuses*, так же как весь его гений выкраден из Жюмани. Узнав его короче, вы будете презирать его тяжелую безнравственность, как военные люди презирают его пошлые расуждения».

— Мне хотелось бы влюбиться в Р.,— сказала ему Зинаида.

— Какой вздор! — отвечал он.— Охота вам связываться с человеком, который красит волосы и каждые пять минут повторяет с упоением: «*Quand j'étais à Florence...*» Говорят, его несносная жена влюблена в него; оставьте их в покое: они созданы друг для друга.

— А барон W.?

— Это девочка в мундире; что в нем... но знаете ли что? влюбитесь в Л. Он займет ваше воображение: он так же необыкновенно умен, как необыкновенно дурен; *et puis c'est un homme à grands sentiments*, он будет ревнив и страстен, он будет вас мучить и смешить, чего вам более?

Однако ж Вольская его не послушалась. Минский угадывал ее сердце; самолюбие его было тронут; не полагая, чтоб легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связь безо всяких важных последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, если б он мог вообразить бури, его ожидающие, то отказался б от своего торжества, ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием лени и благоприличию.

II

Минский лежал еще в постеле, когда подали ему письмо. Он распечатал его зевая; пожал плечами, развернув два листа, вдоль и поперек исписанные самым мелким женским почерком. Письмо начиналось таким образом:

«Я не умела тебе высказать всё, что имею на сердце; в твоём присутствии я не нахожу мыслей, которые теперь так живо меня преследуют. Твои софизмы не убеждают моих подозрений, но заставляют меня молчать; это доказывает твоё всегдашнее превосходство надо мною, но не довольно для счастья, для спокойствия моего сердца...»

Вольская упрекала его в холодности, недоверчивости и проч., жаловалась, умоляла, сама не зная о чем; рассыпалась в нежных, ласковых уверениях — и назначала ему вечером свидание в своей ложе. Минский отвечал ей в двух словах, извиняясь скучными необходимыми делами и обещаясь быть непременно в театре.

— Вы так откровенны и снисходительны, — сказал испанец, — что осмелюсь просить вас разрешить мне одну задачу: я скитался по всему свету, представлялся во всех европейских дворах, везде посещал высшее общество, по нигде не чувствовал себя так связанным, так неловким, как в проклятом вашем аристократическом кругу. Всякий раз, когда я вхожу в залу княгини В. — и вижу эти немые, неподвижные мумии, напоминающие мне египетские кладбища, какой-то холод меня пронимает. Между ними нет ни одной моральной власти, ни одно имя не утверждено мне славою — перед чем же я робею?

— Перед недоброжелательством, — отвечал русский. — Это черта нашего нрава. В народе выражается она насмешливостию, в высшем кругу невниманием и холодностию. Наши дамы к тому же очень поверхностно образованы, и ничто европейское не занимает их мыслей. О мужчинах нечего и говорить. Политика и литература для них не существуют. Остроумие давно в опале как признак легкомыслия. О чем же станут они говорить? о самих себе? нет, — они слишком хорошо воспитаны. Остается им разговор какой-то домашний, мелочной, частный, понятный только для немногих — для избранных. И человек, не принадлежащий к этому малому кругу, прият как чужой — и не только иностранец, но и свой.

— Извините мне мои вопросы, — сказал испанец, — но вряд ли мне пайти в другой раз удовлетворительных ответов, и я спешу вами пользоваться. Вы упомянули о вашей аристократии; что такое русская аристократия. Занимаясь вашими законами, я вижу, что наследственной аристократии, основанной на неделимости имений, у вас не существует. Кажется, между вашим дворянством существует гражданское равенство и доступ к оному ничем не ограничен. На чем же основывается ваша так называемая аристократия, — разве только на одной древности родов? — Русский засмеялся.

— Вы ошибаетесь, — отвечал он, — древнее русское дворянство, вследствие причин, вами упомянутых, упало в неизвестность и составило род третьего состояния. Наша благородная чернь, к которой и я принадлежу, считает своими родоначальниками Рюрика и Мономаха. Я скажу,

например,— продолжал русский с видом самодовольного небрежения,— корень дворянства моего теряется в отдаленной древности, имена предков моих на всех страницах истории нашей. Но если бы я подумал назвать себя аристократом, то, вероятно, насмешил бы многих. Но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древние роды их восходят до Петра и Елисаветы. Денщики, певчие, хохлы — вот их родоначальники. Говорю не в укор: достоинство — всегда достоинство, и государственная польза требует его возвышения. Смешно только видеть в ничтожных внуках пирожников, денщиков, певчих и дьячков спесь герцога Монтогенсу, первого христианского барона, и Клермон-Тоннера. Мы так положительны, что стоим на коленях пред настоящим случаем, успехом и..., но очарование древностью, благодарность к прошедшему и уважение к нравственным достоинствам для нас не существует. Карамзин недавно рассказывал нам нашу историю. Но едва ли мы вслушались. Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди или балами двоюродной сестры. Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности.

.

В НАЧАЛЕ 1812 ГОДА...

В начале 1812 года полк наш стоял в небольшом уездном городе, где мы проводили время очень весело. Помещики окрестных деревень обыкновенно приезжали туда на зиму, каждый день мы бывали вместе, по воскресениям танцевали у предводителя. Все мы, т. е. двадцатилетние обер-офицеры, были влюблены, и многие из моих товарищей нашли себе подругу на этих вечеринках; итак, неудивительно, что каждая безделица, относящаяся к тому времени, для меня памятна и любопытна.

Всего чаще посещали мы дом городничего. Он был взяточник, балагур и хлебосол, жена его — свежая веселая баба, большая охотница до виста, а дочь стройная меланхолическая девушка лет 17-ти, воспитанная на романах и на бланманже...

.

НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ ПЛОЩАДИ...

ГЛАВА I

Votre coeur est l'éponge imbibée de fiel et de vinaigre.

Correspondance inédite.

На углу маленькой площади, перед деревянным домиком, стояла карета, явление редкое в сей отдаленной части города. Кучер спал лежа на козлах, а фореитор играл в снежки с дворовыми мальчишками.

В комнате, убранной со вкусом и роскошью, на диване, обложенная подушками, одетая с большой изысканностью, лежала бледная дама, уж не молодая, но еще прекрасная. Перед камином сидел молодой человек лет 26-ти, перебирающий листы английского романа.

Бледная дама не спускала с него своих черных и влажных глаз, окруженных болезненной синевою. Начало смеркаться, камин гаснул; молодой человек продолжал свое чтение. Наконец она сказала:

— Что с тобою сделалось, Валериан? ты сегодня сердит.

— Сердит,— отвечал он, не подымая глаз с своей книги.

— На кого?

— На князя Горецкого. У него сегодня бал, и я не зван.

— А тебе очень хотелось быть на его бале?

— Нимало. Черт его поberi с его балом. Но если зовут он весь город, то должен звать и меня.

— Который это Горецкий? Не князь ли Яков?

— Совсем нет. Князь Яков давно умер. Это брат его, князь Григорий, известная скотина.

— На ком он женат?

— На дочери того певчего... как бишь его?

— Я так давно не выезжала, что совсем раззнакомилась с вашим высшим обществом. Так ты очень дорожишь вниманием князя Григория, известного мерзавца, и благосклонностию жены его, дочери певчего?

— И конечно,— с жаром отвечал молодой человек, бросая книгу на стол.— Я человек светский и не хочу быть в пренебрежении у светских аристократов. Мне дела нет ни до их родословной, ни до их нравственности.

— Кого ты называешь у нас аристократами?

— Тех, которым протягивает руку графиня Фуфлыгина.

— А кто такая графиня Фуфлыгина?

— Наглая дура.

— И пренебрежение людей, которых ты презираешь, может до такой степени тебя расстраивать?! — сказала дама, после некоторого молчания.— Признайся, тут есть и иная причина.

— Так: опять подозрения! опять ревность! Это, ей-богу, несносно.

С этим словом он встал и взял шляпу.

— Ты уж едешь,— сказала дама с беспокойством.— Ты не хочешь здесь отобедать?

— Нет, я дал слово.

— Обедай со мною,— продолжала она ласковым и робким голосом.— Я велела взять шампанского.

— Это зачем? разве я московский банкомет? разве я без шампанского обойтись не могу?

— Но в последний раз ты нашел, что вино у меня дурно, ты сердился, что женщины в этом не знают толку. На тебя не угодишь.

— Не прошу и угождать.

Она не отвечала ничего. Молодой человек тотчас раскаялся в грубости сих последних слов. Он к ней подошел, взял ее за руку и сказал с нежностью: «Зинаида, прости меня: я сегодня сам не свой; сержусь на всех и за всё. В эти минуты надобно мне сидеть дома... Прости меня; не сердись».

— Я не сержусь, Валериан; но мне больно видеть, что с некоторого времени ты совсем переменился. Ты приезжаешь ко мне как по обязанности, не по сердечному влечению. Тебе скучно со мною. Ты молчишь, не знаешь чем заняться, перевертываешь книги, придираешься ко мне, чтоб со мною побороться и уехать... Я не упрекаю тебя: сердце наше не в нашей воле, но я...

Валериан уже ее не слушал. Он натягивал давно надетую перчатку и нетерпеливо поглядывал на улицу. Она замолчала с видом стесненной досады. Он пожал ее руку, сказал несколько незначащих слов и выбежал из комнаты, как резвый школьник выбегает из класса. Зинаида подошла к окошку; смотрела, как подали ему карету, как он сел и уехал. Долго стояла она на том же месте, опершись горячим лбом о оледенелое стекло. — Наконец она сказала вслух: «нет, он меня не любит», позвонила, велела зажечь лампу и села за письменный столик.

ГЛАВА II

*Vous écrivez vos lettres de 4 pages
plus vite que je ne puis les lire.*

****** скоро удостоверился в неверности своей жены. Это чрезвычайно его расстроило. Он не знал на что решиться: притвориться ничего не замечающим казалось ему глупым; смеяться над несчастьем столь обыкновенным — презрительным; сердиться не на шутку — слишком шумным; жаловаться с видом глубоко оскорбленного чувства — слишком смешным. К счастью, жена его явилась ему на помощь.

Полюбив Володского, она почувствовала отвращение от своего мужа, сродное одним женщинам и понятное только им. Однажды вошла она к нему в кабинет, заперла за собою дверь и объявила, что она любит Володского, что не хочет обманывать мужа и втайне его бесчестить и что она решила развестись. ****** был встревожен таким чистосердечием и стремительностию. Она не дала ему времени опомниться, в тот же день переехала с Английской набережной в Коломну и в короткой записочке уведомила обо всем Володского, не ожидавшего ничего тому подобного...

Он был в отчаянии. Никогда не думал он связать себя такими узами. Он не любил скуки, боялся всякой обязанности и выше всего ценил свою себялюбивую независимость. Но всё было кончено. Зинаида оставалась на его руках. Он притворился благодарным и приготовился на хлопоты любовной связи, как на занятие должностное или как на скучную обязанность поверять ежемесячные счета своего дворецкого...

.

ЗАПИСКИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

4 мая 1825 г. произведен я в офицеры, 6-го получил повеление отправиться в полк в местечко Васильков, 9-го выехал из Петербурга.

Давно ли я был еще кадетом? давно ли будили меня в 6 часов утра, давно ли я твердил немецкий урок при вечном шуме корпуса? Теперь я прапорщик, имею в сумке 475 р., делаю что хочу и скачу на перекладных в местечко Васильков, где буду спать до осьми часов и где уже никогда не молвлю ни единого немецкого слова.

В ушах моих всё еще отзывает шум и крики играющих кадетов и однообразное жужжание прилежных учеников, повторяющих вокабулы — *le bluet, le bluet*, василек, *amarante*, амарант, *amarante, amarante...* Теперь стук тележки да звон колокольчика одни нарушают окрестное безмолвие... Я всё еще не могу привыкнуть к этой тишине.

При мысли о моей свободе, об удовольствиях пути и приключениях, меня ожидающих, чувство несказанной радости, доходящей до восторга, наполнило мою душу. Успокоясь мало-помалу, наблюдал я движение передних колес и делал математические исчисления. Нечувствительным образом сие занятие меня утомило, и путешествие уже казалось мне не столь приятным, как сначала.

Приехав на станцию, я отдал кривому смотрителю свою подорожную и потребовал скорее лошадей. Но с неизъяснимым неудовольствием услышал я, что лошадей нет; я заглянул в почтовую книгу: от города * до Петербурга едущий шестого класса чиновник с будущим взял двенадцать лошадей, генеральша Б.—восемь, две тройки пошли с почтою, остальные две лошади взял наш брат прапорщик. На станции стояла одна курьерская тройка, и смот-

ритель не мог ее мне дать. Если паче чаяния наскочет курьер или фельдъегерь и не найдет лошадей, то что с ним тогда будет, беда — он может лишиться места, пойти по миру. Я попытался подкупить его совесть, но он остался непоколебим и решительно отвергнул мой двугривенник. Нечего делать! Я покорился необходимости.

«Угодно ли чаю или кофею», — спросил меня смотритель. Я благодарил и занялся рассмотрением картинок, украшающих его смиренную обитель. В них изображена история блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и в шляфоре отпускает беспокойного юпошу, который поспешно принимает его благословения и мешок с деньгами. В другой изображено яркими чертами дурное поведение развратного молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами; далее промотавшийся юноша в французском кафтане и треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние, он воспоминает о доме отца своего, где *последний раб* и т. д. Наконец представлено возвращение его к отцу своему. Добрый старик в том же колпаке и шляфоре выбегает к нему навстречу. Блудный сын стоит на коленях, вдали повар убивает упитанного тельца, и старший брат с досадой вопрошает о причине таковой радости. Под картинками напечатаны немецкие стихи. Я прочел их с удовольствием и списал, чтоб на досуге перевести.

Прочие картины не имеют рам и прибиты к стене гвоздиками. Они изображают погребение кота, спор красного носа с сильным морозом и тому подобное, — и в нравственном, как и художественном, отношении не стоят внимания образованного человека.

Я сел под окно. Виду никакого. Тесный ряд однообразных изб, прислоненных одна к другой. Кое-где две-три яблони, две-три рябины, окруженные худым забором, отпряженная телега с моим чемоданом и погребцом.

День жаркий. Ямщики разбрелись. На улице играют в бабки златовласые, замаранные ребятишки. Против меня старуха сидит перед избою подгорюнившись. Изредка поют петухи. Собаки валяются на солнце или бродят, высунув язык и опустя хвост, да поросята с визгом выбегают из-под ворот и мечутся в сторону безо всякой видимой причины.

Какая скука! Иду гулять в поле. Развалившийся колодец. Около его — мелкая лужица. В ней резвятся желтенькие утята под надзором глупой утки, как балованные дети при мадаме.

Я пошел по большой дороге — справа тощий озимь, слева кустарник и болото. Кругом плоское пространство. Навстречу одни полосатые версты. В небесах медленное солнце, кое-где облако. Какая скука! Иду назад, дошед до третьей версты и удостоверюсь, что до следующей станции оставалось еще двадцать две.

Возвратясь, я попытался было завести речь с моим ямщиком, но он, как будто избегая порядочного разговора, на вопросы мои отвечал одними: «не можем знать, ваше благородие», «а бог знает», «а не что́...»

Я сел опять под окном и спросил у толстой работницы, которая бегала поминутно мимо меня то в задние сени, то в чулан, — нет ли чего-нибудь почитать. Она принесла мне несколько книг. Я обрадовался и кинулся с жадностью их разбирать. Но тотчас я успокоился, увидев затасканную азбуку и арифметику, изданную для народных училищ. Сын смотрителя, буян лет девяти, обучался по ним, как говорила она, всем наукам, упрямо выдирая затверженные листы, за что по закону естественного возмездия дирали его за волосы.

.

УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА. Я ЖЕНЮСЬ...

(С французского)

Участь моя решена. Я женюсь...

Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством — боже мой — она... почти моя.

Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней заматающейся карты, угрызение совести, сон перед поединком — всё это в сравнении с ним ничего не значит.

Дело в том, что я боялся не одного отказа. Один из моих приятелей говаривал: «Не понимаю, каким образом можно свататься, если знаешь наверное, что не будет отказа».

Жениться! Легко сказать — большая часть людей видят в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок.

Другие — приданое и степенную жизнь...

Третьи женятся так, потому что все женятся — потому что им 30 лет. Спросите их, что такое брак, в ответ они скажут вам пошлую эпиграмму.

Я женюсь, т. е. я жертвую независимостию, моею беспечной, прихотливой независимостию, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством.

Я готов удвоить жизнь и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастье, я мог обойтись без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?

Пока я не женат, что значат мои обязанности? Есть у меня больной дядя, которого почти никогда не вижу. Заеду к нему — он очень рад; нет — так он извиняет меня:

«Повеса мой молод, ему не до меня». Я ни с кем не в переписке, долги свои выплачиваю каждый месяц. Утром встаю когда хочу, принимаю кого хочу, вздумаю гулять — мне седлают мою умную, смирную Женни, еду переулками, смотрю в окна низеньких домиков: здесь сидит семейство за самоваром, там слуга метет комнаты, далее девочка учится за фортепьяно, подле нее ремесленник музыкант. Она поворачивает ко мне рассеянное лицо, учитель ее бранит, я шагом еду мимо... Приеду домой — разбираю книги, бумаги, привожу в порядок мой туалетный столик, одеваюсь небрежно, если еду в гости, со всевозможной старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман, или журналы; если ж Вальтер Скотт и Купер ничего не написали, а в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса, то требую бутылки шампанского во льду, смотрю, как рюмка стынет от холода, пью медленно, радуясь, что обед стоит мне 17 рублей и что могу позволять себе эту шалость. Еду в театр, отыскиваю в какой-нибудь ложе замечательный убор, черные глаза; между нами начинается сношение — я занят до самого разъезда. Вечер провожу или в шумном обществе, где теснится весь город, где я вижу всех и всё и где никто меня не замечает, или в любезном избранном кругу, где говорю я про себя и где меня слушают. Возвращаюсь поздно; засыпаю, читая хорошую книгу. На другой день опять еду верхом переулками, мимо дома, где девочка играла на фортепьяно. Она твердит на фортепьяно вчерашний урок. Она взглянула на меня, как на знакомого, и засмеялась. — Вот моя холостая жизнь...

Если мне откажут, думал я, поеду в чужие края, — и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся: морской, свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег — *My native land, adieu*. Подле меня молодую женщину начинает тошнить; это придает ее бледному лицу выражение томной нежности... Она просит у меня воды. Слава богу, до Кронштадта есть для меня занятие...

В эту минуту подали мне записку: ответ на мое письмо. Отец невесты моей ласково звал меня к себе... Нет сомнения, предложение мое принято. Наденька, мой ангел — она моя!.. Все печальные сомнения исчезли перед этой райской мыслью. Бросаюсь в карету, скачу; вот их

дом; вхожу в переднюю; уже по торопливому приему служивжу, что я жених. Я смутился: эти люди знают мое сердце; говорят о моей любви на своем холопском языке!..

Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстыми объятиями. Он вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решился высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Наденьку; она вошла бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образа Николая чудотворца и Казанской богоматери. Нас благословили. Наденька подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревне — и я жених.

Итак, уж это не тайна двух сердец. Это сегодня новость домашняя, завтра — площадьная.

Так поэма, обдуманная в уединении, в летние ночи при свете луны, продается потом в книжной лавке и критикуется в журналах дураками.

Все радуются моему счастью, все поздравляют, все полюбили меня. Всякий предлагает мне свои услуги: кто свой дом, кто денег взаймы, кто знакомого бухарца с шалами. Иной беспокоится о многочисленности будущего моего семейства и предлагает мне 12 дюжин перчаток с портретом m-ле Зонтаг.

Молодые люди начинают со мной чиниться: уважают во мне уже неприятеля. Дамы в глаза хвалят мне мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте: «Бедная! Она так молода, так невинна, а он такой ветреный, такой безправственный...»

Признаюсь, это начинает мне надоедать. Мне нравится обычай какого-то древнего народа: жених тайно похищал свою невесту. На другой день представлял уже он ее городским сплетницам как свою супругу. У нас приготавливают к семейственному счастью печатными объявлениями, подарками, известными всему городу, форменными письмами, визитами, словом сказать, соблазном всякого рода...

.

ОТРЫВОК

Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться, кроме права ставить винительный вместо родительного падежа после частицы *не* и кой-каких еще так называемых стихотворческих вольностей, мы никаких особенных преимуществ за стихотворцами не ведаем) — как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Не говорю о их обыкновенном гражданском ничтожестве и бедности, вошедшей в пословицу, о зависти и клевете братья, коих они делаются жертвами, если они в славе, о презрении и насмешках, со всех сторон падающих на них, если произведения их не нравятся, — но что, кажется, может сравниться с несчастьем для них неизбежным (разумею суждения глупцов)? Однако же и сие горе, как оно ни велико, не есть крайним еще для них. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание, прозвище, коим он заклеимен и которое никогда его не покидает. Публика смотрит на него как на свою собственность, считает себя вправе требовать от него отчета в малейшем шаге. По ее мнению, он рожден для ее удовольствия и дышит для того только, чтоб подбирать рифмы. Требуют ли обстоятельства присутствия его в деревне, при возвращении его первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь нового? Явится ль он в армию, чтоб взглянуть на друзей и родственников, публика требует непременно от него поэмы на последнюю победу, и газетчики сердятся, почему долго заставляяет он себя ждать. Задумается ли он о расстроенных своих делах, о предположении семейственном, о болезни милого ему человека, тотчас уже пошлая улыбка

сопровождает пошлое восклицание: верно изволите сочинять. Влюбится ли он, красавица его нарочно покупает себе альбом и ждет уже элегии. Приедет ли он к соседу поговорить о деле или просто для развлечения от трудов, сосед кличет своего сынка и заставляет мальчишку читать стихи *такого-то*, и мальчишка самым жалостным голосом угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще называется торжеством. Каковы же должны быть невзгоды? Не знаю, но последние легче, кажется, переносить. По крайней мере один из моих приятелей, известный стихотворец, признавался, что сии приветствия, вопросы, альбомы и мальчишки до такой степени бесили его, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости и твердить себе, что эти добрые люди не имели, вероятно, намерения вывести его из терпения...

Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец. Когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), то он запирался в своей комнате и писал в постеле с утра до позднего вечера, одевался наскоро, чтоб пообедать в ресторации, выезжал часа на три, возвратившись, опять ложился в постелю и писал до петухов. Это продолжалось у него недели две, три, много месяцев, и случалось единожды в год, всегда осенью. Приятель мой уверял меня, что он только тогда и знал истинное счастье. Остальное время года он гулял, читая мало и не сочиняя ничего, и слыша поминутно неизбежный вопрос: скоро ли вы нас подарите новым произведением пера вашего? Долго дожидалась бы почтеннейшая публика подарков от моего приятеля, если б книгопродавцы не платили ему довольно дорого за его стихи. Имея поминутно нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения и имел удовольствие потом читать о них печатные суждения (см. выше), что, называл он в своем энергическом просторечии — подслушивать у кабака, что говорят об нас холопыя.

Приятель мой происходил от одного из древнейших дворянских наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием. Он столько же дорожил тремя строчками летописца, в коих упомянуто было о предке его, как модный камер-юнкер тремя звездами двоюродного своего дяди. Будучи беден, как и почти всё наше старинное дворянство, он, подымая нос, уверял, что ни-

когда не женится или возьмет за себя княжну Рюриковой крови, именно одну из княжен Елецких, коих отцы и братья, как известно, ныне пахут сами и, встречаясь друг со другом на своих бороздах, отряхают сохи и говорят: «Бог помочь, князь Антип Кузмич, а сколько твое княжское здоровье сегодня напахало?» — «Спасибо, князь Ерема Авдеевич...» — Кроме сей маленькой слабости, которую, впрочем, относим мы к желанию подражать лорду Байрону, продававшему также очень хорошо свои стихотворения, приятель мой был *un homme tout rond*, человек совершенно круглый, как говорят французы, *homo quadratus*, человек четверугольный, по выражению латинскому — по-нашему очень хороший человек.

Он не любил общества своей братьи литераторов, кроме весьма, весьма немногих. Он находил в них слишком много притязаний у одних на колкость ума, у других на пылкость воображения, у третьих на чувствительность, у четвертых на меланхолию, на разочарованность, на глубокомыслие, на филантропию, на мизантропию, иронию и проч. и проч. Иные казались ему скучными по своей глупости, другие несносными по своему тону, третьи гадкими по своей подлости, четвертые опасными по своему двойному ремеслу, — вообще слишком самолюбивыми и занятыми исключительно собою да своими сочинениями. Он предпочитал им общество женщин и светских людей, которые, видя его ежедневно, переставали с ним чиниться и избавляли его от разговоров об литературе и от известного вопроса: Не написали ли чего-нибудь новенького?

Мы распространились о нашем приятеле по двум причинам: во-первых, потому что он есть единственный литератор, с которым удалось нам коротко познакомиться, — во-вторых, что повесть, предлагаемая ныне читателю, слышана нами от него.

Сей отрывок составлял, вероятно, предисловие к повести, не написанной или потерянной. Мы не хотели его уничтожить...

РОМАН НА КАВКАЗСКИХ ВОДАХ

В одно из первых чисел апреля 181... года в доме Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха. Все двери были растворены настежь; зала и передняя загромождены сундуками и чемоданами; ящики всех комодов выдвинуты; слуги поминутно бегали по лестницам, служанки суетились и спорили; сама хозяйка, дама 45 лет, сидела в спальне, пересматривая счетные книги, принесенные ей толстым управителем, который стоял перед нею с руками за спиной и выдвинув правую ногу вперед. Катерина Петровна показывала вид, будто бы хозяйственные тайны были ей коротко знакомы, но ее вопросы и замечания обнаруживали ее барское неведение и возбуждали изредка едва заметную улыбку на величавом лице управителя, который однако ж с большою снисходительностью подробно входил во все требуемые объяснения. В это время слуга доложил, что Парасковья Ивановна Поводова приехала. Катерина Петровна обрадовалась случаю прервать свои совещания, велела просить и отпустила управителя.

— Помилуй, мать моя,— сказала вошедшая старая дама,— да ты собираешься в дорогу! куда тебя бог несет?

— На Кавказ, милая Парасковья Ивановна.

— На Кавказ! стало быть, Москва впервой отроду правду сказала, а я не верила. На Кавказ! да ведь это ужась как далеко. Охота тебе тащиться бог ведает куда, бог ведает зачем.

— Как быть? Доктора объявили, что моей Маше нужны железные воды, а для моего здоровья необходи-

мы горячие ванны. Вот уже полтора года, как я всё страдаю, авось Кавказ поможет.

— Дай-то бог. А скоро ли едешь?

— Дня через четыре, много, много промешкаю неделю; всё уж готово. Вчера привезли мне новую дорожную карету; что за карета! игрушка, заглядение — вся в ящиках, и чего тут нет: постеля, туалет, погребок, аптечка, кухня, сервиз; хочешь ли посмотреть?

— Изволь, мать моя.

И обе дамы вышли на крыльцо. Кучера выдвинули из сарая дорожную карету. Катерина Петровна велела открыть дверцы, вошла в карету, перерыла в ней все подушки, выдвинула все ящики, показала все ее тайны, все удобства, приподняла все ставни, все зеркала, выворотила все сумки, словом, для больной женщины оказалась очень деятельной и проворной. Полюбовавшись экипажем, обе дамы возвратились в гостиную, где разговорились опять о предстоящем пути, о возвращении, о планах на будущую зиму:

— В октябре месяце, — сказала Катерина Петровна, — надеюсь непременно воротиться. У меня будут вечера, два раза в неделю, и надеюсь, милая, что ты ко мне перенесешь свой бостон.

В эту минуту девушка лет 18-ти, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными глазами, тихо вошла в комнату, подошла к руке Катерины Петровны и присела Поводовой.

— Хорошо ли ты спала, Маша? — спросила Катерина Петровна.

— Хорошо, маменька, сейчас только встала. Вы удивляетесь моей лени, Парасковья Ивановна? Что делать — больной простительно.

— Спи, мать моя, спи себе на здоровье, — отвечала Поводова, — да смотри: воротись у меня с Кавказа румяная, здоровая, а бог даст и — замужняя.

— Как замужняя? — возразила Катерина Петровна смеясь, — да за кого выйти ей на Кавказе? разве за черкесского князя?..

— За черкеса! сохрани ее бог! да ведь они что турки да бухарцы — нехристы. Они ее забреют да запрут.

— Пошли нам бог только здоровья, — сказала со вздохом Катерина Петровна, — а женихи не уйдут. Слава бо-

гу, Маша еще молода, приданое есть. А добрый человек полюбит, так и без приданого возьмет.

— А с приданым все-таки лучше, мать моя, — сказала Парасковья Ивановна вставая. — Ну, простимся ж, Катерина Петровна, уж я тебя до сентября не увижу; далеко мне до тебя тащиться, с Басманной на Арбат — и тебя не прошу, знаю, что тебе теперь некогда; прощай и ты, красавица, не забудь же моего совета.

Дамы распростились, и Парасковья Ивановна уехала.

ЧАСТО ДУМАЛ Я...

Часто думал я об этом ужасном семейственном романе: воображал беременность молодой жены, ее ужасное положение и спокойное, доверчивое ожидание мужа.

Наконец час родов наступает. Муж присутствует при муках милой преступницы. Он слышит первые крики новорожденного; в упоении восторга бросается к своему младенцу... и остается неподвижен...

.

РУССКИЙ ПЕЛАМ

ГЛАВА I

Я начинаю помнить себя с самого нежного младенчества, и вот сцена, которая живо сохранилась в моем воображении.

Нянька приносит меня в большую комнату, слабо освещенную свечою под зонтиком. На постеле под зелеными занавесами лежит женщина вся в белом; отец мой берет меня на руки. Она целует меня и плачет. Отец мой рыдает громко, я пугаюсь и кричу. Няня меня выносит, говоря: «Мама хочет бай-бай». Помню также большую суматоху, множество гостей, люди бегают из комнаты в комнату. Солнце светит во все окошки, и мне очень весело. Монах с золотым крестом на груди благословляет меня; в двери выносят длинный красный гроб. Вот всё, что похороны матери оставили у меня в сердце. Она была женщиною необыкновенной по уму и сердцу, как узнал я после по рассказам людей, не знавших ей цены.

Тут воспоминания мои становятся сбивчивы. Я могу дать ясный отчет о себе не прежде как уж с осьмилетнего моего возраста. Но прежде должен я поговорить о моем семействе.

Отец мой был пожалован сержантом, когда еще бабушка была им брюхата. Он воспитывался дома до 18-ти лет. Учитель его, м-г Декор, был простой и добрый старичок, очень хорошо знавший французскую орфографию. Неизвестно, были ли у отца другие наставники; но отец мой, кроме французской орфографии, кажется, ничего основательно не знал. Он женился против воли своих родителей на девушке, которая была старше его несколь-

кими годами, в тот же год вышел в отставку и уехал в Москву. Старый Савельич, его камердинер, рассказывал мне, что первые годы супружества были счастливы. Мать моя успела примирить мужа с его семейством, в котором ее полюбили. Но легкомысленный и непостоянный характер отца моего не позволил ей насладиться спокойствием и счастьем. Он вошел в связь с женщиной, известной в свете своей красотой и любовными похождениями. Она для него развелась с своим мужем, который уступил ее отцу моему за 10 000 и потом обедал у нас довольно часто. Мать моя знала всё, и молчала. Душевные страдания расстроили ее здоровье. Она слегла и уже не встала.

Отец имел 5000 душ. Следственно, был из тех дворян, которых покойный гр. Шереметев называл мелкопоместными, удивляясь от чистого сердца, каким образом они могут жить! — Дело в том, что отец мой жил не хуже графа Шереметева, хотя был ровно в 20 раз беднее. Москвичи помнят еще его обеды, домашний театр и роговую музыку. Года два после смерти матери моей Анна Петровна Вирлацкая, виновница этой смерти, поселилась в его доме. Она была, как говорится, видная баба, впрочем уже не в первом цвете молодости. Мне подвели мальчика в красной курточке с манжетами и сказали, что он мне братец. Я смотрел на него во все глаза. Мишенька шаркнул направо, шаркнул налево и хотел поиграть моим ружьем; я вырвал игрушку из его рук, Мишенька заплакал, и отец поставил меня в угол, подарив братцу мое ружье.

Таковое пачало не предвещало мне ничего доброго. И в самом деле пребывание мое под отеческою кровлею не оставило ничего приятного в моем воображении. Отец конечно меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали. Первый мой гувернер оказался пьяницей; второй, человек неглупый и не без сведений, имел такой бешеный нрав, что однажды чуть не убил меня поленом за то, что пролил я чернила на его жилет; третий, проживший у нас целый год, был сумасшедший, и в доме тогда только догадались о том, когда пришел он жаловаться Анне Петровне на меня и на Мишеньку за то, что мы подговорили клопов со все-

го дому не давать ему покою и что сверх того чертенок повадился вить гнезда в его колпаке. Прочие французы не могли ужиться с Анной Петровной, которая не давала им вина за обедом или лошадей по воскресениям; сверх того им платили очень неисправно. Виноватым остался я: Анна Петровна решила, что ни один из моих гувернеров не мог сладить с таким несносным мальчишкой. Впрочем, и то правда, что не было из них ни одного, которого бы в две недели по его вступлению в должность не обратил я в домашнего шута; с особенным удовольствием вспоминаю о мосье Гроже, пятидесятилетнем почтенном женевце, которого уверил я, что Анна Петровна была в него влюблена. Надобно было видеть его целомудренный ужас с некоторой примесью лукавого кокетства, когда Анна Петровна косо поглядывала на него за столом, говоря вполголоса: «экий обжора!»

Я был резов, ленив и вспыльчив, но чувствителен и честолюбив, и ласкою от меня можно было добиться всего; к несчастью, всякий вмешивался в мое воспитание, и никто не умел за меня взяться. Над учителями я смеялся и проказил; с Анной Петровной бранился зуб за зуб; с Мишенькой имел беспрестанные ссоры и драки. С отцом доходило часто дело до бурных объяснений, которые с обеих сторон оканчивались слезами. Наконец Анна Петровна уговорила его отослать меня в один из немецких университетов... Мне тогда было 15 лет.

ГЛАВА II

Университетская жизнь моя оставила мне приятные воспоминания, которые, если их разобрать, относятся к происшествиям ничтожным, иногда и неприятным; но молодость великий чародей: дорого бы я дал, чтоб опять сидеть за кружкою пива в облаках табачного дыма, с дубиною в руках и в засаленной бархатной фуражке на голове. Дорого бы я дал за мою комнату, вечно полную народу, и бог знает какого народу; за наши латинские песни, студенческие поединки и ссоры с филистрами!

Вольное университетское учение принесло мне более пользы, чем домашние уроки, но вообще выучился я порядочно только фехтованию и деланию пунша. Из дому получал я деньги в разные неположенные сроки.

Это приучило меня к долгам и к беспечности. Прошло три года, и я получил от отца из Петербурга приказание оставить университет и ехать в Россию служить. Несколько слов о расстроенном состоянии, о лишних расходах, о перемене жизни показались мне странными, но я не обратил на них большого внимания. При отъезде моем дал я прощальный пир, на котором поклялся я быть вечно верным дружбе и человечеству и никогда не принимать должности цензора, и на другой день с головной болью и с изгагою отправился в дорогу.

.

В 179 * ГОДУ ВОЗВРАЩАЛСЯ Я...

В 179* году возвращался я в Лифляндию с веселою мыслию обнять мою старушку мать после четырехлетней разлуки. Чем более приближался я к нашей мызе, тем сильнее волновало меня нетерпение. Я погонял почтаря, хладнокровного моего единоплеменника, и душевно жалел о русских ямщиках и об удалой русской езде. К умножению досады, бричка моя сломалась. Я принужден был остановиться. К счастью, станция была недалеко.

Я пошел пешком в деревню, чтоб выслать людей к бедной моей бричке. Это было в конце лета. Солнце садилось. С одной стороны дороги простирались распаханые поля, с другой — луга, поросшие мелким кустарником. Издали слышалась печальная песня молодой эстонки. Вдруг в общей тишине раздался явственно пушечный выстрел... и замер без отзвука. Я удивился. В соседстве не находилось ни одной крепости; каким же образом пушечный выстрел мог быть услышан в этой мирной стороне? Я решил, что, вероятно, где-нибудь поблизости находился лагерь, и воображение перенесло меня на минуту к занятиям военной жизни, мною только что покинутой.

Подходя к деревне, увидел я в стороне господский домик. На балконе сидели две дамы. Проходя мимо их, я поклонился — и отправился на почтовый двор.

Едва успел я справиться с ленивыми кузнецами, как явился ко мне старичок, отставной русский солдат, и от имени барыни позвал меня откусать чаю. Я согласился охотно и отправился на господский двор.

Дорогой узнал я от солдата, что старую барыню зовут Каролиной Ивановной, что она вдова, что дочь ее

Екатерина Ивановна уже в невестах, что обе такие добрые, и проч. ...

В 179* году мне было ровно 23 года, и мысль о *молодой барыне* была достаточна, чтоб возбудить во мне живое любопытство.

Старушка приняла меня ласково и радушно. Узнав мою фамилию, Каролина Ивановна сочлась со мною свойством; и я узнал в ней вдову фон В., дальнего нам родственника, храброго генерала, убитого в 1772 году.

Между тем как я по-видимому со вниманием вслушивался в генеалогические исследования доброй Каролины Ивановны, я украдкой посматривал на ее милую дочь, которая разливала чай и мазала свежее янтарное масло на ломтики домашнего хлеба. 18-ть лет, круглое румяное лицо, темные, узенькие брови, свежий ротик и голубые глаза вполне оправдывали мои ожидания. Мы скоро познакомились, и на третьей чашке чаю уже обходился я с нею как с кузиною. Между тем бричку мою привезли; Иван пришел мне доложить, что она не прежде готова будет, как на другой день утром. Это известие меня вовсе не огорчило, и по приглашению Каролины Ивановны я остался почевать.

МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ...

Мы проводили вечер на даче у княгини Д.

Разговор коснулся как-то до *m-me de Staël*. Барон Дальберг на дурном французском языке очень дурно рассказал известный анекдот: вопрос ее Бонапарту, кого почитает он первую женщиною в свете, и забавный его ответ: «Ты, которая народила более детей» («*Celle qui a fait le plus d'enfants*»).

— Какая славная эпиграмма! — заметил один из гостей.

— И поделом ей! — сказала одна дама. — Как можно так неловко напрашиваться на комплименты?

— А мне так кажется, — сказал Сорохтин, дремавший в Гамбсовых креслах, — мне так кажется, что ни *m-me de Staël* не думала о мадригале, ни Наполеон об эпиграмме. Одна сделала вопрос из единого любопытства, очень понятного; а Наполеон буквально выразил настоящее свое мнение. Но вы не верите простодушию гениев.

Гости начали спорить, а Сорохтин задремал опять.

— Однако в самом деле, — сказала хозяйка, — кого почитаете вы первую женщиною в свете?

— Берегитесь: вы напрашиваетесь на комплименты...

— Нет, шутки в сторону...

Тут пошли толки: иные называли *m-me de Staël*, другие Орлеанскую деву, третьи Елисавету, английскую королеву, *m-me de Maintenon*, *m-me Roland* и проч. ...

Молодой человек, стоявший у камина (потому что в Петербурге камин никогда не лишнее), в первый раз вмешался в разговор.

— Для меня,— сказал он,— женщина самая удивительная — Клеопатра.

— Клеопатра? — сказали гости,— да, конечно... однако почему ж?

— Есть черта в ее жизни, которая так врезалась в мое воображение, что не могу взглянуть почти ни на одну женщину, чтоб тотчас не подумать о Клеопатре.

— Что ж это за черта? — спросила хозяйка,— расскажите.

— Не могу; мудрено рассказать.

— А что? разве неблагопристойно?

— Да, как почти всё, что живо рисует ужасные нравы древности.

— Ах! расскажите, расскажите.

— Ах, нет, не рассказывайте,— перервала Вольская, вдова по разводу, опустив чопорно огненные свои глаза.

— Полноте,— вскричала хозяйка с нетерпением.— *Qui est-ce donc que l'on trompe ici?* Вчера мы смотрели Antony, а вон там у меня на камине валяется *La Physiologie du mariage*. Неблагопристойно! Нашли чем нас пугать! Перестаньте нас морочить, Алексей Иванович! Вы не журналист. Расскажите просто, что знаете про Клеопатру, однако... будьте благопристойны, если можно... Все засмеялись.

— Ей-богу,— сказал молодой человек,— я робею: я стал стыдлив, как цензура. Ну, так и быть...

Надобно знать, что в числе латинских историков есть некто Аврелий Виктор, о котором, вероятно, вы никогда не слыхивали.

— Aurelius Victor? — прервал Вершнев, который учился некогда у езуитов,— Аврелий Виктор, писатель IV столетия. Сочинения его приписываются Корнелию Непоту и даже Светонию; он написал книгу *de Viris illustribus* — о знаменитых мужах города Рима, знаю...

— Точно так,— продолжал Алексей Иванович,— книжонка его довольно ничтожна, но в ней находится то сказание о Клеопатре, которое так меня поразило. И, что замечательно, в этом месте сухой и скучный Аврелий Виктор силою выражения равняется Тациту: *Haec tantae libidinis fuit ut saepe prostituerit; tantae pulchritudinis ut multi noctem illius morte emerint...*

— Прекрасно! — воскликнул Вершнев.— Это напоминает мне Саллюстия — помните? *Tantae...*

— Что же это, господа? — сказала хозяйка, — уж вы изволите разговаривать по-латыни! Как это для нас весело! Скажите, что значит ваша латинская фраза?

— Дело в том, что Клеопатра торговала своею красотою и что многие купили ее ночи ценою своей жизни...

— Какой ужас! — сказали дамы, — что же вы тут нашли удивительного?

— Как что? Кажется мне, Клеопатра была не пошлая кокетка и ценила себя не дешево. Я предлагал ** сделать из этого поэму, он было и начал, да бросил.

— И хорошо сделал.

— Что ж из этого хотел он извлечь? Какая тут главная идея — не помните ли?

— Он начинает описанием пиршества в садах царицы египетской.

Темная, знойная ночь объемлет африканское небо; Александрия заснула; ее стогны утихли, дома померкли. Дальний Фарос горит уединенно в ее широкой пристани. как лампада в изголовье спящей красавицы.

Светлы и шумны чертоги Птолемеевы: Клеопатра угощает своих друзей; стол обставлен костяными ложами; триста юношей служат гостям, триста дев разносят им амфоры, полные греческих вин; триста черных евнухов надзирают над ними безмолвно.

Порфирная колоннада, открытая с юга и севера, ожидает дуновения Эвра; но воздух недвижим — огненные языки светильников горят недвижно; дым курильниц возносится прямо недвижною струею; море, как зеркало, лежит недвижно у розовых ступеней полукруглого крыльца. Сторожевые сфинксы в нем отразили свои золоченые когти и гранитные хвосты... только звуки кифары и флейты потрясают огни, воздух и море.

Вдруг царица задумалась и грустно поникла дивною головою; светлый пир омрачился ее грустию, как солнце омрачается облаком.

О чем она грустит?

Зачем печаль ее гнетет?
Чего еще недостает
Египта древнего царице?
В своей блистательной столице,
Толпой рабов охранена,
Спокойно властвует она.
Покорны ей земные боги,
Полны чудес ее чертоги.
Горит ли африканский день,
Свежеет ли ночная тень,
Всечасно роскошь и искусства
Ей тешат дремлющие чувства,
Все земли, волны всех морей
Как дань несут наряды ей,
Она беспечно их меняет,
То в блеске яхонтов сияет,
То избирает тирских жен
Покров и пурпурный хитон,
То по водам седого Нила
Под тенью пышного ветрила
В своей триреме золотой
Плывет Кипридою молодой.
Всечасно пред ее глазами
Пирья сменяются пирами,
И кто постиг в душе своей
Все таинства ее ночей?..

Вотще! В ней сердце глухо страждет,
Оно утех безвестных жаждет —
Утомлена, пресыщена,
Больна бесчувствием она...

Клеопатра пробуждается от задумчивости.

И пир утих и будто дремлет,
Но вновь она чело подымлет,
Надменный взор ее горит,
Она с улыбкой говорит:
В моей любви для вас блаженство?
Внемлите ж вы моим словам;
Могу забыть я неравенство,
Возможно, счастье будет вам.

Я вызываю: кто приступит?
Свои я ночи продаю,
Скажите, кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?

.

— Этот предмет должно бы доставить маркизе Жорж Занд, такой же бесстыднице, как и ваша Клеопатра. Она ваш египетский анекдот переделала бы на нынешние нравы.

— Невозможно. Не было бы никакого правдоподобия. Этот анекдот совершенно древний; таковой торг нынче несбыточен, как сооружение пирамид.

— Отчего же несбыточен? Неужто между нынешними женщинами не найдется ни одной, которая захотела бы испытать на самом деле справедливость того, что твердят ей поминутно: что любовь ее была бы дороже им жизни.

— Положим, это и любопытно было бы узнать. Но каким образом можно сделать это ученое испытание? Клеопатра имела всевозможные способы заставить должников своих расплатиться. А мы? Конечно: ведь нельзя же такие условия написать на гербовой бумаге и засвидетельствовать в гражданской палате.

— Можно в таком случае положиться на *честное слово*.

— Как это?

— Женщина может взять с любовника его честное слово, что на другой день он застрелится.

— А он на другой день уедет в чужие края, а она останется в дурах.

— Да, если он согласится остаться навек бесчестным в глазах той, которую любит. Да и самое условие неужели так тяжело? Разве жизнь уж такое сокровище, что ее ценою жаль и счастья купить? Посудите сами: первый шалун, которого я презираю, скажет обо мне слово, которое не может мне повредить никаким образом, и я подставляю лоб под его пулю. Я не имею права отказать в этом удовольствии первому забияке, которому вздумается испытать мое хладнокровие. И я стану трусить, когда дело идет о моем блаженстве? Что жизнь, если она отравлена унынием, пустыми желаниями! И что в ней, когда наслаждения ее истощены?

— Неужели вы в состоянии заключить такое условие?..

В эту минуту Вольская, которая во всё время сидела молча, опустив глаза, быстро устремила их на Алексея Ивановича.

— Я про себя не говорю. Но человек, истинно влюбленный, конечно не усумнится ни на одну минуту...

— Как! Даже для такой женщины, которая бы вас не любила? (А та, которая согласилась бы на ваше предложение, уж верно б вас не любила.) Одна мысль о таком зверстве должна уничтожить самую безумную страсть...

— Нет, я в ее согласии видел бы одну только пылкость воображения. А что касается до взаимной любви... то я ее не требую: если я люблю, какое тебе дело?..

— Перестаньте — бог знает что вы говорите. — Так вот чего вы не хотели рассказать —

Молодая графиня К., кругленькая дурнушка, постаралась придать важное выражение своему носу, похожему на луковицу, воткнутую в репу, и сказала:

— Есть и нынче женщины, которые ценят себя дороже...

Муж ее, польский граф, женившийся по расчету (говорят, ошибочному), потупил глаза и выпил свою чашку чаю.

— Что вы под этим разумеете, графиня? — спросил молодой человек, с трудом удерживая улыбку.

— Я разумею, — отвечала графиня К., — что женщина, которая уважает себя, которая уважает... — Тут она запуталась; Вершнев подоспел ей на помощь.

— Вы думаете, что женщина, которая себя уважает, не хочет смерти грешнику — не так ли?

Разговор переменился.

Алексей Иванович сел подле Вольской, поклонился, будто рассматривал ее работу, и сказал ей вполголоса:

— Что вы думаете об условии Клеопатры?

Вольская молчала. Алексей Иванович повторил свой вопрос.

— Что вам сказать? И нынче иная женщина дорого себя ценит. Но мужчины 19-го столетия слишком хлад-

покровны, благоразумны, чтоб заключить такие условия.

— Вы думаете,— сказал Алексей Иваныч голосом, вдруг изменившимся,— вы думаете, что в наше время, в Петербурге, здесь, найдется женщина, которая будет иметь довольно гордости, довольно силы душевной, чтоб предписать любовнику условия Клеопатры?..

— Думаю, даже уверена.

— Вы не обманываете меня? Подумайте, это было бы слишком жестоко, более жестоко, нежели самое условие...

Вольская взглянула на него огненными пронзительными глазами и произнесла твердым голосом: *Нет*.

Алексей Иваныч встал и тотчас исчез.

ПОВЕСТЬ ИЗ РИМСКОЙ ЖИЗНИ

Цезарь путешествовал, мы с Титом Петронием следовали за ним издали. По захождении солнца рабы ставили шатер, расставляли постели, мы ложились пировать и весело беседовали; на заре снова пускались в дорогу и сладко засыпали каждый в лектике своей, утомленные жаром и ночными наслаждениями.

Мы достигли Кум и уже думали пускаться далее, как явился к нам посланный от Нерона. Он принес Петронию повеление цезаря возвратиться в Рим и там ожидать решения своей участи вследствие ненавистного обвинения.

Мы были поражены ужасом. Один Петроний равнодушно выслушал свой приговор, отпустил гонца с подарком и объявил нам свое намерение остановиться в Кумах. Он послал своего любимого раба выбрать и нанять ему дом и стал ожидать его возвращения в кипарисной роще, посвященной эвменидам.

Мы окружили его с беспокойством. Флавий Аврелий спросил, долго ли думал он оставаться в Кумах, и не страшится ли раздражить Нерона ослушанием?

— Я не только не думаю ослушаться его, — отвечал Петроний с улыбкою, — но даже намерен предупредить его желания. Но вам, друзья мои, советую возвратиться. Путник в ясный день отдыхает под тению дуба, но во время грозы от него благоразумно удаляется, страшась ударов молнии.

Мы все изъявили желание с ним остаться, и Петроний ласково нас благодарил. Слуга возвратился и повел нас в дом, уже им выбранный. Он находился в предместьи города. Им управлял старый отпущенник в отсутствии хозяина, уже давно покинувшего Италию. Несколько

рабов под его надзором заботились о чистоте комнат и садов. В широких сенях нашли мы кумиры девяти муз, у дверей стояли два кентавра.

Петроний остановился у мраморного порога и прочел начертанное на нем приветствие: *Здравствуй!* Печальная улыбка изобразилась на лице его.— Старый управитель повел его в вивлиофику, где осмотрели мы несколько свитков и вошли потом в спальню хозяина. Она убрана была просто. В ней находились только две семейные статуи. Одна изображала матрону, сидящую в креслах, другая девочку, играющую мячом. На столике подле постели стояла маленькая лампада. Здесь Петроний остался на отдых и нас отпустил, пригласив вечером к нему собраться.

*

Я не мог уснуть; печаль наполняла мою душу. Я видел в Петронии не только щедрого благодетеля, но и друга, искренно ко мне привязанного. Я уважал его обширный ум; я любил его прекрасную душу. В разговорах с ним почерпал я знание света и людей, известных мне более по умозрениям божественного Платона, нежели по собственному опыту. Его суждения обыкновенно были быстры и верны. Равнодушие ко всему избавляло его от пристрастия, а искренность в отношении к самому себе делала его проникательным. Жизнь не могла представить ему ничего нового; он изведal все наслаждения; чувства его дремали, притупленные привычкою, но ум его хранил удивительную свежесть. Он любил игру мыслей, как и гармонию слов. Охотно слушал философические рассуждения и сам писал стихи не хуже Катулла.

Я сошел в сад и долго ходил по излучистым его тропинкам, осененным старыми деревьями. Я сел на скамейку, под тень широкого тополя, у которого стояла статуя молодого сатира, прорезывающего тростник. Желая развлечь как-нибудь печальные мысли, я взял записные дощечки и перевел одну из од Анакреона, которую и сберег в память этого печального дня:

Поседали, поредели
Кудри, честь главы моей,
Зубы в деснах ослабели
И потух огонь очей.

Сладкой жизни мне не много
Провожать осталось дней,
Парка счет ведет им строго,
Тартар тени ждет моей.—
Страшен холод подземна свода,
Вход в него для всех открыт,
Из него же нет исхода...
Всяк сойдет — и там забыт.

*

Солнце клонилось к западу; я пошел к Петронию. Я нашел его в библиотеке. Он рассказывал; с ним был его домашний лекарь Септимий. Петроний, увидя меня, остановился и произнес шутливо:

Узнают коней ретивых
По их выжженным таврам,
Узнают парфян кичливых
По высоким клубукам.
Я любовников счастливых
Узнаю по их глазам.

«Ты угадал»,— отвечал я Петронию и подал ему свои дощечки. Он прочитал мои стихи. Облако задумчивости прошло по его лицу и тотчас рассеялось.

— Когда читаю подобные стихотворения,— сказал он,— мне всегда любопытно знать, как умерли те, которые так сильно были поражены мыслию о смерти. Анакреон уверяет, что Тартар его ужасает, но не верю ему, так же как не верю трусости Горация. Вы знаете оду его?

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?
С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал
И кудри, плющем увитые,
Сирийским мирром умащал?

Ты помнишь час ужасный битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно бросаю щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! как бежал!

Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминуей.

Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мелпата своею трусостию, чтоб не напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута. Воля ваша, нахожу более искренности в его восклицании:

Красно и сладостно паденье за отчизну.
.....

МАРЬЯ ШОНИНГ

Анна Гарлин к Марье Шонинг.

25 апр.
W.

Милая Марья.

Что с тобою делается? Уж более четырех месяцев не получала я от тебя ни строчки. Здорова ли ты? Кабы не всегдашние хлопоты, я бы уж побывала у тебя в гостях; но ты знаешь: 12 миль не шутка. Без меня хозяйство станет; Фриц в нем ничего не смыслит — настоящий ребенок. Уж не вышла ли ты замуж? Нет, верно ты б обо мне вспомнила и порадовала свою подругу вестью о своем счастье. В последнем письме ты писала, что твой бедный отец всё еще хворает; надеюсь, что весна ему помогла и что теперь ему легче. О себе скажу, что я, слава богу, здорова и счастлива. Работа идет помаленьку, но я всё еще не умею ни запрашивать, ни торговаться. А надобно будет выучиться. Фриц также довольно здоров, но с некоторых пор деревянная нога начинает его беспокоить. Он мало ходит, а в ненастное время крихтит да охает. Впрочем, он по-прежнему весел, по-прежнему любит выпить стакан вина и всё еще не до-сказал мне историю о своих походах. Дети растут и хорошеют. Франк становится молодец. Вообрази, милая Марья, что уж он бегает за девочками, — каков? — а ему нет еще и трех лет. А какой забияка! Фриц не может им налюбоваться и ужасно его балует; вместо того, чтоб ребенка унимать, он еще его подстрекает и радуется всем его проказам. Мина гораздо степеннее; правда — она годом старше. Я начала уж учить ее азбуке. Она

очень понятлива и, кажется, будет хороша собою. Но что в красоте? была бы добра и разумна,— тогда верно будет и счастлива.

P. S. Посылаю тебе в гостинец косынку; obnovи ее, милая Марья, в будущее воскресенье, когда пойдешь в церковь. Это подарок Фрица; но красный цвет идет более к твоим черным волосам, нежели к моим светло-русым. Мужчины этого не понимают. Им всё равно что голубое, что красное. Прости, милая Марья, я с тобою заболталась. Отвечай же мне поскорее. Батюшке засвидетельствуй мое искреннее почтение. Напиши мне, каково его здоровье. Век не забуду, что я провела три года под его кровлею и что он обходился со мною, бедной сироткою, не как с наемной служанкою, а как с дочерью. Мать нашего пастора советует ему употреблять вместо чаю красный *бедренец*, цветок очень обыкновенный,— я отыскала и латинское его название,— всякий аптекарь тебе укажет его.

Марья Шонинг к Анне Гарлин.

28 апреля

Я получила письмо твое в прошлую пятницу (прочла только сегодня). Бедный отец мой скончался в тот самый день, в шесть часов поутру; вчера были похороны.

Я никак не воображала, чтоб смерть была так близка. Во всё последнее время ему было гораздо легче, и г. Кельц имел надежду на совершенное его выздоровление. В понедельник он даже гулял по нашему садику и дошел до колодезя не задохнувшись. Возвратясь в комнату, он почувствовал легкий озноб, я уложила его и побежала к г. Кельцу. Его не было дома. Возвратясь к отцу, я нашла его в усыплении. Я подумала, что сон успокоит его совершенно. Г-н Кельц пришел вечером. Он осмотрел больного и был недоволен его состоянием. Он прописал ему новое лекарство. Ночью отец проснулся и просил есть, я дала ему супу; он хлебнул одну ложку и более не захотел. Он опять впал в усыпление. На другой день с ним сделались спазмы. Г-н Кельц от него не отходил. К вечеру боль унялась, но им овладело такое беспокойство, что он пяти минут сряду не мог лежать в од-

ном положении. Я должна была поворачивать его с боку на бок... Перед утром он утих и часа два лежал в усыплении. Г-н Кельц вышел, сказав мне, что воротится часа через два. Вдруг отец мой приподнялся и позвал меня. Я к нему подошла и спросила, что ему надобно. Он сказал мне: «Марья, что так темно? открой ставни». Я испугалась и сказала ему: «Батюшка! разве вы не видите... ставни открыты». Он стал искать около себя, схватил меня за руку и сказал: «Марья! Марья, мне очень дурно — я умираю... дай, благословлю тебя — поскорее». Я бросилась на колени и положила его руку себе на голову. Он сказал: «Господь, награди ее; господь, тебе ее поручаю». Он замолк, рука вдруг отяжелела. Я подумала, что он опять заснул, и несколько минут не смела шевельнуться. Вдруг вошел г. Кельц, снял с моей головы руку его и сказал мне: «Теперь оставьте его, подите в свою комнату». Я взглянула: отец лежал бледный и недвижимый. Всё было кончено.

Добрый г. Кельц целые два дня не выходил из нашего дома и всё распорядил, потому что я была не в силах. В последние дни я одна ходила за больным, некому было меня сменить. Часто я вспоминала о тебе и горько сожалела, что тебя с нами не было...

Вчера я встала с постели и пошла было за гробом; но мне стало вдруг дурно. Я стала на колена, чтоб издала с ним проститься. Фрау Ротберх сказала: «Какая комедиантка!» Вообрази, милая Анна, что слова эти возвратили мне силу. Я пошла за гробом удивительно легко. В церкви, мне казалось, было чрезвычайно светло, и всё кругом меня шаталось. Я не плакала. Мне было душно, и мне всё хотелось смеяться.

Его снесли на кладбище, что за церковью св. Якова, и при мне опустили в могилу. Мне вдруг захотелось тогда ее разрыть, потому что я с ним не совсем простилась. Но многие еще гуляли по кладбищу, и я боялась, чтоб фрау Ротберх не сказала опять: «Какая комедиантка».

Какая жестокость не позволять дочери проститься с мертвым отцом, как ей вздумается...

Возвратясь домой, я нашла чужих людей, которые сказали мне, что надобно запечатать всё имение и бумаги покойного отца. Они оставили мне мою комнатку, только вынесли из нее всё, кроме кровати и одного сту-

ла. Завтра воскресенье. Я не обновлю твоей косынки, но очень тебя за нее благодарю. Кланяюсь твоему мужу, Франку и Мини целую. Прощай.

Пишу стоя у окошка, а чернильницу заняла у соседей.

Марья Шонинг к Анне Гарлин.

Милая Анна.

Вчера пришел ко мне чиновник и объявил, что всё имение покойного отца моего должно продаваться с публичного торгу в пользу городской казны, за то, что он был обложен не по состоянию и что по описи имения оказался он гораздо богаче, нежели думали. Я тут ничего не понимаю. В последнее время мы очень много тратили на лекарство. У меня всего на расход осталось 23 талера,— я показала их чиновникам, которые однако ж сказали, чтоб я деньги эти взяла себе, потому что закон их не требует.

Дом наш будет продаваться на будущей неделе; и я не знаю, куда мне деться. Я ходила к г. бургмейстеру. Он принял меня хорошо, но на мои просьбы отвечал, что он ничего не может для меня сделать. Не знаю, куда мне определиться. Если нужна тебе служанка, то напиши мне; ты знаешь, что я могу тебе помогать в хозяйстве и в рукоделии, а сверх того буду смотреть за детьми и за Фрицем, если он занеможет. За больными ходить я научилась. Пожалуйста, напиши, нужна ли я тебе. И не совестись. Я уверена, что отношения наши от того нисколько не переменятся и что ты будешь для меня всё та же добрая и снисходительная подруга.

Домик старого Шонинга полон был народу. Толпа теснилась около стола, за которым председательствовал оценщик. Он кричал: «Байковый камзол с медными пуговицами...** талеров. Раз,— два...— Никто более — Байковый камзол ** талеров — три». Камзол перешел в руки нового своего владельца.

Подкупщики осматривали с хулой и любопытством вещи, выставленные на торг. Фрау Ротберх рассматривала черное белье, не вымытое после смерти Шонинга; она те-

ребила его, отряхивала, повторяя: дрянь, ветошь, лохмотья,— и надбавляла по грошам. Трактирщик Гирц купил две серебряные ложки, полдюжину салфеток и две фарфоровые чашки. Кровать, на которой умер Шонинг, куплена была Каролиной Шмидт, девушкой сильно нарумяненной, виду скромного и смиренного.

Марья, бледная как тень, стояла тут же, безмолвно смотря на расхищение бедного своего имущества. Она держала в руке ** талеров, готовясь купить что-нибудь, и не имела духа перебивать добычу у покупателей. Народ выходил, унося приобретенное. Оставались непроданными два портретика в рамах, замаранных мухами и некогда вызолоченных. На одном изображен был Шонинг молодым человеком в красном кафтане. На другом Христина, жена его, с собачкою на руках. Оба портрета были нарисованы резко и ярко. Гирц хотел купить и их, чтобы повесить в угольной комнате своего трактира, потому что стены были слишком голы. Портреты оценены были в ** талеров. Гирц вынул кошелек. В это время Марья превозмогла свою робость и дрожащим голосом надбавила цену. Гирц бросил на нее презрительный взгляд и начал торговаться. Мало-помалу цена возросла до **. Марья дала наконец **. Гирц отступился, и портреты остались за нею. Она отдала деньги, остальные спрятала в карман, взяла портреты и вышла из дому, не дождавшись конца аукциону.

Когда Марья вышла на улицу с портретом в каждой руке, она остановилась в недоумении: куда ей было идти?..

Молодой человек в золотых очках подошел к ней и очень вежливо вызвался отнести портреты, куда ей будет угодно...

— Я очень вам благодарна... я, право, не знаю.— И Марья думала, куда бы ей отнести портреты, покамест она сама без места.

Молодой человек дождался несколько секунд и пошел своею дорогою, а Марья решила отнести портреты к лекарю Кельцу.



**П Л А Н Ы
НЕНАПИСАННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ**



КАРТЫ; ПРОДАН...¹

. карты; продан; женат — дядька.
. солдатство — делается офицером...

ВЛЮБЛЕННЫЙ БЕС

Москва в 1811 году.

Старуха, две дочери, одна невинная, другая романтическая — два приятеля к ним ходят. Один развратный; другой Влюбленный бес. Влюбленный бес любит меньшую и хочет погубить молодого человека. Он достает ему деньги, водит его повсюду. *Настасья* — вдова чертовка. Ночь. Извозчик. Молодой человек. Ссорится с ним — старшая дочь сходит с ума от любви к Влюбленному бесу.

Н. ИЗБИРАЕТ СЕБЕ В НАПЕРСНИКИ...

Н. избирает себе в наперсники Невский проспект — он доверяет ему все свои домашние беспокойства, все семейственные огорчения. — Об нем жалеют — он доволен.

ПЛАНЫ ПОВЕСТИ О СТРЕЛЬЦЕ

1

1) Стрелец, сын старого раскольника, видит Ржевскую в окошко, переодетую горничной девушкой, сватается через мамушку-раскольницу, получает отказ.

¹ Листок слева сверху оборван; текст плана сохранился не полностью.

Полковник стрелецкий имеет большое влияние на своих; Софья хочет его к себе переманить. Он рассказывает ей, каким образом узнал он о заговоре.

Софья. О чем же ты был печален?— Об отказе.— Я сваха.— Но будь же и т. д.

2

Софья во дворце.

Нищие, скоморох.

Скоморох и старый раскольник.

Молодой стрелец. Заговор.

3

Стрелец влюбляется в Ржевскую, сватается, получает отказ. Он становится уныл. Товарищ открывает ему заговор... Он объявляет обо всем правительнице, Софья принимает его как заговорщика, объяснение. Софья сваха, комедия у боярина. Бунт стрелецкий, боярин спасен им, обещает выдать за него дочь.

Ржевская замужем.

Мать торопится и выдает ее за думного дворянина.

4

Стрелец, влюбленный в боярскую дочь — отказ — приходит к другу заговорщику — вступает в заговор.

5

Сын казенного стрельца воспитан вдовою вместе с ее сыном и дочерью; он идет в службу вместо ее сына. При Пруте ему Петр поручает свое письмо.

Приказчик вдовы доносит на своего молодого барина, который лишен имения своего и отдан в солдаты. Стрелецкий сын посещает его семейство и у Петра выпрашивает прощение молодому барину.

КРИСПИН ПРИЕЗЖАЕТ В ГУБЕРНИЮ...

Криспин приезжает в губернию на ярмонку — его принимают за Губернатор честный дурак. — Губернаторша с ним кокетничает — Криспин сватается за дочь.

LES DEUX DANSEUSES

Les deux danseuses. Un ballet de Didlot en 1819. Zavadovsky. Un amant au paradis. — Scène de coulisse — duel — Istomine est à la mode. Elle est entretenue, elle se marie. — Sa soeur est dans la détresse — elle épouse le souffleur. Istomine dans le monde. On ne l'y reçoit pas. Elle reçoit chez elle — dégoûts — elle va voir sa compagne.



ПУТЕШЕСТВИЯ



ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА к Д.

Из Азии переехали мы в Европу * на корабле. Я тотчас отправился на так называемую *Митридагову гробницу* (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи — и только. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали; передо мною, в тумане, тянулись полуденные горы... «Вот Чатырдаг», — сказал мне капитан. Я не различил его да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских пздали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ими; справа огромный Аю-даг... и кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск и воздух полуденный...

В Юрзуфе жил я *сиднем*, купался в море и обедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечною неаполитанского *Iazzagone*. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря — и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот всё, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти.

Я объехал полуденный берег, и путешествие М. оживило во мне много воспоминаний; но страшный переход его

* Из Тамани в Керчь.

по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По Горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным, восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была берёза, северная берёза! сердце мое сжалось: я начал уже тосковать о милом полудне, хотя всё еще находился в Тавриде, всё еще видел и тополи и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;

Здесь успокоена была
Вражда свирепой эмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось.

.

Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам пным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевет, и на полуевропейские переделки некоторых комнат.

NN почти насильно повел меня по ветхой лестнице в
развалины гарема и на ханское кладбище,

но не тем
В то время сердце полно было:

лихорадка меня мучила.

Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М., я об нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался.

Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано всё, что подвластно ему?

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Недавно попалась мне в руки книга, напечатанная в Париже в прошлом 1834 году под названием: *Voyages en Orient entrepris par ordre du Gouvernement Français*. Автор, по-своему описывая поход 1829 года, оканчивает свои рассуждения следующими словами:

Un poète distingué par son imagination a trouvé dans tant de hauts faits dont il a été témoin on le sujet d'un poème, mais celui d'une satire.

Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А. С. Хомякове и об А. Н. Муравьеве. Оба находились в армии графа Дибича. Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений, второй обдумывал свое путешествие к святым местам, производшее столь сильное впечатление. Но я не читал никакой сатиры на Арзрумский поход.

Никак бы я не мог подумать, что дело здесь идет обо мне, если бы в той самой книге не нашел я своего имени между именами генералов отдельного Кавказского корпуса. Parmi les chefs qui la commandaient (l'armée du Prince Paskewitch) on distinguait le Général Mouravief... le Prince Géorgien Tsitsevaze... le Prince Arménien Beboutof... le Prince Potemkine, le Général Raiewsky, et enfin — M-r Pouchkine... qui avait quitté la capitale pour chanter les exploits de ses compatriotes.

Признаюсь: эти строки французского путешественника, несмотря на лестные эпитеты, были мне гораздо до-

сადнее, нежели брань русских журналов. *Искать вдохновения* всегда казалось мне смешной и нелепой причудою: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтоб воспевать будущие подвиги, было бы для меня, с одной стороны, слишком самолюбиво, а с другой — слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело. Может быть, смелый переход через Саган-лу, движение, коим граф Паскевич отрезал сераскира от Осман-паши, поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый поход к Арзруму, всё это, увенчанное полным успехом, может быть, и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. купеческий консул Фонтанье, автор путешествия на Восток); но я устыдился бы писать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание. Человек, не имеющий нужды в покровительстве сильных, дорожит их радушием и гостеприимством, ибо иного от них не может и требовать. Обвинение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения, как ничтожная критика или литературная брань. Вот почему решился я напечатать это предисловие и выдать свои путевые записки, как *всё*, что мною было написано о походе 1829 года.

А. Пушкин.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Степи. Калмыцкая кибитка. Кавказские воды. Военная Грузинская дорога. Владикавказ. Осетинские похороны. Терек. Дарияльское ущелье. Переезд чрез снеговые горы. Первый взгляд на Грузию. Водопроводы. Хозрев-Мирза. Душетский городничий.

...Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в восемь часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели пашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно; говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским. «Пускай нападет он,— говорил Ермолов,— на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например на пашу, начальствовавшего в Шумле,— и Паскевич пропал».

Я передал Ермолову слова гр. Толстого, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтоб отличиться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. «Можно было бы сберечь людей и издержки», — сказал он. Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки. Он недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу. О записках кн. Курбского говорил он со мною. Немцам досталось. «Лет через 50, — сказал он, — подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами». Я пробыл у него часа два. Ему было досадно, что не помнил моего полного имени. Он извинялся комплиментами. Разговор несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения — скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова.

Мне предстоял путь через Курск и Харьков; но я своротил на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире (что не безделица в наших путешествиях) и не любопытствуя посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторации.

До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине. В Новочеркасске нашел я графа Пушкина, ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе.

Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественника; по тучным пастбищам

Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны.

Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся их уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского.

На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Всё семейство собиралось завтракать; котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» — «***». — «Сколько тебе лет?» — «Десять и восемь». — «Что ты шьешь?» — «Портка». — «Кому?» — «Себя». — Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцен.

В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были всё те же, всё на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи.

Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену. В мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большего частью в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость...

Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сжививал со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее

рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вас-салами, и наконец исчез во мраке...

На другой день мы отправились далее и прибыли в Екатериноград, бывший некогда наместническим городом.

С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и приезжие к ней присоединяются: это называется *оказией*. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на третье утро в девять часов мы были готовы отправиться в путь. На сборном месте соединился весь караван, состоявший из пятисот человек или около. Пробили в барабан. Мы тронулись. Впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжающих из одной крепости в другую; за ними заскрипел обоз двухколесных ароб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали нагайские проводники в бурках и с арканами. Всё это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль курился, и солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только пятнадцать верст), не-сносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец непрерывный скрип нагайских ароб выводили меня из терпения. Татары тщеславятся этим скрипом, говоря, что они разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На сей раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почтенном обществе. Дорога довольно однообразная: равнина, по сторонам холмы. На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющиеся выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы в старину не разбегаясь, с заржавыми пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока.

Первое замечательное место есть крепость Минарет. Приближаясь к ней, наш караван ехал по прелестной долине, между курганами, обросшими липой и чинаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы, порожденные зараженным пеплом. Справа сиял

снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость. Кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося Татартубом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между горами камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичках славолубивыми путешественниками.

Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может, русского, некогда взятого в плен и состаревшегося в неволе. Мы встретили еще курганы, еще развалины. Два, три надгробных памятника стояло на краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская надпись, изображение шашки, танга, иссеченные на камне, оставлены хищным внукам в память хищного предка.

Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту и бегут, завидя пушку. Зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщенья крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправды-

вался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таким народом? Должно однако ж надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов *Корана*, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты.

Мы достигли Владикавказа, прежнего Капкая, преддверия гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смиренно. Мертвеца вынесли на бурке...

...like a warrior taking his rest
With his martial cloak around him;

положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов.

Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. У ворот крепости встретил я жену и дочь заключенного осетинца. Они несли ему обед. Обе казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потушили голову и закрылись своими изодранными *чадрами*. В крепости видел я черкесских аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из крепости. Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях,

полунагие и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во Владикавказе.

Пушка оставила нас. Мы отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас принял в свое святилище. Мы услышали глухой шум и увидели Терек, разливающийся по разным направлениям. Мы поехали по его левому берегу. Шумные волны его приводят в движение колеса низеньких осетинских мельниц, похожих на собачьи копуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестью природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин. Граф Пушкин и Шернваль, смотря на Терек, вспоминали Иматру и отдавали преимущество *реке на Севере гремющей*. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища.

Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича издали: «Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!» Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы. На скале видны развалины какого-то замка: они облеплены саклями мирных осетинцев, как будто гнездами ласточек.

В Ларсе остановились мы ночевать. Тут нашли мы путешественника француза, который напугал нас предстоящею дорогой. Он советовал нам бросить экипажи в Куби и ехать верхом. С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из вонючего *бурдюка*, вспоминая пирования Илиады:

И в козих мехах вино, отраду нашу!

Здесь нашел я измаранный список «Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с большим удоволь-

ствием. Всё это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно.

На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разрабатывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего: черного хлеба не допросишься!»

В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба как лента синее пад вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены камни. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь, как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелие замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен, и проч. (смотрите путешествие графа И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы).

Из Дариала отправились мы к Казбеку. Мы увидели *Троицкие ворота* (арка, образованная в скале взрывом пороха) — под ними шла некогда дорога, а ныне протекает Терек, часто меняющий свое русло.

Недалеко от селения Казбек переехали мы через *Бешеную балку*, овраг, во время сильных дождей превращающийся в яростный поток. Он в это время был совершенно сух и громок одним своим именем.

Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и нечище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими друзьями.

Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груды, по выражению поэта, *подпирающую небо-склон*.

Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покамест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта и, по моему желанию, представил меня Фазил-Хану. Я, с помощью переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека! Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и проч. Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его ба-раньей *папахе* * и по крашеным ногтям.

Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую предстоял нам переход. Мы тут остановились почевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадях или постать за осетинскими во-

* Так называются персидские шапки.

лами? На всякий случай я написал от имени всего нашего каравана официальную просьбу к г. Чиляеву, начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать в ожидании подвод.

На другой день около 12-ти часов слышали мы шум, крики и увидели зрелище необыкновенное: 18 пар топчих, малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О***. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно во Владикавказ и ехать верхом до Тифлиса. Граф Пушкин не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет. Мы расстались, и я поехал с полковником Огаревым, осматривающим здешние дороги.

Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелие на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде, как через два часа. То-то был он ужасен!

Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли в рыхлом снегу, под которым шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колесах.

В это время услышал я глухой грохот. «Это обвал», — сказал мне г. Огарев. Я оглянулся и увидел в стороне груды снега, которая осыпалась и медленно съезжала с крутизны. Малые обвалы здесь не редки. В прошлом году русский извозчик ехал по Крестовой горе; обвал оборвался: страшная глыба свалилась на его повозку, поглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась через дорогу и покатила в пропасть с своею добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым.

Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул: он так был слаб, что велел завязать

себе глаза; его вели под руки, и когда сняли с него повязку, тогда он стал на колени, благодарил бога и проч., что очень изумило проводников.

Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух юга вдруг начинает поведать на путешественника. С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента,— и всё это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога.

Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я почевал на берегу Арагвы, в доме г. Чиляева. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее.

Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов я видел около себя зеленые горы и плодоносные деревья. Водопроводы доказывали присутствие образованности. Один из них порадовал меня совершенством оптического обмана: вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх.

В Пайсанауре остановился я для перемены лошадей. Тут я встретил русского офицера, провожающего персидского принца. Вскоре услышал я звук колокольчиков, и целый ряд катаров (мулов), привязанных один к другому и навьюченных по-азиатски, потянулся по дороге. Я пошел пешком, не дождавшись лошадей; и в полверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Через несколько часов после нашей встречи на принца напали горцы. Услышав свист пуль, Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, бывшие при нем, удивились его смелости. Дело в том, что молодой азиатец, не привыкший к коляске, видел в ней скорее западню, нежели убежище.

Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета оставалось не более как десять верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти десять верст стоили добрых двадцати.

Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь всё выше и выше. С дороги сбиться было невозможно; но местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличилась. Я слышал вой и лай собак и радовался, воображая, что город недалеко. Но ошибался: лаяли собаки грузинских пастухов, а были шакалы, звери в той стороне обыкновенные. Я проклинал свое нетерпение, но делать было нечего. Наконец увидел я огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к городничему и потребовал за то с меня абаз.

Появление мое у городничего, старого офицера из грузин, произвело большое действие. Я требовал, во-первых, комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых, стакана вина, в-третьих, абаз для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять, и поглядывал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения *de la liberté grande*. К счастью, нашел я в кармане дорожную, доказывавшую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо-Ринальдини. Благословенная хартия возымела тотчас свое действие: комната была мне отведена, стакан вина принесен и абаз выдан моему проводнику с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном: не тут-то было! блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. Поутру явился ко мне мой человек и объявил, что граф Пушкин благополучно переправился на волах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться! Граф Пушкин и Шерпваль посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил Душет с приятной мыслию, что ночую в Тифлисе.

Дорога была так же приятна и живописна, хотя редко видели мы следы народонаселения. В нескольких верстах от Гарцискалы мы переправились через Куру по древнему мосту, памятнику римских походов, и крупной рысью, а иногда и вскачь, поехали к Тифлису, в котором не приметным образом и очутились часу в одиннадцатом вечера.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тифлис. Народные бани. Безносый Гассан. Правы грузинские. Песни. Кахетинское вино. Причина жаров. Дороговизна. Описание города. Отъезд из Тифлиса. Грузинская ночь. Вид Армении. Двойной переход. Армянская деревня. Гергеры. Грибоедов. Безобдал. Минеральный ключ. Буря в горах. Ночлег в Гумрах. Ара-
рат. Граница. Турецкое гостеприимство. Карс. Армянская семья.
Выезд из Карса. Лагерь графа Паскевича.

Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные тифлиссские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряженные волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ними молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах. При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату и что же увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе не одетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем,— сказал мне хозяин,— сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда». — «Конечно не беда,— отвечал я ему,— напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею *чадрою*; ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали воображение Т. Мура:

a lovely Georgian maid,
With all the bloom, the freshen'd glow

Of her own country maiden's looks,
When warm they rise from Teflis' brooks.

Lalla Rookh.

Зато не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы.

Персиянин ввел меня в бани: горячий, железо-серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань. Опишу их подробно.

Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу; это не мешало ему быть мастером своего дела. Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. (Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку, *e sempre bene.*) После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умыть намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух! № : шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение.

После пузыря Гассан отпустил меня в ванну; тем и кончилась церемония.

В Тифлисе надеялся я найти Раевского, но узнав, что полк его уже выступил в поход, я решился просить у графа Паскевича позволения приехать в армию.

В Тифлисе пробыл я около двух недель и познакомился с тамошним обществом. Санковский, издатель «Тифлисских ведомостей», рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цицианове, об А. П. Ермолове и проч. Санковский любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность.

Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не помешало славному Аге-Мохамеду взять и разорить Тифлис и 20 000 жителей увести в плен (1795 г.). Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802 г. Грузины народ воинственный. Они

доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают большей образованности. Они вообще нрава веселого и общежительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчишки поют, прыгают и кувыркаются; женщины пляшут лезгинку.

Голос песен грузинских приятен. Мне перевели одну из них слово в слово; она, кажется, сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она:

Душа, недавно рожденная в раю! Душа, созданная для моего счастья! от тебя, бессмертная, ожидаю жизни.

От тебя, весна цветущая, от тебя, луна двунедельная, от тебя, ангел мой хранитель, от тебя ожидаю жизни.

Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою. Не хочу обладать миром; хочу твоего взора. От тебя ожидаю жизни.

Горная роза, освеженная росой! Избранная любимица природы! Тихое, потаенное сокровище! от тебя ожидаю жизни.

Грузины пьют — и не по-нашему, и удивительно крепки. Вина их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских. Вино держат в *маранах*, огромных кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с торжественными обрядами. Недавно русский драгун, тайно отрыв таковой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине, как несчастный Кларенс в бочке малаги.

Тифлис находится на берегах Куры, в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тифлисе, несмотря на то, что город находится только еще под 41-м градусом широты. Самое его название (*Тбилис-калак*) значит Жаркий город.

Большая часть города выстроена по-азиатски: дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образоваться правильные площади. Базар разделяется на несколько рядов; лавки полны турецких и персидских товаров, довольно дешевых, если принять в рассуж-

дение всеобщую дороговизну. Оружие тифлисское дорого ценится на всем Востоке. Граф Самойлов и В., прославившие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые пашки, с одного маху перерубая надвое барана или отсекая голову быку.

В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне: в 1825 году было их здесь до 2500 семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств считается до 1500. Русские не считают себя здешними жителями. Военные, повинуясь долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином асессорским, толико вождеденным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание.

Климат тифлисский, сказывают, нездоров. Здешние горячки ужасны; их лечат ртутным, коего употребление безвредно по причине жаров. Лекаря кормят им своих больных безо всякой совести. Генерал Сипягин, говорят, умер оттого, что его домовый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приема, предлагаемого тамошними докторами, и не дал одного больному. Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские и лечатся одинаково.

Жители пьют курскую воду, мутную, но приятную. Во всех источниках и колодцах вода сильно отзывается серой. Впрочем, вино здесь в таком общем употреблении, что недостаток в воде был бы незаметен.

В Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и отпустив его через полчаса, я должен был заплатить два рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новопривезшего; но мне сказали, что цена точно такова. Всё прочее дорого в соразмерности.

Мы ездили в немецкую колонию и там обедали. Пили там делаемое пиво, вкусу очень неприятного, и заплатили очень дорого за очень плохой обед. В моем трактире кормили меня так же дорого и дурно. Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня отобедать; по несчастию, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома!

Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Наконец получил записку от Раевского. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти далее. Я выехал на другой же день.

Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но, подъезжая к ним, видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями. Солнце село, но воздух всё еще был душен:

Ночи знойные!
Звезды чуждые!..

Луна сияла; всё было тихо; топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец увидел уединенную саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды сперва по-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! в тридцати верстах от Тифлиса и на дороге в Персию и Турцию, он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски.

Переночевав на казачьем посту, на рассвете отправился я далее. Дорога шла горами и лесом. Я встретил путешествующих татар; между ими было несколько женщин. Они сидели верхами, окутанные в чадры; видны были у них только глаза да каблуки.

Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелье, называемое, кажется, Волчьими воротами, и очутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мною расстилались злачные зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был другой.

Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более шести часов, и я начал удивляться пространству перехода. Я уви-

дел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я изъяснился коё-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «Грибоеда». — Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думаю я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: «*Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux*». Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игрищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею.

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — всё в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатав-

ший ни одной строчки в «Московском телеграфе». Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто повернуть свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл восемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом непрерывных успехов. Его рукописная комедия: «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколькими годами потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...

В Гергерах встретил я Бутурлина, который, как и я, ехал в армию. Бутурлин путешествовал со всевозможными прихотями. Я отобедал у него, как бы в Петербурге. Мы положили путешествовать вместе; но демон нетерпения опять мною овладел. Человек мой просил у меня позволения отдохнуть. Я отправился один даже без проводника. Дорога всё была одна и совершенно безопасна.

Переехав через гору и спустясь в долину, осененную деревьями, я увидел минеральный ключ, текущий поперек дороги. Здесь я встретил армянского попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани. «Что нового в Эривани?» — спросил я его. «В Эривани чума», — отвечал он; — а что слышать об Ахалцыке?» — «В Ахалцыке чума», — отвечал я ему. Обменявшись сими приятными известиями, мы расстались.

Я ехал посреди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей плодородие вошло на Востоке в пословицу. К вечеру прибыл я в Пернике. Здесь был казачий пост. Урядник предсказывал мне бурю и советовал остаться ночевать, но я хотел непременно в тот же день достигнуть Гумров.

Мне предстоял переход через невысокие горы, естественную границу Карского пашалыка. Небо покрыто было тучами; я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но дождь стал накрапывать и шел всё крупнее и чаще. От Пернике до Гумров считается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя providению.

Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, налитанного дождем. Наконец холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь меня промочил до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы. Между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый.

Казаки разбудили меня на заре. Первою моею мыслию было: не лежу ли я в лихорадке. Но почувствовал, что слава богу бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. «Что за гора?» — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: «Это Арарат». Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни, — и врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения...

Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по

широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росой и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. «Вот и Арпачай», — сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимой мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я всё еще находился в России.

До Карса оставалось мне еще 75 верст. К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги, в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый *чюрек*, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Даринальском ущелии. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он во всю дорогу болтал по-турецки, не заботясь о том, понимал ли я его или нет. Я напрягал внимание и старался угадать его. Казалось, он побранивал русских и, привыкнув видеть всех их в мундирах, по платью принимал меня за иностранца. Навстречу нам попался русский офицер. Он ехал из нашего лагеря и объявил мне, что армия уже выступила из-под Карса. Не могу описать моего отчаяния: мысль, что мне должно будет возвратиться в Тифлис, измучась понапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону; турок начал опять свой монолог; но уже мне было не до него. Я переменил иноходь на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в 20-ти верстах от Карса.

Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в дверях показался хозяин и оттолкнул меня с бранию. Я отвечал на его приветствие нагайкою. Турок раскричался; народ собрался. Проводник мой, кажется, за меня заступился. Мне указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было места, где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне

явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: *вербана ат* (дай мне лошадь). Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги (с чего надлежало бы мне начать). Лошадь тотчас была приведена, и мне дали проводника.

Я поехал по широкой долине, окруженной горами. Вскоре увидел я Карс, белеющийся на одной из них. Турок мой указывал мне на него, повторяя: *Карс, Карс!* и пускал вскачь свою лошадь; я следовал за ним, мучась беспокойством: участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь должен я был узнать, где находится наш лагерь и будет ли еще мне возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами и дождь пошел опять; но я об нем уж не заботился.

Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан: били зóрю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бани. Мы поехали по кривым и крутым улицам; лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома, довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливня лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговора с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и живали в нем по несколько месяцев. Они сказали мне, что войска наши выступили накануне и что лагерь наш находится в 25 верстах от Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне вёрхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся противу угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Паскевича.

Полутру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укрепле-

ния и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне как умел военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметя в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мною в армию. Он тотчас согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию и возвратил мне мою бумагу: это было послание к калмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций. Через полчаса выехал я из Карса, и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и сражениях.

Я ехал по земле, везде засеянной хлебом; кругом видны были деревни, но они были пусты: жители разбежались. Дорога была прекрасна и в топких местах вымощена — через ручьи выстроены были каменные мосты. Земля приметно возвышалась — передовые холмы хребта Саган-лу (древнего Тавра) начинали появляться. Прошло около двух часов; я въехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-чая; через несколько минут я был уже в палатке Раевского.

ГЛАВА ТРЕТИЯ

Переход через Саган-лу. Перестрелка. Лагерная жизнь. Язиды.
Сражение с сераскиром арзрумским. Взорванная сакля.

Я приехал вовремя. В тот же день (13 июня) войско получило повеление идти вперед. Обедая у Раевского, слушал я молодых генералов, рассуждавших о движении, им предписанном. Генерал Бурцов отряжен был влево по большой Арзрумской дороге прямо противу турецкого лагеря, между тем как всё прочее войско должно было идти правую стороною в обход неприятелю.

В пятом часу войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уж несколько лет не видался. Настала ночь; мы остановились в долине, где всё войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу.

Я нашел графа дома перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый воинскому искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь увидел я нашего Вольховского, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел однако время побеседовать со мною как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненного в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились! как быстро уходит время!

Heul fugaces, Postume, Postume,
Labuntur anni...

Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики: можно было подумать, что неприятель сделал нечаянное нападение.

Раевский послал узнать причину тревоги: несколько татарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по лагерью, и мусульмане (так зовутся татары, служащие в нашем войске) их ловили.

На заре войско двинулось вперед. Мы подъехали к горам, поросшим лесом. Мы въехали в ущелие. Драгуны говорили между собою: «Смотри, брат, держись: как раз картечью хватят». В самом деле, местоположение благоприятствовало засадам; но турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцова, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущелие и стали на высотах Саган-лу в десяти верстах от неприятельского лагеря.

Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

...nec Armeniis in oris,
Amice Valgi, stat glacies iners
Menses per omnes...

Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака: он сидел, шатаясь на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. «Много ли турков?» — спросил Семичев. «Свиньем валит, ваше благородие», — отвечал один из них. Проехав ущелие, вдруг увидели мы на склоне противуположной горы до 200 казаков, выстроенных в лаву, и над ними около 500 турков. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большею дерзостью, прицеливались шагах в 20 и, выстрелив, скакали назад. Их высокие чалмы, красивые долиманы и блестящий убор коней составляли резкую противуположность с синими мундирами и простою сбруей казаков. Человек 15 наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались. Но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в

крови, отпечатлевают на своих знаменах. Выстрелы утихли. Орлы, спутники войск, поднялись над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров: граф Паскевич приехал и отправился на гору, за которую скрылись турки. Они были подкреплены 4000 конницы, скрытой в лощине и в оврагах. С высоты горы открылся нам турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем, я видел наших раненых, из коих человек пять умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остен-Сакена, раненного в тот же день в другом сражении.

Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский пашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков; и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы закавказских наших областей и жители земель, недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на язидов, слывающих на Востоке дьяволопоклонниками. Около 300 семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язидов правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая баснь; что они веруют в единого бога; что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются; и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее.

Человек мой явился в лагерь через три дня после меня. Он приехал вместе с вагенбургом, который в виду неприятеля благополучно соединился с армией. № : во всё время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен.

17 июня утром слышали вновь мы перестрелку и через два часа увидели карабахский полк возвращающимся с осмью турецкими знаменами: полковник Фридерикс имел дело с неприятелем, засевшим за каменными завалами, вытеснил его и прогнал; Осман-паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись.

18 июня лагерь передвинулся на другое место. 19-го, едва пушка разбудила нас, всё в лагере пришло в движение. Генералы поехали к своим постам. Полки строились; офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная, в которую сторону ехать, и пустил лошадь на волю божию. Я встретил генерала Бурцова, который звал меня на левый фланг. Что такое левый фланг? — подумал я и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева, расставлявшего пушки. Вскоре показались делибаши и закрылись в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечьхватила в самую середину толпы. Турки повалили в сторону и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал Пущина осмотреть овраг. Пущин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцов, происходило жаркое дело. Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татары наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. Два эскадрона, отделяясь от полка, занеслись в своем преследовании; они были выручены полковником Симоичем.

Сражение утихло; турки у нас в глазах начали копать землю и таскать камень, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали обедать чем бог послал. В это время к графу привели нескольких пленников. Один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около шестого часу войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и

вскоре зачали отступать. Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда Сводный уланский полк переехал бы через меня. Однако бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусив повод, от них не отставала; я насилу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет 18; бледное девическое лицо не было обезображено. Чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом; вскоре нагнал меня Раевский. Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать преследования и сам им управлял. Меня обогнали конные наши отряды; я увидел полковника Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравшей в тот день важную роль, и с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи.

Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора-Розы, речка шумела во мраке. В это время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всею своею свитою. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в 30 верстах от места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось, как будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, взорвана бы-

ла на воздух: в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили нескольких казаков.

Вот всё, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в сем сражении разбит сераскир арзрумский, шедший на присоединение к Гаки-паше с 30 000 войска. Сераскир бежал к Арзруму; войско его, переброшенное за Саган-лу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки-паша одиң оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему время распорядиться.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сражение с Гаки-пашою. Смерть татарского бека. Гермафродит. Пленный паша. Аракс. Мост пастуха. Гассан-Кале. Горячий источник. Поход к Арзруму. Переговоры. Взятие Арзрума. Турецкие пленники. Дервиш.

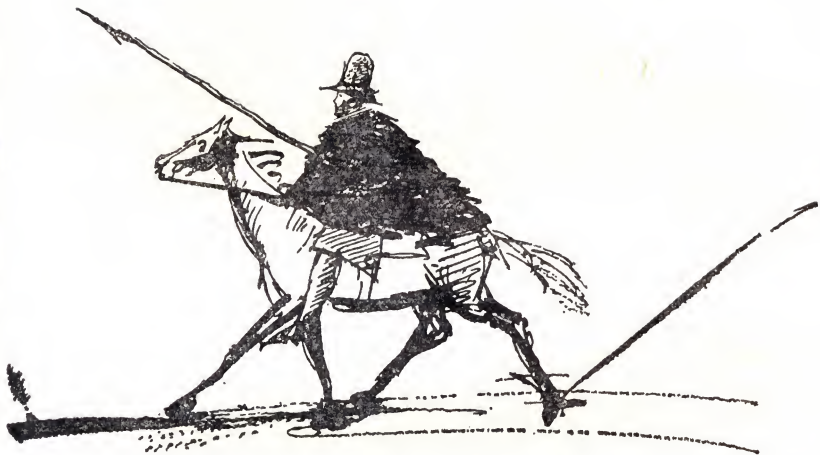
На другой день в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидал меня. «*Êtes-vous fatigué de la journée d'hier?*» — «*Mais un peu, m. le Comte*». — «*J'en suis fâché pour vous, car nous allons faire encore une marche pour joindre le Pacha, et puis il faudra poursuivre l'ennemi encore une trentaine de verstes*».

Мы тронулись и к восьми часам пришли на возвышение, с которого лагерь Гаки-паши виден был как на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагере их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую траву. Я опустил поводья около руки и сладко заснул, в ожидании приказа идти вперед. Через четверть часа меня разбудили. Всё было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкий лагерь; с другой — конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но лошадь моя хромала. Я отстал. Мимо меня пронесся Уланский полк. Потом Вольховский проскакал с тремя пушками. Я очутился один в лесистых горах. Мне попался навстречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала Муравьева с пехотным полком. Он отрядил одну роту в лес, дабы его очистить. Подъезжая к ложнине, увидел я не-

обыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненный смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умиравший бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В лощине собрано было человек 500 пленных. Несколько раненых турков подзывали меня знаками, вероятно принимая меня за лекаря и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою рану окровавленной тряпкою. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть, может быть из человеколюбия. Но это слишком меня возмутило; я заступился за бедного турку и насилу привел его, изнеможенного и истекающего кровию, к кучке его товарищей. При них был полковник Анреп. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели, спокойно разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. Верстах в 15 нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки посреди скал. Преследование продолжалось еще несколько часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и наконец мог я выспаться вволю, проскакав в эти два дня более осьмидесяти верст.

На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находился гермафродит. Раевский по просьбе моей велел его привести. Я увидел высокого, довольно толстого мужика с лицом старой курносой чухонки. Мы осмотрели его в присутствии лекаря. *Erat vir, mammosus ut femina, habebat t. non evolutos, p. que parvum et puerilem. Quaerebamus, sit ne exsectus? — Deus, respondit, castravit me.* Сия болезнь, известная Ипократу, по свидетельству путешественников, встречается часто у кочующих татар и у турков. *Хосс* есть турецкое название сим мнимым и гермафродитам.

Войско наше стояло в турецком лагере, взятом накануне. Палатка графа Паскевича стояла близ зеленого шатра Гаки-паши, взятого в плен нашими казаками. Я пошел к нему и нашел его окруженного нашими офицерами. Он сидел, поджав под себя ноги и куря трубку. Он казался лет сорока. Важность и глубокое спокойствие изобража-



АВТОПОРТРЕТ А. С. ПУШКИНА. 1829 г.

лось на прекрасном лице его. Отдавшись в плен, он просил, чтоб ему дали чашку кофию и чтоб его избавили от вопросов.

Мы стояли в долине. Снежные и лесистые горы Саган-лу были уже за нами. Мы пошли вперед, не встречая нигде неприятеля. Селения были пусты. Окрестная сторона печальна. Мы увидели Аракс, быстро текущий в каменистых берегах своих. В 15 верстах от Гассан-Кале находится мост, прекрасно и смело выстроенный на семи неравных сводах. Предание приписывает его построение разбогатевшему пастуху, умершему пустынником на высоте холма, где доныне показывают его могилу, осененную двумя пустынными соснами. Соседние поселяне стекаются к ней на поклонение. Мост называется Чабан-Кэпри (мост пастуха). Дорога в Тебриз лежит через него.

В нескольких шагах от моста посетил я темные развалины караван-сарая. Я не нашел в нем никого, кроме больного осла, вероятно брошенного здесь бегущими поселянами.

24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в 15 верстах от места нашего ночлега. Длинные пере-

ходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть; но вышло иначе.

Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турков, которые три дня тому назад отогнали их скот. Полковник Апрец, хорошо не разобрав, чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд находился в горах, и с одним эскадроном Уланского полка поскакал в сторону, дав знать Раевскому, что 3000 турков находятся в горах. Раевский отправился вслед за ним, дабы подкрепить его в случае опасности. Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку и с великою досадою поскакал на освобождение армян. Проехав верст 20, въехали мы в деревню и увидели несколько отставших уланов, которые, спешась, с обнаженными саблями, преследовали нескольких кур. Здесь один из поселян растолковал Раевскому, что дело шло о 3000 волах, три дня назад отогнанных турками и которых весьма легко будет догнать дни через два. Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику Апрецу повеление воротиться. Мы поехали обратно и, выбравшись из гор, прибыли под Гассан-Кале. Но таким образом дали мы 40 верст крюку, дабы спасти жизнь нескольким армянским курицам, что вовсе не казалось мне забавным.

Гассан-Кале почитается ключом Арзрума. Город выстроен у подошвы скалы, увенчанной крепостью. В нем находилось до ста армянских семейств. Лагерь наш стоял в широкой равнине, расстилающейся перед крепостью. Тут посетил я круглое каменное строение, в коем находится горячий железо-серный источник.

Круглый бассейн имеет сажени три в диаметре. Я переплыл его два раза и вдруг, почувствовав головокружение и тошноту, едва имел силу выйти на каменный край источника. Эти воды славятся на востоке, но, не имея порядочных лекарей, жители пользуются ими наобум и, вероятно, без большого успеха.

Под стенами Гассан-Кале течет речка Мурц; берега ее покрыты железными источниками, которые бьют из-под камней и стекают в реку. Они не столь приятны вкусу, как кавказский нарзан, и отзываются медью.

25 июня, в день рождения государя императора, в лагере нашем под стенами крепости полки отслушали молебн. За обедом у графа Паскевича, когда пили здо-

ровье государя, граф объявил поход к Арзруму. В пять часов вечера войско уже выступило.

26 июня мы стали в горах в пяти верстах от Арзрума. Горы эти называются Ак-даг (белые горы); они меловые. Белая, язвительная пыль ела нам глаза; грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас.

Вечером граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашими пикетами, начали по нем стрелять. Граф несколько раз погрозил им нагайкою, не преставая рассуждать с генералом Муравьевым. На их выстрелы не отвечали.

Между тем в Арзруме происходило большое смятение. Сераскир, прибывавший в город после своего поражения, распустил слух о совершенном разбитии русских. Вслед за ним отпущенные пленники доставили жителям воззвание графа Паскевича. Беглецы уличили сераскира во лжи. Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сераскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты озлобленной чернию.

В лагерь наш (26-го утром) явились депутаты от народа и сераскира; день прошел в переговорах; в пять часов вечера депутаты отправились в Арзрум, и с ними генерал князь Бекович, хорошо знающий азиатские языки и обычаи.

На другой день утром войско наше двинулось вперед. С восточной стороны Арзрума, на высоте Топ-дага, находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали, и Топ-даг был занят. Я приехал туда с поэтом Юзефовичем. На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всею его свитою. С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Граф был верхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города. Но в Арзруме заметно было волнение. Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топ-дагу. Несколько их пронеслись над головою графа Паскевича; «*Voyez les Turcs*, — сказал он мне, — *on ne peut jamais se fier à eux*». В сию минуту прискакал на

Топ-даг князь Бекович, со вчерашнего дня находившийся в Арзруме на переговорах. Он объявил, что сераскир и народ давно согласны на сдачу, но что несколько непослушных арнаутов под предводительством Топчи-паши овладели городскими батареями и бунтуют. Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем своих же пушек, повторили ту же просьбу. Граф несколько времени медлил; наконец дал повеление, сказав: «Полно им дурачиться». Тотчас подвезли пушки, стали стрелять, и неприятельская пальба мало-помалу утихла. Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июня, в годовщину полтавского сражения, в шесть часов вечера русское знамя развилось над арзрумской цитаделию.

Раевский поехал в город — я отправился с ним; мы въехали в город, представлявший удивительную картину. Турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: Христиан! Христиан!.. Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия; с крайним изумлением встретил я тут моего Артемия, уже разъезжающего по городу, несмотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без особенного позволения.

Улицы города тесны и кривы. Дома довольно высоки. Народу множество, — лавки были заперты. Пробыв в городе часа с два, я возвратился в лагерь: сераскир и четверо пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостию говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. Пуцин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит паравне с властелинами земли и ему поклоняются».

Восточное приветствие паши всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на сераскира. При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого

мальчика лет четырнадцати, в богатой арнаутской одежде. Сераскир, седой старик, наружности самой обыкновенной, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outré) за плечами. Он кричал во всё горло. Мне сказали, что это был брат мой, дerviш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Арзрум. Азиатская роскошь. Климат. Кладбище. Сатирические стихи. Сераскирский дворец. Харем турецкого паши. Чума. Смерть Бурцова. Выезд из Арзрума. Обратный путь. Русский журнал.

Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году, во время Феодосия Второго, и назван Феодосиополем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем. Я знал о нем только то, что здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы, поднесены были персидскому послу, в удовлетворение какой-то обиды, телячьи уши вместо человеческих.

Арзрум почитается главным городом в Азиатской Турции. В нем считалось до 100 000 жителей, но, кажется, число сие слишком увеличено. Дома в нем каменные, кровли покрыты дерном, что дает городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты.

Главная сухопутная торговля между Европою и Востоком производится через Арзрум. Но товаров в нем продается мало; их здесь не выкладывают, что заметил и Турнфор, пишущий, что в Арзруме больной может умереть за невозможности достать ложку ревеня, между тем как целые мешки оного находятся в городе.

Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свипство и проч., но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того,

что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии.

Климат арзрумский суров. Город выстроен в ложине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своею водою. Евфрат течет в трех верстах от города. Но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся. Лес доставляется из Саган-лу.

В Арзрумском арсенале нашли множество старинного оружия, шлемов, лат, сабель, ржавеющих, вероятно, еще со времен Годфреда. Мечети низки и темны. За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменною чалмою. Гробницы двух или трех пашей отличаются большей затейливостию, но в них нет ничего изящного: никакого вкуса, никакой мысли... Один путешественник пишет, что из всех азиатских городов в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены.

Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу.

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут — и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил.
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.

В нем веры чистый жар потух,
В нем жены по кладбищам ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят,
И спит подкупленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум;
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.

Постимся мы: струею трезвой
Святые воды нас поят;
Толпой бестрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят;
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смирно жены там сидят.

Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным; сераскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же. Вечера проводил я с умным и любезным Сухоруковым; сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях, некогда начатых им с такою ревностью и удачей. Ограниченность его желаний и требований поистине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены.

Дворец сераскира представлял картину вечно оживленную: там, где угрюмый папа молчаливо курил посреди своих жен и бесчестных отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, разговаривал о новых романах. Мушский папа приезжал к графу Паскевичу просить у него места своего племянника. Ходя по дворцу, важный турок остановился в одной из комнат, с живостию проговорил несколько слов и впал потом в задумчивость: в этой самой комнате обезглавлен был его отец по повелению сераскира. Вот впечатления настоящие восточные! Славный Бейбулат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмущившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бейбулат, мужчина лет 35-ти, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был

уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду.

Осман-паша, взятый в плен под Арзрумом и отправленный в Тифлис вместе с сераскиром, просил графа Паскевича за безопасность харема, им оставляемого в Арзруме. В первые дни об нем было забыли. Однажды за обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого 10 000 войска и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме Османа-паши и приказал г. А. съездить в дом паши и спросить у его жен, довольны ли они и не было ли им какой-нибудь обиды. Я просил позволения сопровождать г. А. Мы отправились. Г-н А. взял с собою в переводчики русского офицера, коего история любопытна. 18-ти лет попался он в плен к персиянам. Его скопили, и он более 20 лет служил евнухом в хареме одного из сыновей шаха. Он рассказывал о своем несчастии, о пребывании в Персии с трогательным простодушием. В физиологическом отношении показания его были драгоценны.

Мы пришли к дому Османа-паши; нас ввели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусом,— на цветных окнах начертаны были надписи, взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловата для мусульманского гарема: *тебе подобает связывать и развязывать*. Нам поднесли кофию в чашечках, оправленных в серебре. Старик с белой почтенной бородою, отец Османа-паши, пришел от имени жен благодарить графа Паскевича,— но г. А. сказал наотрез, что он послан к женам Османа-паши и хочет их видеть, дабы от них самих удостовериться, что они в отсутствие супруга всем довольны. Едва персидский пленник успел всё это перевести, как старик, в знак негодования, зашелкал языком и объявил, что никак не может согласиться на наше требование и что если паша, по своем возвращении, проведает, что чужие мужчины видели его жен, то и ему старику и всем служителям харема велит отрубить голову. Прислужники, между коими не было ни одного евнуха, подтвердили слова старика; но г. А. был непоколебим. «Вы боитесь своего паши,— сказал он им,— а я своего сераскира и не смею ослушаться его приказаний».— Делать было нечего. Нас повели через сад, где били два тощие фонтана. Мы приблизились к маленько-

му каменному строению. Старик стал между нами и дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук задвижки, и мы увидели женщину, с головы до желтых туфель покрытую белой чадрой. Наш переводчик повторил ей вопрос: мы услышали шамканье семидесятилетней старухи; г. А. прервал ее: «Это мать папи,— сказал он,— а я прислан к женам, приведите одну из них»; все изумились догадке гяуров: старуха ушла и через минуту возвратилась с женщиной, покрытой так же, как и она,— из-под покрывала раздался молодой приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание к бедным вдовам и хвалила обхождение русских. Г-н А. имел искусство вступить с нею в дальнейший разговор. Я между тем, глядя около себя, увидел вдруг над самой дверью круглое окошко и в этом круглом окошке пять или шесть круглых голов с черными любопытными глазами. Я хотел было сообщить о своем открытии г. А., но головки закивали, замигали, и несколько пальчиков стали мне грозить, давая знать, чтоб я молчал. Я повиновался и не поделился моею находкою. Все они были приятны лицом, но не было ни одной красавицы; та, которая разговаривала у двери с г. А., была, вероятно, повелительницею харема, сокровищницею сердец — розою любви — по крайней мере, я так воображал.

Наконец г. А. прекратил свои расспросы. Дверь затворилась. Лица в окошке исчезли. Мы осмотрели сад и дом и возвратились очень довольные своим посольством.

Таким образом, видел я харем: это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа.

Война казалась кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля пошел я в народную баню, и не рад был жизни. Я проклинал нечистоту простынь, дурную прислугу и проч. Как можно сравнить бани арзрумские с тифлисскими!

Возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать

какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство однако ж превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался, как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город.

19 июля, пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова, но это происшествие могло быть губительно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновлялась! Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзрум.

Я ехал обратно в Тифлис по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием 15 000 войска, были молчаливы и печальны. Я переехал Саган-лу и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я трехдневный карантин. Опять увидел я Безобдал и оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах при звуке музыки и песен грузинских. Я отправился

далее. Переезд мой через горы замечателен был для меня тем, что близ Коби ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище: белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками. Бешеная Балка также явилась мне во всем своем величии: овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны; огромные камни сдвинуты были с места и загромождали поток. Множество осетинцев разрабатывали дорогу. Я переправился благополучно. Наконец я выехал из тесного ущелья на раздолье широких равнин Большой Кабарды. Во Владикавказе нашел я Дорохова и Пущина. Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пущина на столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтоб я читал с большим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии, Здравомыслом этой маленькой комедии. Требование Пущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца.

Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ
В АРЗРУМ

I

NOTICE SUR LA SECTE DES YÉZIDIS

Entre les sectes nombreuses que se sont élevées dans la Mésopotamie, parmi les Musulmans, après la mort de leur prophète, il n'en est aucune qui soit odieuse à toutes les autres autant que celle des Yézidis. Les Yézidis ont pris leur nom du scheikh Yézid, auteur de leur secte, et ennemi déclaré de la famille d'Ali. La doctrine dont ils font profession, est un mélange du manichéisme, du mahométisme et de la croyance des anciens Perses. Elle se conserve parmi eux par tradition, et est transmise de père en fils sans le secours d'aucun livre: car il leur est défendu d'apprendre à lire et à écrire. Ce défaut de livres est sans doute la cause, pour laquelle les historiens Mahométans ne parlent de cette secte qu'en passant, et pour désigner sous ce nom des gens abandonnés au blasphème, cruels, barbares, maudits de Dieu, et infidèles à la religion de leur prophète. Par une suite de cela on ne peut se procurer, relativement à la croyance des Yézidis, aucunes notions certaines, si ce n'est ce qu'on observe aujourd'hui même parmi eux.

Les Yézidis ont pour premier principe de s'assurer l'amitié du Diable, et de mettre l'épée à la main pour sa défense. Aussi s'abstiennent-ils non-seulement de le nommer, mais même de se servir de quelque expression dont la consonnance approche de celle de son nom. Par exemple un fleuve se nomme dans le langage ordinaire *schatt*, et comme ce mot a quelque léger rapport avec le mot *scheïtan*, nom du Diable, les Yézidis appellent un fleuve *avé mazen*, c'est-à-dire *grande eau*. De même encore les Turcs maudissent fréquemment le Diable, en se servant pour cela du mot *nal*, qui veut dire *malédiction*; les Yézidis évitent avec grand soin tous les mots qui

ont quelque analogie avec celui-là. Ainsi au lieu du mot *nal* qui signifie aussi *fer de cheval*, ils disent *sol*, c'est-à-dire, *semelle de souliers d'un cheval*, et ils substituent le mot *solker*, qui veut dire *save-tiër*, au terme du langage ordinaire *nalbenda*, qui signifie *maréchal*. Quiconque fréquente les lieux qu'ils habitent, doit être très-attentif à ne point prononcer les mots *diable* et *maudit*, et surtout ceux-ci, *maudit soit le diable*; autrement il courrait grand risque d'être mal-traité, ou même tué. Quand leurs affaires les attirent dans les villes Turques, on ne peut pas leur faire de plus grand affront que de maudire le diable devant eux, et si la personne qui a eu cette imprudence vient à être rencontrée en voyage par des Yézidis et reconnue, elle est en grand danger d'éprouver leur vengeance. Il est arrivé plus d'une fois que des hommes de cette secte ayant été arrêtés pour quelque crime par la justice Turque, et condamnés à mort, ont mieux aimé subir leur condamnation que d'user de la faculté qui leur était accordée, de s'y soustraire en maudissant le Diable.

Le Diable n'a point de nom dans le langage des Yézidis. Ils se servent tout au plus pour le désigner de cette périphrase, *scheikh mazen*, le grand chef. Ils admettent tous les prophètes et tous les saints révéérés par les Chrétiens, et dont les monastères situés dans leurs environs portent les noms. Ils croient que tous ces saints personnages, lorsqu'ils vivaient sur la terre, ont été distingués des autres hommes plus ou moins, selon que le diable a résidé plus ou moins en eux: c'est surtout, suivant eux, dans Moïse, Jésus-Christ et Mahomet qu'il s'est le plus manifesté. En un mot, ils pensent que c'est Dieu qui ordonne, mais qu'il confie au pouvoir du Diable l'exécution de ses ordres.

Le matin, à peine le soleil commence-t-il à paraître, qu'ils se jettent à genoux les pieds nus, et que tournés vers cet astre, ils se mettent en adoration, le front contre terre. Pour faire cet acte de dévotion, ils se retirent à part, loin de la présence des hommes; ils font leur possible pour n'être point vus quand ils s'acquittent de ce devoir, dont ils se dispensent même suivant les circonstances.

Ils n'ont ni jeûnes, ni prières, et disent pour justifier l'omission de ces œuvres de religion, que le scheikh Yézid a satisfait pour tous ceux qui feront profession de sa doctrine jusqu'à la fin du monde, et qu'il en a reçu l'assurance positive dans ses révélations; c'est en conséquence de cela qu'il leur est défendu d'apprendre à lire et à écrire. Cependant tous les chefs des tribus et des gros villages soudoient un docteur mahométan pour lire et interpréter les lettres qui leur sont adressées par les seigneurs et les pachas Turcs, et pour y répondre. Relativement aux affaires qu'ils ont entre eux, ils ne se fient jamais à aucune personne d'une autre religion; ils envoient leurs ordres et

font faire toutes leurs commissions de vive voix, par des hommes de leur secte.

N'ayant ni prières, ni jeûnes, ni sacrifices, ils n'ont aussi aucune fête. Ils tiennent cependant le 10 de la lune d'août une assemblée dans le voisinage du tombeau du scheikh Adî. Cette assemblée, à laquelle beaucoup des Yézidis se rendent de contrées éloignées, dure toute cette journée et la nuit suivante. Cinq ou six jours avant ou après celui où elle a lieu, les petites caravanes courent risque d'être attaquées dans les plaines de Moussol et du Kurdistan, par ces pèlerins qui voyagent toujours plusieurs ensemble, et il est rare qu'une année se passe sans que ce pèlerinage donne lieu à quelque fâcheux événement. On dit qu'un grand nombre de femmes des Yézidis, à l'exception cependant des filles qui ne sont point encore mariées, se rendent des villages voisins à cette réunion, et que cette nuit-là, après avoir bien bu et mangé, l'on éteint toutes les lumières, et l'on ne parle plus jusqu'aux approches de l'aurore, instant auquel tout le monde se retire. On peut se faire une idée de ce qui se passe dans ce silence et à la faveur des ténèbres.

Aucune espèce de nourriture n'est défendue aux Yézidis, excepté la laitue et la citrouille. Ils ne font jamais dans leurs maisons de pain de froment, mais seulement du pain d'orge; je ne sais point quelle en est la raison.

Ils emploient pour leurs serments les mêmes formules qui sont en usage parmi les Turcs, les Chrétiens et les Juifs; mais le serment le plus fort qu'ils fassent entre eux, est de jurer par *l'étendard de Yézid*, c'est-à-dire, par leur religion.

Ces sectaires ont un très grand respect pour les monastères chrétiens qui sont dans leurs environs. Quand ils vont les visiter, ils ôtent leurs chaussures avant d'entrer dans l'enceinte et marchant pieds nus, ils baisent la porte et les murs; ils croient par là s'assurer la protection du saint dont le couvent porte le nom. S'il leur arrive, pendant une maladie, de voir en rêve quelque monastère, ils ne sont pas plutôt guéris qu'ils vont le visiter, et y porter des offrandes d'encens, de cire, de miel, ou de quelque autre chose. Ils y demeurent environ un quart d'heure, et en baisent de nouveau les murailles avant de se retirer. Ils ne font aucune difficulté de baiser les mains du patriarche ou de l'évêque, qui est supérieur du monastère. Quant aux mosquées des Turcs, ils s'abstiennent d'y entrer.

Les Yézidis reconnaissent pour chef de leur religion, le scheikh qui gouverne la tribu à laquelle est confiée la garde du tombeau du scheikh Adî, restaurateur de leur secte. Ce tombeau se trouve dans la juridiction du prince d'Amadia. Le chef de cette tribu doit toujours être pris parmi les descendants du scheikh Yézid: il est confirmé

dans sa place, sur la demande des Yézidis, et moyennant un présent de quelques bourses, par le prince d'Amadia. Le respect, que ces sectaires portent au chef de leur religion, est si grand, qu'ils s'estiment très heureux quand ils peuvent obtenir une de ses vieilles chemises, pour leur servir de linceul: ils croient que cela leur assure une place plus avantageuse dans l'autre monde. Quelques-uns donnent jusqu'à quarante piastres pour une semblable relique, et s'ils ne peuvent l'obtenir toute entière, ils se contentent d'en avoir une portion. Quelquefois le scheikh lui-même envoie une de ses chemises en présent. Les Yézidis font passer secrètement à ce chef suprême une portion de tous leurs brigandages, pour l'indemniser de dépenses que lui occasionne l'hospitalité qu'il exerce envers ceux de sa secte.

Le chef des Yézidis a toujours près de lui un autre personnage qu'ils appellent *kotchek*, et sans le conseil duquel il n'entreprend rien. Celui-ci est regardé comme l'oracle du chef, parce qu'il a le privilège de recevoir immédiatement des révélations du Diable. Aussi quand un Yézidi hésite s'il doit entreprendre quelque affaire importante, il va trouver le *kotchek*, et lui demander un avis, qu'il n'obtient point néanmoins sans qu'il lui en coûte quelque argent. Avant de satisfaire à la consultation, le *kotchek*, pour donner plus de poids à sa réponse, s'étend tout de son long par terre, et se couvrant il dort, ou fait semblant de dormir, après quoi il dit qu'il lui a été révélé pendant son sommeil telle ou telle décision: quelquefois il prend un délai de deux ou trois nuits, pour donner sa réponse. L'exemple suivant fera voir, combien est grande la confiance que l'on a en ses révélations. Jusqu'à il y a environ quarante ans, les femmes des Yézidis portaient comme les femmes Arabes, afin d'épargner le savon, des chemises bleues teintes avec l'indigo. Un matin, lorsque l'on s'y attendait le moins, le *kotchek* alla trouver le chef de la secte, et lui déclara que pendant la nuit précédente il lui avait été révélé, que le bleu était une couleur de mauvais augure et qui déplaisait au Diable. Il n'en fallut pas d'avantage pour que l'on envoyât sur le champ à toutes les tribus par des exprès, l'ordre de proscrire la couleur bleue, de se défaire de tous les vêtements qui étaient de cette couleur, et d'y substituer des habits blancs. Cet ordre fut exécuté avec une telle exactitude, que si aujourd'hui un Yézidi se trouvant logé chez un Turc ou chez un Chrétien, on lui donnait une couverture de lit bleue, il dormirait plutôt avec ses seuls vêtements, que de faire usage de cette couverture, fût ce même dans la saison la plus froide.

Il est défendu aux Yézidis d'ajuster leurs moustaches avec des ciseaux, ils doivent les laisser croître naturellement: aussi y en a-t-il parmi eux dont on aperçoit à peine la bouche.

Cette secte a aussi ses satrapes, qui sont connus du côté d'Alep sous le nom de *fakiran*, et que le vulgaire appelle *karabasche*, parce qu'ils portent sur la tête un *bonnet noir* avec des bandelettes de même couleur. Leur manteau ou *aba*, est pareillement noir, mais leurs habits de dessous sont blancs. Ces gens-là sont en très petit nombre; partout où ils vont, on leur baise les mains, et on les reçoit comme des ministres de bénédiction, et des présages de bonne fortune. Quand on les appelle auprès d'un malade, ils lui imposent les mains sur le cou et sur les épaules et sont bien récompensés de leurs peines. S'ils sont mandés pour assurer à un mort le bonheur dans l'autre monde avant de vêtir le cadavre, ils le dressent sur ses pieds, et lui touchent légèrement le cou et les épaules; ensuite ils le frappent de la paume de la main droite, lui adressant en même temps ces mots en langue kourde, *ara béhescht*, c'est-à-dire *vas en paradis*. Ils sont chèrement payés pour cette cérémonie, et ne se contentent point d'une modique rétribution.

Les Yézidis croient que les âmes des morts vont dans un lieu de repos, où elles jouissent d'un degré de félicité plus ou moins grand, en proportion de leurs mérites; et qu'elles apparaissent quelquefois en songe à leurs parents et à leurs amis, pour leur donner avis de ce qu'elles désirent. Cette croyance leur est commune avec les Turcs. Ils sont persuadés aussi qu'au jour du jugement universel, ils s'introduiront dans le paradis, les armes à la main.

Les Yézidis sont partagés en plusieurs peuplades ou tribus, indépendantes les unes des autres. Le chef suprême de leur secte n'a d'autorité, pour le temporel, que sur la seule tribu: néanmoins, lorsque plusieurs tribus sont en différent les unes avec les autres, il est de son devoir d'employer sa médiation pour les concilier, et il est rare que les efforts qu'il fait pour cela ne soient pas couronnés d'un heureux succès. Quelques-unes de leurs tribus demeurent dans les domaines du prince Gioulemerk, d'autres dans le territoire du prince de Gézirèh; il y en a qui font leur résidence dans les montagnes dépendantes du gouvernement de Diarbékir, d'autres sont dans le ressort du prince d'Amadia. Du nombre de ces dernières est la plus noble de toutes les tribus, qui est connue sous le nom de *scheikhan*, et dont le scheikh, qu'ils appellent *mir*, c'est-à-dire, *prince* est le chef suprême de la religion, et le gardien du tombeau du scheikh Adi. Les chefs des villages occupés par cette tribu descendent tous d'une même famille, et pourraient se disputer la primatie, s'il survenait entre eux quelque division. Cependant entre toutes leurs peuplades, la plus puissante et la plus redoutable est celle qui habite la montagne de Singiar, entre Moussol et le fleuve Khabour, et qui est divisée entre deux scheikhs, dont l'un commande à la partie du Levant,

et autre à celle du Midi. La montagne du Singiar fertile en diverses sortes de fruits, est d'un accès très difficile, et la peuplade qui l'occupe met sur pied plus de six mille fusiliers, sans compter la cavalerie armée de lances. Il ne se passe guère d'année, que quelque grosse caravane ne soit dépouillée par cette tribu. Les Yézidis de cette montagne ont soutenu plusieurs guerres contre les pachas de Moussol et de Bagdad; dans ces occasions, après qu'il y a eu beaucoup de sang répandu de part et d'autre, le tout finit par s'arranger moyennant de l'argent. Ces Yézidis sont redoutés en tout lieu, à cause de leur cruauté: lorsqu'ils exercent leurs brigandages armés, ils ne se bornent pas à dépouiller les personnes qui tombent entre leurs mains, ils les tuent toutes sans exception; si dans le nombre il se trouve de *schérifs*, descendants de Mahomet, ou des docteurs musulmans, ils les font périr d'une manière plus barbare, et avec plus de plaisir, croyant acquérir par-là un plus grand mérite.

Le Grand-Seigneur tolère les Yézidis dans ses états, parce que, suivant l'opinion des docteurs mahométans, l'on doit considérer comme fidèle et vrai croyant, tout homme qui fait profession des dogmes fondamentaux *il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est l'apôtre de Dieu*, quoique d'ailleurs il manque à tous les autres préceptes de la loi musulmane.

D'un autre côté les princes kurdes souffrent les Yézidis pour leur intérêt particulier: ils tâchent même d'attirer un plus grand nombre de tribus de cette nation, dans leurs domaines; car les Yézidis étant d'un courage à toute épreuve, bons soldats tant de pied que de cheval, et très-propres à faire un coup de main et à piller de nuit les campagnes et les villages, ces princes s'en servent avec beaucoup d'avantage, soit pour réduire celles des tribus mahométanes de leur ressort qui leur refusent l'obéissance, soit pour combattre les autres princes, quand ils sont en guerre avec eux. D'ailleurs les Mahométans sont dans la ferme persuasion que tout homme qui périt de la main d'un de ces sectaires, meurt martyr; aussi le prince Amadia a-t-il soin de tenir toujours auprès de lui un bourreau de cette nation, pour exécuter les sentences de mort contre les Turcs. Les Yézidis ont la même opinion relativement aux Turcs, et la chose est réciproque: si un Turc tue un Yézidi, il fait une action très agréable à Dieu, et si un Yézidi tue un Turc, il fait une œuvre très-méritoire aux yeux du *grand scheikh*, c'est-à-dire du Diable. Lorsque le bourreau d'Amadia est demeuré quelques années au service du prince, il quitte son emploi, afin qu'un autre puisse, en lui succédant, acquérir le même mérite; et en quelque lieu que le bourreau, après avoir résigné cette charge, se présente chez les Yézidis, on le reçoit avec vénération, et on baise ses mains, sanctifiées par le sang des Turcs. Les Persans au

contraire, et tous les Mahométans attachés à la secte d'Ali, ne souffrent point de Yézidis dans leurs états; bien plus, il est défendu parmi eux de laisser la vie à ces sectaires.

Il est permis aux Turcs, lorsqu'ils sont en guerre avec les Yézidis, de faire esclaves leurs femmes et leurs enfants, et de les garder pour leur propre usage, ou de les vendre; les Yézidis n'ayant pas la même permission à l'égard de Turcs, font tout périr. Si un Yézidi veut se faire Turc, il suffit, pour toute profession de foi, qu'il maudisse le Diable, et ensuite qu'il apprenne à son aise à faire les prières à la manière des Turcs: car les Yézidis reçoivent la circoncision huit jours après leur naissance.

Tous les Yézidis parlent la langue kurde; il y en a parmi eux qui savent le turc ou l'arabe, parce qu'ils ont souvent occasion de fréquenter des personnes qui parlent l'une ou l'autre de ces langues, et à cause de l'avantage qu'ils trouvent à traiter leurs propres affaires avec plus de sûreté, en ne se servant point d'interprètes.

Sans doute les Yézidis ont bien d'autres erreurs ou superstitions, mais comme ils n'ont aucun livre, celles que j'ai exposées sont les seules dont j'aie pu me procurer la connaissance. D'ailleurs beaucoup de choses, chez eux, sont sujettes à changer, en conséquence des prétendues révélations de leur *kotchek*, ce qui augmente la difficulté de connaître à fond leur doctrine.

II

МАРШРУТ ОТ ТИФЛИСА ДО АРЗРУМА

Телеты	14	верст	
Коды	11	»	
Большие Шулаверы	27	»	
Пост Самисы	20	»	
Пост Акзебиук . . .	19 ¹ / ₂	верст	
Укрепление Джелал-Оглу	19 ¹ / ₂	»	
Гергерский пост . . .	13	верст	
Кишлякский	16	»	} Переезд через Безобдал
Амамлы	13	»	
Бекант	15	»	
Укрепление Гумры	27	»	
Селение Джаумулы	28	»	Другая дорога от Карса чрез Милли-Дюз до Кеприкёва
Селение Халив-Оглы	18 ¹ / ₂	верст	
Карс	21	верста	
Селение Котанлы . .	24	версты	Селение Котанлы 24 версты
Развалины Чирихли	22	»	Урочище Дели-Муса-Пурун 30 верст

Речка Иджа-Су . .	12	верст	Развалины Кара- ван-Сарая на вершине Саган- лутских гор . .	12	верст
(где был лагерь наш с 14-го по 18-е июня на вер- шине Саганлута)			Урочище Милли- Дюз, где был ла- герь Гакки-Па- ши	7	»
Речка Гункер-Су .	13	верст	Замок Миндже- герт	9	»
» Загин-Су . .	16	»	Речка Чермик, при коей теплые же- лезные воды .	10 ¹ / ₂	верст
Замок Зивин . .	12	»			
Селение Ардос . .	24	версты			
Селение Кеприкёв .	26	верст	Деревня Хоросан .	12	»
(мост на Араксе)			Деревня Кепри- кёв	25	»
Деревня Гассан-Кала	14 ¹ / ₂	верст			
Арзрум	35	верст			

ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ



АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

В беловой рукописи романа имеется несколько зачеркнутых мест:

Стр. 9. После слов «почувствовать всеми способами»:

Графиню почитают,— сказал он Ибрагиму,— женщиной умной и холодной, имеющей любовников от нечего делать. Это мнение не справедливо. Она проста, имеет пылкие чувства, и любовь главное дело ее жизни. В обществе она рассеяна и ленива; это придает какую-то заманчивость ее словам. Ее странные вопросы, загадочные ответы вольно принимать за эпиграмматические выходы или за глупости; мы, т. е. близкие ее приятели, из дружбы прославили ее оригинальность и остроту. Впрочем, она женщина самая добрая, самая милая. Познакомьтесь с нею короче, вы ее полюбите и удостоверитесь, что ограниченность ее ума почти незаметна от избытка простодушия и чувствительности.

Стр. 10. (ср. стр. 14). После слов «стали до них доходить»:

Своеправный свет беспощадно гонит на самом деле то, что допускает в теории.

Стр. 15. После слов «предметы, им покидаемые навек»:

Целый день он думал о графине D., следовал сердцем за нею, казалось, был свидетелем каждого ее движения, каждой ее мысли; в часы, когда он обыкновенно с нею видался, он мысленно собирался к ней, входил в ее комнату, садился подле нее, разговаривал с нею — и мечтание постепенно становилось так сильно, так ощутительно, что он совершенно забывался.

Стр. 15. (ср. стр. 17). После слов «и они поскакали»:

Ибрагим не мог опомниться. Прошедшее казалось ему сном. Он вновь сидел подле Петра, он видел и слушал вновь великого человека, близ коего провел он свое младенчество. Дорогою государь весело с ним разговаривал о разных предметах. Между тем въехали они в Петербург.

Стр. 34. После слов «возвратился домой» (окончание главы V):

На другой день, следуя во всем советам государя, приехал он к Гавриле Афанасьевичу и был принят как жених, хоть и не мог видеть свою невесту. Ему сказали, что она ушиблась, прыгая неосторожно с своими подружками. С тех пор Ибрагим всякий день ездил к своему будущему тестю и своим почтительным и ласковым обхождением, кротким и образованным умом во время болезни Натальи Гавриловны снискал не только дружество отца, но и уважение князя Лыкова и благосклонность доброй Татьяны Афанасьевны, которая не раз со вздохом говорила своему брату: «Лучшего жениха грех нам и желать; а жаль, что он арап».

Стр. 36. После слов «маленькую mîjaugée»:

— Нет,— отвечал Ибрагим,— я женюсь конечно не по страсти, но по соображению, и то если она не имеет от меня решительного отвращения.

РОМАН В ПИСЬМАХ

В черновой рукописи было:

Стр. 65. После слов «лишние страницы»:

Твое замечание о романических героях и героинях справедливо. Романы основаны на любви. Мужчины почти не знают любви: они развлечены честолюбием etc.

Стр. 70. После слов «разве не аристократка?»:

Недавно кто-то напомнил эпиграмму Давыдова какой-то спелой кокетке, которая смеялась над его демократическою склонностью к субреткам: *que voulez-vous, Madame, elles sont plus fraîches...* Многие приняли сторону дам большого света, утверждали, что любовь питается блеском и тщеславием.

ПОВЕСТИ БЕЛКИНА

О Т И З Д А Т Е Л Я

Черновая редакция предисловия.

Сердечно радуюсь, что рукопись, которую имел я честь вам препроводить, показалась вам достойной некоторого внимания. Спешу исполнить волю вашу, доставляя вам все сведения, кои мог я получить касательно покойного моего друга.

Петр Иванович Д — родился в Москве в 1801 году от честных и благородных родителей. Будучи младенец, лишился он отца своего, Ив. П. Д., коллежского асессора и кавалера. П. И. вос-

питывался во втором кадетском корпусе, где, несмотря на чрезвычайную нежность здоровья и слабость памяти, оказал он довольно значительные успехи в науках. Его прилежание, хорошее поведение, скромность и доброта заслужили ему любовь наставников и уважение товарищей. В 1818 году был он выпущен офицером в Селенгинский пехотный полк, в коем он и служил до 1822. В сие время лишился он матери, и расстроенное здоровье принудило его взять отставку. Он поселился в Нов... уезде, в сельце Горюхине, где и провел остальные дни краткой своей жизни.

Быв его опекуном, желал я сдать ему его имение на законном основании, но П. И. по природной беспечности никогда не мог решиться пересмотреть счетные книги, планы и бумаги, мною ему представленные. Насилу уговорил его поверить по крайней мере расход и приход последних двух лет, но он довольствовался пересмотром одних итогов, по коим заметил, что число кур, гусей, телят и прочей домашней живности умножилось почти вдвое, благодаря хорошему надзору, хотя, к сожалению, число мужиков значительно уменьшилось по причине повальной болезни, свирепствовавшей в нашем краю. Предвидя, что беспечность его характера не допустит его заниматься хозяйством, я предлагал ему продолжение своего управления, на что он не согласился, совестясь налагать на меня лишние хлопоты.

Я советовал ему по крайней мере пустить крестьян на оброк и тем избавить самого себя от всякой хозяйственной заботы. Предположение мое было им одобрено, однако не привел его в исполнение *за недосугом*. Между тем хозяйство остановилось, крестьяне не платили оброка и перестали ходить на барщину, так что не было во всем околотке помещика, более любимого и менее получающего дохода.

В окончательную редакцию предисловия не вошли следующие места:

Стр. 55. После слов «в село Горюхино, свою отчину»:

Описание приезда его, почерпнутое мною из его рукописи, мне им подаренной, полагая, что вам оное любопытно будет, здесь прилагаю. (Здесь выпущен довольно длинный отрывок из одной пространной рукописи, нами ныне приобретенной и которую надеемся издать, если сии повести благосклонно приняты будут публикою.)

Стр. 56. После слов «друг с другом не сходствовали»:

В доказательство сего приведу пример. Перед обедом, какая бы ни была погода, осматривая поля и работы или занимаясь охотою или просто прогуливаясь, обыкновенно езжу я верхом,

что здоровью моему отменно полезно и даже необходимо. П. И., не имев привычки к верховой езде, долго опасался следовать моему примеру, наконец решился потребовать лошадь. Я приказал для него оседлать самую смирную изо всей моей конюшни — и поехал шагом, ибо рысь могла показаться ему с непривычки ездой слишком опасною и беспокойною, к тому и лошадь его давно от нее отвыкла. П. И. сидел довольно бодро и начинал уже приноравливаться к движению коня — как я, подъехав к риге, на которой молотили, остановился. Следуя моему примеру, и лошадь П. И. стала. Но он от незапного сотрясения потерял равновесие, упал и расшиб себе руку. Сие несчастье и смех, от коего не мог я воздержаться, не помешали ему и впредь сопровождать меня в моих прогулках, и впоследствии приобрел он некоторый навык в верховой езде, в сем столь же полезном, как и благородном упражнении.

МЕТЕЛЬ

В рукописи имеются места, исключенные из окончательного текста:

Стр. 77. После слов «окружена была искателями»:

В числе новых двое, казалось, оспаривали между собою первенство, удалив всех прочих соперников. Один из них был сын уездного предводителя, тот самый маленький улан, который некогда клялся в вечной дружбе бедному нашему Владимиру, но ныне хохотун, обросший усами и бакенбардами и смотрящий настоящим Геркулесом. Другой был раненый гусарский полковник, лет около 26-ти, с Георгием в петлице и с интересной бледностью (как говорили тамошние барышни).

Стр. 77. После цитаты из Петrarки:

Правда и то, что уланский Геркулес, казалось, имел над нею особенную власть: они были между собою короче и откровеннее. Но всё это (по крайней мере с ее стороны) походило более на дружество, чем на любовь. Заметно было даже, что волокитство молодого улана иногда ей досаждало, и редко его шутки приняты были ею благосклонно. Раненый гусар менее шумел и смеялся, но, кажется, успевал гораздо более.

ГРОБОВЩИК

Стр. 85. После слов «Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно» в рукописи:

К вечеру всё сладил и приехал домой уже поздно. В светлице

не было огня; дочери его давно спали. Он долго стучался у калитки, пока сонный дворник его не услышал. Адриан разбранил его по своему обыкновению и отправил его *дрыгнуть*, но в сенях гробовщик остановился: ему показалось, что люди ходят по комнатам. «Воры!» была первая мысль гробовщика; он был не трусливого десятка, первым его движением было войти как можно скорее. Но тут ноги его подкосились, и он от ужаса остолбенел.

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

В рукописи было:

Стр. 90. После слов «до последней нитки»:

Приехав на станцию, первая забота моя было поскорее переодеться, вторая — поскорее поехать. «Нет лошадей», — сказал мне смотритель и подал мне книгу в оправдание слов своих. «Как нет лошадей?» — закричал я с гневом отчасти притворным (из записок молодого человека).

Помета в скобках указывает на то, что дальнейшее должно было явиться выпиской из ранее написанных «Записок молодого человека»; см. стр. 385.

Стр. 90. После слов «...вся в покойницу мать»:

«Да она же у меня такая разумная, такая проворная. И верите ли вы, что с ней и курьеры заговариваются». — Тут вошел мой *старый* ямщик (т. е. двадцатилетний ямщик, привезший меня; на большой дороге и стареются-то на почтовых) с требованием на *водку*; в то время народ не прашивал на *чай*. Но просвещение... исполински шагнув в последнее десятилетие... Не успел я расплатиться с ним, как Дуня воротилась с самоваром.

Стр. 91. После слов «столь долгого, столь приятного воспоминания» — в рукописи:

И теперь при мысли о нем, кажется, вижу ее томные глаза, ее вдруг исчезнувшую улыбку, кажется, чувствую теплоту ее дыхания и свежее напечатление губок.

Читатель ведает, что есть несколько родов любовей: любовь чувственная, платоническая, любовь из тщеславия, любовь пятнадцатилетнего сердца и проч., но из всех любовей дорожная самая приятная. Влюбившись на одной станции, нечувствительно доезжаешь до другой, а иногда и до третьей. Ничто так не сокращает дороги; воображение, ничем не развлеченное, вполне наслаждается своими мечтаниями. Любовь безгорестная, любовь беспечная! Она живо занимает нас, не утомляя нашего сердца, и угасает в первом городском трактире.

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

В рукописи было:

Стр. 103. После слов «и к вечеру всё было готово»:

Настя сняла мерку с Лизинной ноги и сбежала в поле к Трофиму-пастуху.

— Дедушка,— сказала она ему,— можешь ли ты сплести мне пару лаптей по этой мерке?

— Изволь,— отвечал старик,— сплету тебе так, что любо, дорого... да кому ж, матушка, понадобятся детские лапти?

— Не твое дело,— отвечала Настя,— не замешкай только работою.

Пастух обещал принести их к завтрашнему утру, и Настя побежала прочь, распевая свою любимую песню.

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь.¹

Стр. 108. Вместо слов от «К тому же самолюбие ее» до слов «дочери прилучинского кузнеца»:

К тому же они так довольны были своим положением, что не желали никакой перемены.

Наступила осень и с нею ненастье. Свидания стали реже, погода поминутно их расстроивала. Молодые люди роптали, но делать было нечего.

Стр. 114. После слов «весьма довольный собою»:

На другой день проснулся он, отрезываясь от вчерашней бури. Он передумал свое намерение; ехать к Муромскому, откровенно с ним изъясниться и потом общими силами уговорить раздраженного старика показалось ему вернее. Он приказал оседлать лошадь и пустился к соседу. Дорогой заехал он в рощу, дабы взять письмо назад, но уж в дупле его не было; Настя, исправлявшая при Лизе должность почтальона, предупредила его. Алексей об этом мало беспокоился, ибо мысль жениться на Акулине не казалась ему глупостью, и он рад был о том с нею самой переговорить.

ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА

Стр. 121. После слов «и принялся за работу» в рукописи следовало:

Старинное вступление *пою* или *о муза* справедливо казалось мне рабским подражанием, недостойным свободного, оригиналь-

¹ Первоначально: «Вечерком румяну зорю»;

ного гения. Что касается до размера, то, не учившись никогда версификации, но получив некоторый навык, переписывая стихи, я и избрал тот, которому более всего

Стр. 126—127. Первоначально дана была следующая характеристика песен Архина-Лысого:

Сии песни заимствованы большею частию из русских, сочиняемых солдатами, писарями и боярскими слугами, но приноровлены весьма искусно ко нравам горюхинским и к различным обстоятельствам.

ДУБРОВСКИЙ

В рукописи было:

Стр. 148. После слов «оказавшуюся недостаточной»:

Андрей Гаврилович не имел опытности в делах тяжёбных; он руководствовался большею частью здравым смыслом, путеводителем редко верным и почти всегда недостаточным.

Стр. 154. После слов «Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести»:

и для того просим последовать за нами и перенестись из деревни Андрея Гавриловича в Петербург в казармы ** полка.

В 9 часов осеннего утра молодой офицер возвращался пешком с развода в свои казармы. При входе его в комнату, коей нагота обличала бедность или строгую бережливость, слуга вручил ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека.

Он поспешно его распечатал и прочел следующее...

Стр. 158. После слов «Старика отнести в спальню»:

Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне, отпустил всех домашних и остался с отцом наедине. Старик хотел, казалось, говорить с ним о своих делах, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Наконец он замолчал и впал в усыпление. Сын глядел на него с глубоким унынием. Он предвидел скорое разрушение того, кому был обязан жизнью. Мысли его приняли направление грустное и суровое. Егоровна обратилась к нему с вопросом, что прикажет он готовить к обеду, но он отвечал, что есть не хочет.

Стр. 159. После слов «не радовала его сердце»:

Вид Шабашкина был ему противен, напоминая ему несправедливый поступок и дурную черту жизни.

Стр. 159. После слов «с видом ужаса и гнева»:

В сию минуту раздался голос и тяжелая походка Егоровны. «Барин, барин! Кирила Петрович приехал, Кирила Петрович у крыльца!» Егоровна вошла и ахнула: «Господи боже мой! Это что такое? что это с ним сделалось?»

Стр. 190. После слов «прошептала бедная красавица»:

Дубровский с жаром поцеловал ее руку и надел ей на палец колечко.

— В тот день,— сказал он ей,— когда, проснувшись поутру, оставите вы кольцо ваше под подушкой, в тот день я к вам явлюсь, и располагайте тогда мною и моею жизнью.

Стр. 190. После слов «продолжал Кирила Петрович»:

Наш-то учитель! Кто бы это подумал? Это Дубровский. Он ограбил в Покров день Антона Пафнутьича, застрашал и взял с него клятву молчать.

Стр. 203. Первоначально эпизод, где Троекуров допрашивает мальчика, был изложен иначе:

— Ага,— заметил Кирила Петрович,— слуга в барина, каков поп, таков и приход, а малина разве растет на дубах?

— Всяко случается,— отвечал мальчик насмешливо.

— И конечно случается, что вашу братью секут розгами в задаток кнута, слышал ли ты это?

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, прикажите ему отдать кольцо,— сказал Саша.

— Молчи, Александр,— отвечал Кирила Петрович,— не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай домой, марш за грамматику. Ты, косой, ты мне кажешься малый не промах: если ты мне скажешь, кто тебя подослал за кольцом, так я тебя не высеку, а дам еще пятак на орехи. Не то, велю Степану отодрать тебя на обе корки, понимаешь?

— Очень понимаю.

— Отвечай же, где твой барин, зачем он тебя подослал, где он?

Мальчик не отвечал.

— Добро, эй, люди, спустите-ка с него портки, разложите его, розог.

Розги явились. Мальчишку схватили, раздели и растянули на полу сарая. Мальчик молчал.

— Хочешь ли говорить? — спросил Кирила Петрович.

Мальчик не отвечал ни слова.

— Не хочешь? — Секите ж его. — Розги хлестнули.

Мальчик молчал с терпением, достойным маленького спар-танца.

— Полно,— сказал Кирила Петрович,— теперь отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Добро,— сказал Кирила Петрович,— отвести его на голу-бятню и запереть.

ПИКОВАЯ ДАМА

В бумагах Пушкина сохранились следующие черновые наброски, относящиеся к первой редакции повести:

ГЛАВА I

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — — —
От пятидесяти
На сто.
И выигрывали
И отписывали
Мелом.
Так в ненастные дни
Занимались они
Делом.

Рукописная баллада.

Года четыре тому назад собралось нас в Петербурге несколько молодых людей, связанных между собою обстоятельствами. Мы вели жизнь довольно беспорядочную. Обедали у Андрие без аппетита, пили без веселости, ездили к Софье Астафьевне побесить бедную старуху притворной разборчивостью. День убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга.

Я ненавижу etc.

Теперь позвольте мне покороче познакомить вас с Charlotte.
В одной из etc.

Отец ее был некогда купцом второй гильдии, потом аптекарем, потом директором пансиона, наконец корректором в типографии, и умер, оставя жене кое-какие долги и довольно полное собрание бабочек и насекомых. Он был человек добрый и имел много основательных сведений, которые ни к чему хорошему его

не привели. Вдова его, продав лавочнику рукописи, расплатилась с табачной лавочкою и стала кормиться с Шарлотою трудами своих рук. Герман жил на одном дворе с его вдовою, познакомился с Шарлотой, и скоро они полюбили друг друга, как только немцы могут еще любить в наше время.

Но в сей день или справедливее etc.

И когда милая немочка отдернула белую занавеску окна, Герман не явился у своего васисдаса и не приветствовал ее обычной улыбкою.

Отец его, обрусевший немец, оставил ему после себя маленький капитал, Герман оставил его в ломбарде, не касаясь и процентов, а жил одним жалованием.

Герман был твердо etc.

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Стр. 273. После слов «Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом» в рукописи следовал исключенный Пушкиным текст, из которого сохранился отрывок без начала и без конца:

Нас было за столом три человека...

...загадочный разговор моего вожатого с хозяином постоянного двора. Некоторые неблагоприятные меры и давние злоупотребления произвели возмущение в селениях яицких казаков, которые с трудом были усмирены. Получены были известия, что башкирцы тайно готовились к возмущению, и генерал объявил, что вероятно Белогорская крепость в скором времени по...

Стр. 302. После слов «и останавливался у Ивана Кузмича» — в рукописи:

Помню даже, что Марья Ивановна была недовольна мною за то, что я слишком разговорился с прекрасною гостью, и во весь день не сказала мне ни слова, и вечером ушла, со мною не простившись, а на другой день, когда подходил я к комендантскому дому, то услышал ее звонкий голосок: Марья Ивановна напевала простые и трогательные слова старинной песни:

Во беседах во веселых не засиживайся,
На хороших, на пригожих не заглядывайся.

К главе XI. Первоначальная редакция XI главы (беловой автограф, поверх которого затем были сделаны поправки, дающие последнюю, печатную редакцию) основана на теме добровольного приезда Гринева к Пугачеву, который встречает его как гостя, приехавшего искать у не-

го справедливого суда над Швабрыным. Пушкин изменил эту редакцию, несомненно, из цензурных соображений. Ввиду исключительной важности первоначальной редакции для характеристики работы Пушкина над романом, приводим ее, вместе с окончанием предшествующей X главы. Фразеологические разночтения выделены курсивом, для большего удобства изучения особенностей этой редакции.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг *странный* мысль мелькнула в голове моей: в чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

ГЛАВА XI

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
Спросил он ласково.

А. Сумароков.

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не равён час, ни за что пропадешь: и добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом, сколько у меня всего-на-все денег? «Будет с тебя,— отвечал он с довольным видом.— Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра.

— Ну, Савельич,— сказал я ему,— отдай же мне теперь половину, а остальное возьми себе. *Я еду из города на несколько дней.*

— *Куда это? — спросил он с изумлением.*

— *Куда бы ни было, не твое дело,— отвечал я с нетерпением,— делай что тебе говорят и не умничай.*

— Батюшка, Петр Андреевич! — сказал добрый дядька дрожащим голосом.— Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли уж сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько; войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерение мое было твердо принято.

— Поздно рассуждать,— отвечал я старику; — я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив. Авось

увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

— Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич. — Чтоб я тебя пустил одного! да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобою, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною, *когда дитя в дороге посреди разбойников!* Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств ее кормить. Мы приехали к городским воротам, караульные нас пропустили, и мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Я направил путь к *Бердской слободе, пристанищу Пугачева*. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише! Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди...»

Вскоре засверкали бердские огни. Я поехал прямо на них. «Куда, куда ты? — кричал Савельич, догоняя меня. — Это горят огни у разбойников. Объедем их, пока нас не увидали. Петр Андреевич — батюшка Петр Андреевич!.. не погуби! Господи владыко... пропадет мое дитя!»

Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Вдруг увидел я прямо перед собой передовой караул. Нас окликали, и человек пять мужиков, вооруженных дубинами, окружили нас. Я объявил им, что еду из Оренбурга к их начальнику. Один из них взялся меня проводить, сел верхом на башкирскую лошадь и поехал со мною в слободу. Савельич, онемев от изумления, кое-как поехал вслед за нами.

Мы перебрались через овраг и въехали в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте меня не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. *Вожатый привез меня прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. «Вот и дворец, — сказал он, слезая с лошади, — сейчас о тебе доложу».* Он вошел в избу. Савельич меня догнал. Я взглянул на него; старик

крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго, наконец вожатый воротился и сказал мне: «Ступай, наш батюшка велел тебя впустить».

Я сошел с лошади, отдал ее держать Савельичу, а сам вошел в избу, или во дворец (как называл ее мужик). Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками,— всё было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостию.— Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?» Я отвечал, что имею лично до него дело и что прошу его принять меня наедине. Пугачев обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них,— сказал мне Пугачев,— от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, щедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого роста, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубаше, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй — Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение, и я на минуту позабыл о причине, приведшей меня в пристанище бунтовщиков. Пугачев мне сам напомнил о том своим вопросом: «От кого и зачем ты ко мне послан?»

— Я приехал сам от себя,— отвечал я; — прибегаю к твоему суду. Жалуюсь на одного из твоих людей, и прошу тебя защитить сироту, которую он обижает.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, в *Белогорской крепости* у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

— Я проучу Швабрина, — сказал грозно Пугачев. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

— Прикажи слово молвить, — сказал Хлопуша хриплым голосом; — ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посади дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

— Нечего их ни жалеть, ни жаловать, — сказал старичок в голубой ленте. — Швабрина казнить не беда, а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать; а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною; мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие? — сказал он мне подмигивая. — Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

— Добро, — сказал Пугачев. — *Дело твое разберем завтра, а теперь скажи, в каком состоянии ваш город.*

— Слава богу, — отвечал я, — всё благополучно.

— Благополучно! — повторил Пугачев, — а народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что всё это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

— Ты видишь, — подхватил старичок, — что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

— Полно, Наумыч,— сказал он ему,— тебе бы всё душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь: *офицер к нам волею приехал, а ты уж и вешать его*. Разве мало крови на твоей совести?

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов.— У тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно,— отвечал Хлопуша,— и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «рваные ноздри!»

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша,— я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб тебе бородинки не вырвал.

— Господа генералы! — провозгласил важно Пугачев.— Полно вам ссориться *из безделицы*. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной; беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помирись.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом:

— Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге.

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился.

— Долг платежом красен,— сказал он, мигая и прищуриваясь.— Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?

— Она невеста моя,— отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невеста! — закричал Пугачев.— Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! *Завтра же и за невестою съездим в Белогорскую крепость*.— Потом, обращаясь к Белобородову: — Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести; но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом. И я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. *Савельич стоял у ворот, держа наших лошадей.* По распоряжению Хлопуши караульный отвел меня в приказную избу, где меня оставили с *Савельичем* взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал, наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Среди рукописей сохранился набросок *введения* к роману, писавшегося от лица автора записок:

Любезный внук мой Петруша!

Часто рассказывал я тебе некоторые происшествия моей жизни и замечал, что ты всегда слушал меня со вниманием, несмотря на то, что случалось мне, может быть, в сотый раз пересказывать одно. На некоторые вопросы я никогда тебе не отвечал, обещая со временем удовлетворить твоему любопытству. Ныне решился я исполнить мое обещание. Начиная для тебя свои записки, или лучше искреннюю исповедь, с полным уверением, что признания мои послужат к пользе твоей. Ты знаешь, что, несмотря на твои проказы, я всё полагаю, что в тебе прок будет, и главным тому доказательством почитаю сходство твоей молодости с моею. Конечно, твой батюшка никогда не причинял мне таких огорчений, какие терпели от тебя твои родители. Он всегда вел себя порядочно и добронравно, и всего бы лучше было, если бы ты на него походил. Но ты уродился не в него, а в дедушку, и по-моему это еще не беда. Ты увидишь, что, завлеченный пылкостью моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятельствах, я выплыл наконец и, слава богу, дожил до старости, заслужив и почтение моих ближних и добрых знакомых. То же пророчу и тебе, любезный Петруша, если сохранишь в сердце твоём два прекрасные качества, мною в тебе замеченные: доброту и благородство.

5 августа 1833. Черная речка.

Сохранился также следующий набросок предисловия:

Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю.

Читателю легко будет распознать нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы романические. А для нас это было бы излишним трудом. Мы решились написать сие предисловие с совсем другим намерением.

Несколько лет тому назад в одном из наших альманахов напечатан был

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ...

Стр. 377. Вместо «Мне хотелось бы... ..друг для друга» — в черновой рукописи:

— Мне хотелось бы влюбиться в П.,— сказала Вольская.

— Какой вздор,— возразил Минский.— П. есть в свете такое же дурное подражание, как в своих стихах, лорду Байрону. Что вам кажется в нем оригинальным — ничтожно, как довольно посредственное подражание. Но вы ничего не читаете, а потому легко вас и ослепить затверженным

Стр. 379. После слов «не только иностранец, но и свой» первоначально следовало:

Между тем общество наше скучно для тех, которые не танцуют. Все чувствуют необходимость разговора общего, но где его взять, и кто захочет выступить первый на сцену? Кто-то предлагал нанимать на вечер разговорщика, как нанимают на маленькие балы этого бедного фортепьяниста.

НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ ПЛОЩАДИ...

Стр. 382. После слов «но еще прекрасная» в белой рукописи зачеркнуто:

Изысканность и свежесть ее платья и головного убора противоречили ее томному и болезненному виду. Черные глаза, впалые и окруженные синевой, оживляли тонкие и правильные черты ее бледного лица.

Стр. 382. После слов «Князь Яков давно умер» в черновой рукописи следовало:

Это брат его князь Павел, мерзавец отъявленный.

— А, знаю, тот, который тому лет пятнадцать получил пощечину и не дрался.

— Совсем нет, его просто побили палками.

— Не он ли женат, кажется, на Катерине Вронской?

— Ничуть нет: на дочери парикмахера, нажившего миллионы. Ужасная дура.

В белой рукописи это место было сильно сокращено:

— А, тот, который получил когда-то пощечину и не дрался?

— Совсем нет, его били палкою... Всё это шуточки его жены; я не имел счастья ей понравиться.

Затем и это было зачеркнуто.

Стр. 383. После слов «Наглая дура» в белом автографе зачеркнуто:

— Какие тонкие эпиграммы!

— Я за остроумием, слава богу, не гоняюсь.

— Признайся, Валериан: пренебрежение людей, которых ты презираешь, тебе гораздо менее досадно, нежели обманутая надежда увидеть на бале какую-нибудь новую красавицу...

ОТРЫВОК

Сохранился набросок, который Пушкин предполагал ввести в текст «отрывка»:

Но главною неприятностию почитал мой приятель приписывание множества чужих сочинений, как-то: эпитафия попу покойного Курганова, четверостишие о женитьбе, в коем так остроумно сказано, что коли хочешь быть умен, учись, а коль хочешь быть в аду, женись, стихи на брак, достойные пера Ивана Семеновича Баркова, начитавшегося Ламартина. Беспристрастные наши журналисты, которые обыкновенно не умеют отличить стихов Нахимова от стихов Баркова, укоряли его в безнравственности, отдавая полную справедливость их поэтическому достоинству и остроте.

МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ...

Сохранились черновые наброски к стихотворной части повести:

Покорны ей земные боги,
Полны чудес ее чертоги,
В златых кадилах вечно там
Сирийский дышит фимиами;
Звучат тимпаны, флейты, лиры,
Блистают дивные кумиры,
Все земли, волны всех морей
Как дань несут наряды ей;
Она беспечно их меняет,
То в тирском золоте сияет,

То избирает фивских жен
 Тяжелый пурпурный хитон,
 То звероловицей Дианой,
 Как идол стройной и румяной,
 В садах является она,
 И с ног и с плеч обнажена;
 Порой вдоль Нила
 Под сенью рдяного ветрила
 Опа в триреме золотой
 Плышет Кипридою; порой
 Она, томясь тоскою, бродит
 В своих садах; она заходит
 В покои тайные дворца,
 Где ключ угрюмого скопца
 Хранит невольников прекрасных
 И юношей стыдливо страстных

 И кто еще, о боги, мог
 Переступить ее порог,
 Войти в волшебные палаты
 И тайнства ее ночей
 Уразуметь в душе своей

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

Печатая «Путешествие в Арзрум», Пушкин отбросил начало предисловия, которое в белой рукописи читается так:

Сии записки, будучи занимательны только для весьма немногих, никогда не были бы напечатаны, если б к тому не побудила меня особая причина. Прошу позволение объяснить ее и для того войти в подробности очень неважные, ибо они касаются одного меня.

В 1829 году отправился я на Кавказские воды. В таком близком расстоянии от Тифлиса мне захотелось туда съездить для свидания с братом и с некоторыми из моих приятелей. Приехав в Тифлис, я уже никого из них не нашел. Армия выступила в поход. Желание видеть войну и сторону мало известную побудило меня просить у е. с. графа Паскевича-Эриванского позволение приехать в Армию. Таким образом видел я блистательный поход, увенчанный взятием Арзрума.

Журналисты как-то о том проводили. В политической газете побранили меня не на шутку за то, что по возвращении моем

напечатал я стихотворение, не относившееся ко взятию Арзума.¹ Зная, что публика столь же мало заботится о моих путешествиях, как и о требованиях рецензентов, я не стал оправдываться. Но обвинение важнейшее заставляет меня прервать молчание.²

Стр. 435. В путевых записках 1829 г., положенных в основу «Путешествия в Арзрум», вместо «Наконец увидел я... ..путешествовать вместе»:

Смотря на маневры ямщиков, я со скуки пародировал американца Купера в его описаниях морских эволюций. Наконец воронежские степи оживили мое путешествие. Я свободно показился по зеленой равнине и благополучно прибыл в Новочеркасск, где нашел графа Вл. Пушкина, также едущего в Тифлис. Я сердечно ему обрадовался, и мы поехали вместе. Он едет в огромной бричке. Это род укрепленного местечка; мы ее прозвали *Оградною*. В северной ее части хранятся вина и съестные припасы, в южной — книги, мундиры, шляпы и проч. и проч. С западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями и проч. На каждой станции выгружается часть северных запасов, и таким образом мы проводим время как нельзя лучше.

Стр. 435—436. Эпизод с посещением калмыцкой кибитки в путевых записках читается в следующей редакции:

Кочующие кибитки полудиких племен начинают появляться, оживляя необозримую однообразность степи. Разные народы разные каши варят. Калмыки располагаются около станционных

¹ В другой рукописи после этого следует: «Мы надеялись, писал неизвестный рецензент, и проч. Один из московских журналов также пороптал на *песунов*, не воспевавших успехи нашего оружия.

Я, конечно, не был обязан писать по заказу г.г. журналистов. К тому же частная жизнь писателя, как и всякого гражданина, не подлежит обнародованию. Нельзя было бы, например, напечатать в газетах: Мы надеялись, что г. прапорщик *такой-то* возвратится из похода с Георгиевским крестом; вместо того вывез он из Молдавии одну лихорадку. Явно, что цензура этого не пропустила б»,

В черновике это место читается: «По возвращении моем напечатал я одну из глав „Евгения Онегина“, писанную года три прежде. В „Северной пчеле“ неизвестный Аристарх побранил меня не на шутку, ибо, говорил он, мы ожидали не „Евгения Онегина“, а поэмы на взятие Арзума. Почтенный „Вестник Европы“ также пороптал на *песунов*, которые не пропели успехи нашего оружия».

² Вместо последних двух предложений (со слова «Зная») в черновике написано: «Однако ж я не отвечал, не желая доставить Гостиному двору приятное зрелище *авторской травли* и зная, что публика столь же мало заботится о причине моих путешествий, как и о строгих требованиях моих рецензентов».

хат. Татары пасут своих вельблюдов, и мы дружески навещаем наших дальних соотечественников.

На днях, покамест запрагали мне лошадей, пошел я к калмыцким кибиткам (т. е. круглому плетню, крытому шестами, обтянутому белым войлоком, с отверстием вверху). У кибитки паслись уродливые и косматые кони, знакомые нам по верному карандашу Орловского. В кибитке я нашел целое калмыцкое семейство; котел варился посредине, и дым выходил в верхнее отверстие. Молодая калмычка, собой очень недурная, шила, курия табак. Лицо смуглое, темно-румяное. Багровые губки, зубы жемчужные. Замечу, что порода калмыков начинает изменяться, и первобытные черты их лица мало-помалу исчезают. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» — «***» — «Сколько тебе лет?» — «Десять и восемь». — «Что ты шьешь?» — «Портка». — «Кому?» — «Себя». — «Поцелуй меня». — «Неможна, стыдно». Голос ее был чрезвычайно приятен. Она подала мне свою трубку и стала завтракать со всем своим семейством. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Не думаю, чтобы кухня какого б то ни было народу могла произвести что-нибудь таже. Она предложила мне свой коврик, и я не имел силы отказаться. Я хлебнул, стараясь не перевести духа. Я просил заесть чем-нибудь, мне подали кусочек сушеной кобылятины. И я с большим удовольствием проглотил его. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Но моя гордая красавица ударила меня по голове мусийским орудием, подобным нашей балалайке. Калмыцкая любезность мне надоела, я выбрался из кибитки и поехал далее. Вот к ней послание, которое, вероятно, никогда до нее не дойдет...

Далее Пушкин предполагал привести текст своего стихотворения «Калмычке».

Стр. 438. После слов «саволюбивыми путешественниками» в черновике:

Суета сует. Граф Пушкин последовал за мною. Он пачертал на кирпиче имя ему любезное, имя своей жены — счастливец — а я свое.

Любите самого себя,
Любозный, милый мой читатель.

Стр. 439. «Что делать с таковым народом?» Далее в путевых записках иная редакция рассуждения о черкесах:

Можно попробовать влияние роскоши; новые потребности мало-помалу сблизят с нами черкесов: самовар был бы важным нововведением. Должно надеяться, что с приобретением части

восточного берега Черного моря черкесы, лишенные торговли с Турцией... Есть, наконец, средство более сильное, более правдивое, более сообразное с просвещением нашего века, но этим средством Россия доныне небрежет: проповедание Евангелия. Терпимость сама по себе вещь очень хорошая, но разве апостольство с нею несовместно? Разве истина дана для того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены народами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений, и никто еще из нас не подумал препоясаться и идти с миром и крестом к бедным братьям, доныне лишенным света истинного. Легче для нашей холодной лени в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты. Нам тяжело странствовать между ними, подвергаясь трудам, опасностям по примеру древних апостолов и новейших римско-католических миссионеров.

Лицемеры! Так ли исполняете долг христианства? Христиане ли вы? С сокрушением раскаяния должны вы потупить голову и безмолвствовать... Кто из вас, муж веры и смирения, уподобился святым старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии и Америки, без обуви, в рубищах, часто без крова, без пищи, но оживленным теплым усердием и смирennemудрием? Какая награда их ожидает? Обращение престарелого рыбака или странствующего семейства диких, нужда, голод, иногда мученическая смерть. Мы умеем спокойно блистать велеречием, упиваться похвалами слушателей. Мы читаем книги и важно находим в суетных произведениях выражения предосудительные.

Предвижу улыбку на многих устах. Многие, сближая мои калмыцкие нежности с черкесским негодованием, подумают, что не всякий и не везде имеет право говорить языком высшей истины. Я не такого мнения. Истина, как добро Мольера, там и берется, где попадется.

Стр. 472. В черновом тексте строфа «Постимся мы...» читается:

Постимся мы: струею трезвой
Одни фонтаны нас поят;
Толпой неистовой и резвой
Джигиты наши в бой летят.
Мы к женам как орлы ревнивы,
Харемы наши молчаливы
Непроницаемы стоят.

Далее в рукописи зачеркнуто четверостишие:

В нас ум владеет плотью дикой,
А покорен Корану ум,

И потому пророк великой
Хранит как око свой Арзрум.

Затем следуют стихи, также не вошедшие в окончательную редакцию:

Алла велик!

К нам из Стамбула

Пришел гонимый янычар.
Тогда нас буря долу гнула,
И пал неслыханный удар.
От Рущука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи:
Треща в объятиях пожаров,
Валились дома янычаров,
Окровавленные зубцы
Везде торчали, угли тлели,
На кольях скорчась мертвецы
Окоченелые чернели.
Алла велик. Тогда султан
Был духом гнева обуян.

ОТРЫВОК ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК.
НЕ ВОШЕДШИЙ В «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ»

Мы ехали из Арзрума в Тифлис. Тридцать человек линейских казаков нас конвоировали, возвращающихся на свою родину. Перед нами показался линейский полк, идущий им на смену. Казаки узнали своих земляков и поскакали к ним навстречу, приветствуя их радостными выстрелами из ружей и пистолетов. Обе толпы съехались и обнялись на конях при свисте пуль и в облаках дыма и пыли. Обменявшись известиями, они расстались и догнали нас с новыми прощальными выстрелами.

— Какие вести? — спросил я у прискакавшего ко мне урядника, — всё ли дома благополучно?

— Слава богу, — отвечал он, — старики мои живы; жена здорова.

— А давно ли ты с ними расстался?

— Да вот уже три года, хоть по положению надлежало бы служить только год...

— А скажи, — прервал его молодой артиллерийский офицер, — не родила ли у тебя жена во время отсутствия?

— Ребята говорят, что нет, — отвечал веселый урядник.

— А не б—ла ли без тебя?
— Помаленьку, слышно, б—ла.
— Что ж, побьешь ты ее за это?
— А зачем ее бить? Разве я безгрешен?
— Справедливо; а у тебя, брат,—спросил я другого казака,—так ли честна хозяйка, как у урядника?
— Моя родила,—отвечал он, стараясь скрыть свою досаду.
— А кого бог дал?
— Сына.
— Что ж, брат, побьешь ее?
— Да посмотрю; коли на зиму сена припасла, так и прощу, коли нет, так побью.

— И дело,—подхватил товарищ,—побьешь, да и будешь горевать, как старик Черкасов; смолоду был он дюж и горяч, случился с ним тот же грех, как и с тобой, поколотил он хозяйку, так что она после того тридцать лет жила калекой. С сыном его случись та же беда, и тот было стал колотить молодицу, а старик-то ему: «Слушай, Иван, оставь ее, посмотри-ка на мать, и я смолоду поколотил ее за то же, да и жизни не рад». Так и ты,—продолжал урядник,—жену-то прости, а выб—ка посылай чаще по дождю.

— Ладно, ладно, посмотрим,—отвечал казак.

— А в самом деле,—спросил я,—что ты сделаешь с выб—ком?

— Да что с ним делать? Корми да отвечай за него, как за родного.

— Сердит,—шеннул мне урядник,—теперь жена не смей и показаться ему: прибьет до смерти.

Это заставило меня размышлять о простоте казачьих нравов.

— Каких лет у вас женят? —спросил я.

— Да лет четырнадцати,—отвечал урядник.

— Слишком рано, муж не сладит с женою.

— Свекор, если добр, так поможет. Вот у нас старик Суслов женил сына да и сделал себе внука.

ПРИМЕЧАНИЯ



АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Настоящий исторический роман Пушкина в рукописи не имеет названия. Печатаая отрывки, Пушкин озаглавливал их: «Главы из исторического романа». Название дано редакторами при первой публикации романа в 1837 г., после смерти Пушкина.

Время работы над романом определяется датой перед первой главой романа — 31 июля 1827 г. (в с. Михайловском) и среди набросков третьей главы — 10 августа. Некоторые сведения о замысле дает запись в дневнике А. Вульфа от 16 сентября 1827 г.:

«Показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил. Главная завязка этого романа будет — как Пушкин говорит — неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то посажена в монастырь. Вот историческая основа этого сочинения».

При жизни Пушкина было напечатано два отрывка из романа. Один под названием «IV глава из исторического романа» в альманахе «Северные цветы» на 1829 год (вышел в свет в последних числах декабря 1828 г.) от слов «День был праздничный» (стр. 34) до «не поблагодарив хозяина за хлеб-соль» (стр. 40). Другой отрывок — из главы III от слов «В большой комнате» (стр. 29) до конца главы — появился в «Литературной газете» 1830, № 13, 1 марта, под названием «Ассамблея при Петре I-м» (со сноской: «См. Голикова и Русскую старину»). Оба отрывка вместе напечатаны в книге «Повести, изданные Александром Пушкиным» 1834, под общим названием: «Две главы из исторического романа», причем второй отрывок (из главы IV) озаглавлен: «Обед у русского боярина». Полностью роман по белой рукописи был напечатан в журнале «Современник», том VI, 1837 г.

Эпиграфы не вписаны Пушкиным на свои места, а все выписаны на начальном листке рукописи без указания, к какой главе каждый эпиграф относится. Среди выписанных эпиграфов имеется еще один — из поэмы Баратынского «Пир»:

Уж стол накрыт, уж он рядами
Несчетных блюд отягощен.

Идея литературной обработки жизнеописания Ганнибала давно возникала у Пушкина. В начале 1825 г. Пушкин писал своему

брату: «Присоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его аранская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы». Данные о жизни своего прадеда (сын Абрама Ганнибала, Осип, был отцом Надежды Осиповны, матери Пушкина) поэт получил, видимо, от его сына Петра, уже в глубокой старости жившего рядом с Михайловским в своем именин Петровском. Пушкин писал Осиповой 11 августа 1825 г.: «Я рассчитываю еще повидать моего двоюродного дедушку, — старого арапа, который, как я полагаю, не сегодня-завтра умрет, а между тем мне необходимо раздобыть от него записки, касающиеся моего прадеда». По семейным материалам Пушкин изложил биографию Абрама Ганнибала в примечании к «Евгению Онегину» в первом издании первой главы (см. т. V, стр. 430) и в неоконченной биографии, писанной вероятно, в 1834 г. (см. т. VIII, «Начало автобиографии»).

Основным историческим источником романа явилась биография Абрама Ганнибала, полученная Пушкиным, вероятно, от Петра Ганнибала, писанная на немецком языке. В биографии этой историческая правда не всегда соблюдена и жизнь Ганнибала во многих ее эпизодах приукрашена. В романе Пушкин невольно воспроизвел некоторые эпизоды по этой биографии, вопреки подлинным фактам. Впрочем, он и не рассматривал свой роман как точное изложение жизни прадеда и сознательно изменил многие обстоятельства. Главное изменение заключается в том, что несчастная женитьба Ганнибала, которая является сюжетным узлом романа, относится ко времени царствования не Петра, а Анны, и женился Ганнибал не на русской боярышне, а на гречанке Евдокии Диопер, дочери моряка.

Стр. 7. *Эпиграф* ко всему роману — из стихотворной повести Н. Языкова «Ала» (1824).

Стр. 7. *Эпиграф* — из шуточного стихотворения И. Дмитриева «Путешествие NN. в Париж и Лондон», написанного от лица В. Л. Пушкина. См. заметку Пушкина «Путешествие В. Л. П.» (т. VII).

Стр. 7. «Он обучался в парижском военном училище». — Ошибка Пушкина. Парижское военное училище основано только в 1751 г. Ганнибал учился в военном училище в Лафере, под руководством профессора Белидора. Иностранцев принимали только в эту военную школу. Ганнибал пробыл в Лафере до конца 1722 г.

Стр. 7. *Испанская война*. Так как Испания не соблюдала условия Утрехтского мира (1713), то Англия и Франция начали военные действия против Испании, продолжавшиеся с апреля 1719 г. до января 1720 г., когда Испания принуждена была принять предложенные ей условия.

Стр. 7. *Герцог Орлеанский* — Филипп, регент Франции после смерти Людовика XIV до совершеннолетия Людовика XV (1715—1723).

Стр. 8. *Пале-Рояль* — дворец герцогов Орлеанских.

Стр. 8. *Law* — Джон Лоу, финансовый деятель, основатель Индийской компании: акции, выпущенные этой компанией, сперва имели большой успех, и в результате спекуляции этими акциями многие обогатились. Но так как акции ничем не были обеспечены и не приносили дохода, скоро доверие к ним пошат-

нулось, цена акций стала быстро падать, и в середине 1820 г. наступило полное банкротство. Многие из вложивших свои капиталы в акции Индийской компании были разорены.

Стр. 8. *Герцог Ришелье* — Арман, маршал Франции (1696—1788), известный легкомысленным поведением. Упоминается в «Пиковой даме».

Стр. 8. *Алкивиад* — имя афинского военачальника V века до н. э.; вошло в поговорку для обозначения человека, обладающего блестящими способностями, но порочного и безнравственного.

Стр. 8. «*Temps fortuné, marqué par la licence...*» — цитата из поэмы Вольтера «Орлеанская девственница» (песнь XIII, видение монаха Бонифу).

Стр. 8. *Le Nègre du czar* (царский негр). Пушкин был убежден, что Абрам Ганнибал был негром. В действительности он был абхиссинец, т. е. принадлежал к племени, родственному арабам, хотя и с некоторой примесью негритянской крови.

Стр. 8. *Аруэт* — настоящее имя Вольтера. Он переименовал его в 1718 г.

Стр. 8. *Шолье* (1639—1720), аббат, французский поэт; несмотря на духовное звание, проповедовал свободомыслие и наслаждение жизнью.

Стр. 13. *Эпиграф* к главе II — из оды Г. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).

Стр. 18. *Эпиграф* — неточная цитата из трагедии В. Кюхельбекера «Армяне», слова Протогена из третьего действия. Стихи эти приведены Кюхельбекером в его «Отрывке из путешествия по Германии», напечатанном в альманахе «Мнемозина» в 1824 г. В «Мнемозине» вместо третьего стиха напечатано:

Мы любим и чрез час мы ненавидим;
Что славим днесь, завтра покидаем.

Стр. 18. *Головин* — Иван Михайлович (ум. в 1738 году), начальник галерного флота. На дочери Головина был женат прадед Пушкина по отцовской линии.

Стр. 18. *Гавриил Бужинский* — ученый монах (1680—1731), с 1721 года ведал типографиями; переводчик.

Стр. 18. *Копиевич* — Илья Федорович, переводчик; организовал русскую типографию в Амстердаме. Пушкин допустил здесь анахронизм: когда Ганнибал вернулся в Россию (1723 г.), Копиевич уже давно не было в живых; он умер в 1706 г.

Стр. 18. *Корсаков* — реальное лицо, Воин Яковлевич Римский-Корсаков (1702—1757). Он был послан во Францию для изучения военно-морского дела в 1716 г. и вернулся в июне 1724 г.

Стр. 20. «...башмаки с красными каблуками...» — Красные каблуки в XVIII веке считались отличительной приметой щегольского костюма; позднее слова «красные каблуки» (*talons rouges*) вошли в поговорку, как обозначение «петиметров» — молодых щеголей, озабоченных одними нарядами и светскими успехами.

Стр. 21. и след. Описание ассамблеи, по свидетельству самого Пушкина, основано на сочинении И. Голикова «Деяния Петра Великого» и сборнике «Русская старина» А. Корниловича. Имя Корниловича, как осужденного декабриста, Пушкин не мог назвать в печати. Основным источником описания ассамблеи является статья Корниловича «О первых балах в России».

Стр. 23. «Послушай, Корсаков...» — Этот эпизод основан на «историческом анекдоте», приведенном Голиковым.

Стр. 28. *Поход 1701 года* — движение шведской армии в Курляндию и Литву после сражения под Нарвой; осенью этого года русская армия под командованием Шереметева одержала в Лифляндии несколько побед над шведами, причем было взято много пленных.

Стр. 30. *Эпиграф* — не совсем точная цитата из комической оперы А. Аблесимова «Мельник, колдун, обманщик и сват» (1779), действие I, явл. 4.

Стр. 34. «...родился под 15 градусом...» — В рукописи цифра 15 отсутствует и оставлен в этом месте пробел. Абрам (Ибрагим) Ганнибал родился в Абиссинии на берегу реки Мареб.

РОМАН В ПИСЬМАХ

Этот неоконченный роман сохранился в черновой рукописи (переписана набело только половина первого письма). Название дано ему редакторами сочинений Пушкина. Время написания определяется 1829 годом, которым датировано 5-е письмо. Так как черновик находится в тетради среди набросков «Путешествия Онегина», писанного, по свидетельству Пушкина, в селе Павловском, можно предполагать, что роман писался во второй половине октября или в первых числах ноября, когда Пушкин гостил в имении П. И. Вульфа в Тверской губ. Перед первым письмом в черновике стоит дата 21 октября и под ним помета: с. Павловское; перед третьим письмом дата 1 ноября. Эти даты относятся, вероятнее всего, не к тексту воображаемых писем, а ко времени и месту работы над романом.

Первые роман был опубликован с большими пропусками в 1857 г. П. В. Анненковым в седьмом томе Собрания сочинений Пушкина под названием: «Отрывки из романа в письмах».

Стр. 42. «Уединение мне нравится на самом деле, как в элегиях твоего Ламартина». — Два сборника стихов Ламартина «Поэтические размышления» (1820) и «Новые поэтические размышления» (1823) вызвали множество переводов, и некоторое время Ламартин пользовался модным, но несколько легковесным успехом: он стал любимцем в дамских салонах.

Стр. 43. *Кларисса Гарлов* — героиня одноименного английского романа С. Ричардсона, где изображена трагическая история добродетельной девушки, подвергавшейся коварным преследованиям развратного молодого человека Ловласа.

Стр. 44. *Адольф* — герой романа Бенжамена Констана «Адольф» (1816). См. т. VII, «О переводе романа Б. Констана „Адольф“».

Стр. 44. *Английская набережная* — набережная по левому берегу Невы вниз от памятника Петра I до Ново-Адмиралтейского канала (ныне Набережная Красного флота); являлась одним из наиболее аристократических мест Петербурга, где селились наиболее состоятельные представители высшего светского общества.

Стр. 46. *Белькур* и *Шарлотта* — здесь как типичные имена персонажей в романах XVIII века.

Стр. 46. «...неблагодарному Р*». Буква Р здесь и на стр. 49 («Р. объявил однажды...»), по-видимому, принадлежит латинскому алфавиту (П) и, вероятно, является сокращением собственного имени Пушкина.

Стр. 47. «...критики Вестника Европы...» — Имеются в виду статьи Н. Надеждина в «Вестнике Европы» в 1829 г. В этих статьях подверглись глумлению поэмы Пушкина «Полтава» и «Граф Нулин». См. возражения Пушкина в т. VII («Опровержение на критики»).

Стр. 49. *Монастырка*. — Так называли воспитанниц Смольного института, привилегированного женского закрытого учебного заведения. Институт был основан в 1764 г. и помещен в здании ликвидированного Смольного монастыря.

Стр. 49. «Петербург прихожая». — В «Отрывках из писем, мыслей и замечаниях» (т. VII) Пушкин писал: «Москва девичья, а Петербург прихожая».

Стр. 50. «Гражданину Минину и князю Пожарскому». — По поводу этой надписи см. заметку Пушкина «Примечание о памятнике князю Пожарскому и гражданину Минину» (т. VII).

Стр. 50. *Лабрюер* (1645—1696) — французский моралист, автор «Характеров». Данная фраза представляет собой литературную мистификацию: у Лабрюера ее нет.

Стр. 51. «А потому, что патриотки» — цитата из «Горя от ума» Грибоедова (действие 2, явл. 5, слова Фамусова).

Стр. 51. «Un homme sans peur et sans reproche» — девиз французского феодального рода Баярдов.

Стр. 51. «Qui n'est ni roi, ni duc, ni comte aussi» — девиз феодального французского рода Куси. Точнее:

Je ne suis roi, ne duc, ne comte aussi,
Je suis le sire de Coucy.

Стр. 51. *Хрипун 1807 г.* — Слово «хрипун» в начале XIX века было употребительно в офицерском жаргоне. Вяземский приписывал изобретение этого слова командиру Конногвардейского полка А. И. Раевскому и писал: «Слово *хрип* также его производства; оно означало какое-то хвастовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственной хрипкостью голоса». Год 1807, когда это слово было в ходу, был годом войны с Наполеоном в Восточной Пруссии; поход закончился Тильзитским миром.

Стр. 52. «...возвратилась из Рима, влюбленная в папу». — В русском великосветском обществе в 20-е годы сильно было увлечение католицизмом. Ревностной католичкой была Зинаида Волконская, окончательно переселившаяся в Рим в 1829 г.

Стр. 52. «...рассуждения принадлежат к 1818 году». — Год 1818 особенно знаменателен в истории русской общественной мысли: это год основания Союза Благоденствия. Речь Александра I при открытии Польского сейма в марте с обещанием ввести конституционный строй в России позволила открыто обсуждение возможности политических реформ. В том же году появилась книга Н. И. Тургенева «Опыт теории налогов», обратившая на себя общее внимание и способствовавшая распространению идей политической экономии.

ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА

«Повести Белкина» — первые доведенные Пушкиным до конца и напечатанные им прозаические повести. Весь цикл, по-видимому, был задуман раньше 1830 года (возможно, осенью 1829 г. в с. Павловском), но целиком осуществлен только осенью 1830 г. в с. Болдине. Повести были написаны в следующем порядке: «Гробовщик» — 9 сентября, «Станционный смотритель» — 14 сентября, «Барышня-крестьянка» — 20 сентября, «Выстрел» — 14 октября, «Метель» — 20 октября. Судя по сохранившемуся списку, в таком именно порядке Пушкин и собирался печатать свои повести, но затем две последние передвинул на первое место.

Цикл «Повестей Белкина» первоначально задуман был в другом составе. Сохранился список:

Гробовщик
Барышня-крестьянка
Станционный смотритель

Самоубийца
Записки пожилого

Около этого списка записано:

А вот то будет, что и нас не будет.

Пословица Святогорского Неумена

Цикл «Повестей Белкина» внутренне объединен с «Историей села Горюхина», задуманной одновременно, но оставшейся незавершенной. В частности, тесно связаны первая часть «Истории» и предисловие «От издателя».

Пушкин подготовил к печати «Повести Белкина» летом 1831 г. в Царском Селе. Они вышли в свет отдельной книжкой в конце октября 1831 г. под заголовком: «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.». Вторично при жизни Пушкина напечатаны в 1834 г. в сборнике прозаических произведений Пушкина («Повести, изданные Александром Пушкиным»), почти без всяких изменений сравнительно с первым изданием.

Стр. 54. *Эпиграф* — из комедии Фонвизина «Недоросль», действии 4, явл. 8.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Предисловие, содержащее биографию воображаемого автора «Повестей», первоначально набросано еще в 1829 г., осенью, в с. Павловском, в те же дни, когда Пушкин писал «Роман в письмах». Эта первая редакция осталась незаконченной. Черновая редакция, близкая к окончательной, написана в Болдине 14 сентября 1830 г., одновременно с окончанием «Станционного смотрителя».

ВЫСТРЕЛ

Повесть первоначально состояла из одной первой главы. Закончив ее 12 октября 1830 г., Пушкин приписал: «Окончание потеряно», тем самым как бы отказавшись от намерения продол-

жать рассказ. В таком виде повесть носила автобиографический характер: она содержала описание собственной дуэли Пушкина в Кишиневе (июнь 1822 г.) с офицером Zubовым. Об этой дуэли рассказывают: «На поединок с Zubовым Пушкин явился с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял. Zubов стрелял первый и не попал». Пушкин ушел не стреляя, но и не примирившись с Zubовым. Через два дня, 14 октября, Пушкин приписал к первой главе вторую. Печатаемая повесть, Пушкин не внес в текст никаких существенных изменений.

Стр. 58. *Первый эпиграф* — из поэмы Баратынского «Бал» (1828). *Второй эпиграф* — из повести А. Бестужева-Марлинского «Вечер на бивуаке» (1822). Первоначально Пушкин предполагал к «Выстрелу» дать эпиграф из «Евгения Онегина»: «Теперь сходиться» (гл. 6, строфа 30). Ср. письмо Плетневу около 15 августа 1831 г.

Стр. 62. *Бурцов* — Александр Петрович (ум. в 1813 г.), гусар, знаменитый в свое время гуляка; воспет Денисом Давыдовым в трех его стихотворениях 1804 г.

Стр. 65. «Уединение было сноснее». — В первом издании далее следовало: «Наконец решился я лечь спать как можно ранее, а обедать как можно позже; таким образом укротил я вечер и прибавил долготы дней, и обретох, яко се добро есть». Не исключена возможность, что слова эти, пародирующие библейский стиль, устранены цензурой.

Стр. 69. *Сражение под Скулянами* — 17 июня 1821 г.; см. «Кирджали», настоящий том, стр. 239.

МЕТЕЛЬ

Сохранился план повести, не вполне совпадающий с окончательной обработкой. План этот писан одновременно со стихотворением «Моя родословная», датированным 16 октября 1830 г. Следовательно, он только на три дня предшествует завершению повести (19—20 октября.) Вот этот план:

Метель. Помещик и помещица, дочь их, бедный помещик.

Сватается, отказ. Увозит ее. Метель. Едет мимо, оставивается. Барышня больна. Он едет с отчаяния в армию. Убит. Мать и отец умирают. Она помещица. За нею сватаются. Она мнется. Полковник приезжает. Объяснение.

Стр. 70. *Эпиграф* — из баллады В. Жуковского «Светлана» (1813).

Стр. 70. «...в эпоху нам достопамятную». — В рукописи было: «в эпоху, столь живо описанную Ф. Н. Глинкою, перед кампаниею». Пушкин имел в виду «Письма русского офицера».

Стр. 76. *Артемиза* — легендарная царица Галикарнаса (в Малой Азии), неутешная вдова Мавзола, в память которого она соорудила грандиозную усыпальницу, одно из семи чудес мира (отсюда название «мавзолее»).

Стр. 76. «Vive Henri-Quatre» — куплеты из комедии Колло «Выезд на охоту Генриха IV» (1774). Эти куплеты были чрезвычайно популярны во Франции в первые годы Реставрации по

окончании войны с Наполеоном, так как в них прославлялся родоначальник королевского дома Бурбонов.

Стр. 77. «...арии из Жюконда». — «Жюкопд, или Искатель приключений» — комическая опера Н. Изоара, шедшая с успехом в Париже в 1814 г.

Стр. 77. «И в воздух чепчики бросали» — цитата из «Горя от ума», действие 2, явл. 5 (слова Чацкого).

Стр. 77. «Se atop non è, che dunque?..» — Стих из 88-го сонета Патрарки (цикл «При жизни Лауры»).

Стр. 79. «...первое письмо St.-Preux». — Из романа в письмах Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Имеются в виду слова: «Между тем я вас вижу ежедневно и замечаю, что вы, сами того не ведая, невинно обостряете мои страдания, о которых не можете сожалеть и которых не должны знать».

ГРОБОВЩИК

Прототипом главного лица этой повести Пушкин избрал гробовщика Адриана, жившего около дома Гончаровых в Москве. См. письмо Н. Н. Гончаровой из Болдина от 4 ноября 1830 г. (т. X). Избрав для повести живое лицо, Пушкин очень точен и в топографии повести. Гончаровы жили на Никитской (ныне ул. Герцена, д. 50). Здесь и происходят все события. Недалеко отсюда и церковь Вознесения, упоминаемая в повести (у Никитских ворот). Отсюда около пяти километров до Басманной и площади Разгуляя.

Стр. 81. *Эпиграф* — из стихотворения Державина «Водопад» (1794).

Стр. 82. *Шекспир и Вальтер Скотт*. — Шекспиром гробовщики изображены в трагедии «Гамлет» (действие 5), а В. Скоттом в романе «Ламермурская невеста» (глава 16).

Стр. 82. *Бригадир* — военный чин 5-го класса, соответствовавший гражданскому чину статского советника, выше полковника и ниже генерал-майора. Упразднен в царствование Павла I, — ко времени действия настоящей повести (1817) были только отставные бригадиры.

Стр. 84. *Почталион Погорельского* — «отставной почталион Онуфрич» из повести «Лафертовская маковница» (1825, вошла в цикл «Двойник», вечер пятый): «Онуфрич, будучи еще молодым человеком, лет двадцать прослужил в поле и дослужился до ефрейторского чина; потом столько же лет верою и правдою продолжал службу в Московском почтамте».

Стр. 84. «...с секирой и в броне сермяжной» — стих из сказки А. Е. Измайлова «Дура Пахомовна».

Стр. 85. «Казалось в красненьком сафьянном переплете» — измененный стих из комедии Я. Княжнина «Хвастун» (1786), действие 3, явл. 6, слова Верхолета. У Княжнина:

Лицо широкое его как уложенъе
Одето в красненький сафьянный переплет.

Стр. 87. *Сержант гвардии*. — Сержант — унтер-офицерский чин в XVIII веке. Чин этот уничтожен в 1798 г.

Первоначальный план повести сохранился среди страниц рукописи «Гробовщика». План этот не во всем соответствует окончательному тексту.

Рассуждение о смотрителях. Вообще люди несчастные и добрые. Приятель мой смотритель вдовый. Дочь. Тракт сей уничтожен. Недавно поехал я по нем. Дочери не нашел. История дочери. Любовь к ней писаря. Писарь за нею в Петербург. Видит ее на гулянии. Возвратясь, находит отца мертвого. Могила за околицей. Еду прочь. Писарь умер. Ямщик мне рассказывает о дочери.

Повесть датирована 13 сентября, но на другой день Пушкин вернулся к ней, кое-что поправил и вставил новый эпизод — сцену, в которой молодой человек похищает брошенные смотрителем ассигнации (стр. 95). После этого он исправил дату окончания на 14 число.

Стр. 88. *Эпиграф* — из стихотворения П. А. Вяземского «Станция». У Вяземского:

Когда губернский регистратор,
Почтовой станции диктатор.

Первый стих Пушкин видоизменил, видимо, умышленно: станционные смотрители пользовались чином 14-го класса, по названию «коллежский регистратор», а чина «губернский регистратор» в табели о рангах не было.

Стр. 88. «Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев». По правилам 1808 года, «путешествующим строго запрещается чинить станционным смотрителям притеснения и оскорбления или почтарям побой» (п. 7). «Станционные смотрители, которые не имеют классовых чинов, но находясь при своих местах, в ограждение обид, пользуются по высочайшей воле 14-м классом» (п. 9).

Стр. 89. *Чиновник 6-го класса* — коллежский советник, соответствующий военному чину полковника.

Стр. 89. «Платил прогоны за две лошади». — Подорожные, дававшие право на получение лошадей по установленному тарифу, выдавались на определенное число лошадей, в зависимости от чина. Сверх этого числа лошади нанимались в частном порядке. По две лошади полагалось «нижним чинам и служителям». Ехать на перекладных значило ехать на казенном экипаже, пересаживаясь на каждой станции.

Стр. 94. «...остановился в Измайловском полку». — Измайловский полк — район в Петербурге, где расположены были казармы гвардейского Измайловского полка.

Стр. 94. *Демутов трактир* — гостиница в Петербурге близ Невского проспекта.

Стр. 96. «...в прекрасной балладе Дмитриева». — В стихотворении «Карикатура» (1792).

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

Окончание повести «Барышня-крестьянка» датировано Пушкиным с особенной точностью: «20 сент. Болд. 9 ч. в.». Повесть построена на таких же романтических тайнах и узнаниях, как и «Метель», и означены обе повести как рассказанные одной и той же «девицею К. И. Т.»

Стр. 99. *Эпиграф* — из поэмы И. Богдановича «Душенька» (1783), книга вторая.

Стр. 99. «Вышел в отставку в начале 1797 года». — В 1796 году 6 ноября умерла Екатерина II. Восшедший на престол Павел I окружил себя новыми людьми, всячески преследуя сторонников Екатерины, в частности офицеров гвардии.

Стр. 99. *Английский сад*. — В противоположность французскому саду, геометрически правильному, английский сад подражал естественному лесу. См. описание английского сада в «Дубровском», стр. 192, 194—195.

Стр. 99. «Но на чужой манер хлеб русский не родится» — из сатиры А. Шаховского «Мольер! твой дар, ни с чьим на свете несравненный» (1808).

Стр. 100. «Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты». — Имеется в виду Булгарин, издатель «Северной пчелы» и автор романов «Иван Выжигин» и «Дмитрий Самозванец». На отрицательные рецензии, появившиеся в «Литературной газете», Булгарин отвечал пасквилями, бранью, политическими доносами и пр.

Стр. 100. «...отпустив усы на всякий случай». — В противоположность гражданским чиновникам, военные в обязательном порядке носили усы.

Стр. 101. *Жан-Поль* — псевдоним немецкого писателя Рихтера И.-П. (1763—1825), автора романов и статей политического и философского содержания. Пушкин ссылается на парижский сборник 1829 г. «Мысли Жан-Поля, извлеченные из всех его произведений» (во французском переводе), где автор говорит: «Уважайте индивидуальность в человеке, она является корнем всего положительного».

Стр. 101. «Памела» — роман Ричардсона (1742).

Стр. 112. «Наталья, боярская дочь» — повесть Н. Карамзина (1792).

ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА

«История села Горюхина» упоминается под своим полным названием в первоначальной, неоконченной редакции автобиографии Белкина, писанной ранее предисловия к «Повестям Белкина», т. е. до 14 сентября 1830 г. Первоначальный набросок предисловия к «Повестям Белкина» писан еще в Павловском в 1829 г. В нем Белкин («Петр Иванович Д.») изображался как автор двух различных рукописных произведений, из которых одно определилось как цикл повестей, другое — как история его вотчины.

Рукопись «Истории села Горюхина» имеет на себе даты 31 октября и 1 ноября. Обе даты, конечно, относятся к 1830 году.

«История» осталась недописанной. О полном замысле Пушкина дает некоторое представление план ее. Он не датирован, однако наличие на его полях варианта к шестой строфе «Путешест-

вия Онегина» («Освободитель Ярослав») заставляет предполагать, что он писан вскоре после приезда в Болдино (7 сентября) до окончания «Путешествия Онегина» (18 сентября).

Вот этот план:

Уважение мое к званию писателя
Поэтов в особенности
Встреча с Булгариным и с Милоновым
Любовь
Попытки мои в разных родах
в повестях
в Истории
Всеобщей
Российской
Губернского города —
Уездный город не имеет истории
Приезд мой в деревню
Родословная моя, мысль писать историю
Календари
Изустные предания
Летопись попа,
Ревижские сказки с описанием мужиков

Географическое обозрение деревни.
Баснословные времена
Правление старосты Антипа Мудрого
Приезд моего прадеда тирана Ив. В. Т.
Дед мой управляет. Пожар
Соседи. Повальная болезнь. Церковная история
Мужики разорены. Отец мой. Староста Трифон. Бунт.
Приказчик
...барщина

Была богатая вольная деревня
Обеднела от тиранства
Поправилась от строгости
Пришла в упадок от нерадения —

На самой рукописи «Истории села Горюхина» имеются наброски планов отдельных частей: «Статистическое обозрение Горюхина. Нравы его обитателей», «Число жителей. Архитектура. Церковь деревнянная», «Торговля, браки, похороны, одежда, язык, поэзия». Кроме того, на обложке, среди выписок отдельных слов из «Истории русского народа» Н. Полевого имеются цифровые подсчеты для «Истории села Горюхина», исходя из площади в 240 десятин. Пушкин основывался на данных Болдина по состоянию имения к 5-й ревизии (1794 г.).

Слово «бунт», находящееся в конце плана, возможно, вызвано рассказами о пугачевском восстании. Болдино находится на границе района, где происходили события пугачевского восстания. В июле 1774 г. в Болдине и соседних деревнях произошло

восстание крестьян. В самом Болдине крестьяне пытались повесить приказчика, но подошедшие команды усмирили крестьян, а зачинщики были посланы в Арзамас и жестоко высечены. По-видимому, преданиями об этих событиях Пушкин и хотел воспользоваться в своем рассказе.

При жизни Пушкина «История села Горюхина» не печаталась. Впервые она была опубликована под названием «Летопись села Горохина» в журнале «Современник», т. VII, 1837 г. В этой публикации текст неполон, во многом ошибочен, а последовательность частей перепутана.

Стр. 116. *Новейший письмовник* — книга, составленная профессором Николаем Кургановым, первый раз изданная в 1769 г. и затем много раз переиздававшаяся. В последних изданиях книга называлась: «Письмовник, содержащий в себе науку русского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия». Книга содержала подробную грамматику, а также собрания пословиц, анекдотов, всяческие изречения, энциклопедические сведения, разные стихотворения и пр.

Стр. 120. «Ненависть к людям и раскаяние» — драма Августа Коцебу (1789). Роль Амалии — маленькой девочки — играли воспитанницы театральной школы.

Стр. 120. «Гамбургская газета» — одна из старейших немецких газет. Полное название газеты: «Политическая и ученая газета гамбургских беспартийных корреспондентов». Благодаря обширной и точной информации это была самая распространенная в мире газета.

Стр. 120. «Б., сочинитель» — имеется в виду Булгарин.

Стр. 180. «Опасный сосед» — шутливая поэма В. Л. Пушкина, распространявшаяся в рукописных копиях.

Стр. 121. «Критика на Московский бульвар», «на Пресненские пруды» — анонимные сатирические стихотворения; распространялись в рукописных списках.

Стр. 122. *Бессмертный труд аббата Милота* — «Курс истории Франции» — учебник французской истории, напечатанный впервые в 1769 г. и затем много раз переиздававшийся. К 20-м годам XIX века труд этот совершенно устарел.

Стр. 123. «Некоторый подобный мне историк» — Гиббон, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи».

Стр. 124. *Нибур* — немецкий историк (1776—1831), автор «Римской истории». Он подверг критическому пересмотру многие легендарные предания, которым его предшественники доверяли.

Стр. 126. «...в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла» — в питейном заведении. Кабаки сдавались на откуп казною, в знак чего, по закону 1767 г., на них ставился знак государственного герба (двуглавый орел).

РОСЛАВЛЕВ

В июне 1831 г. вышел в свет второй исторический роман М. Загоскина «Рославлев». После крупного успеха первого его романа «Юрий Милославский» новый роман не оправдал ожидания читателей — отчасти потому, что весь он пронизан рассуждениями в духе казенного шовинизма. Мнение Пушкина о романе полностью явствует из его переписки с Вяземским. На вопрос

Пушкина, каково его мнение о романе, Вяземский отвечал, что в нем «нет истины ни в одной мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении», и Пушкин вполне согласился с этим, хотя и настаивал на занимательности романа (см. письмо от 3 сентября 1831 г., т. X).

Роман Загоскина написан на основании действительного происшествия, о чем автор предупреждает читателя в предисловии. Действительно, еще в дни войны с Наполеоном в печати появлялись известия о браках между русскими дворянскими дочками и французскими военнопленными. Этим и воспользовался Пушкин, якобы исправляя Загоскина в изложении действительного происшествия.

Сюжет романа Загоскина сводится к следующему. Дворянин Рославлев любит Полину Лидину, с которой он познакомился в подмосковном имении Лидиных. В отношениях ее к Рославлеву скрыта какая-то тайна; оказывается, в Париже Полина познакомилась с графом Сеникуром, полюбила его, но он был женат. В начале войны Сеникур попадает в плен и направлен в деревню Лидиных. Он вдов, и Полина тайно выходит за него замуж. Наступление французов освободило Сеникура из плена. Полина последовала за ним. На войне Сеникур убит; гибнет и Полина в Данциге от русской гранаты.

Роман наполнен главным образом военными сценами. Кончается он счастливым браком Рославлева и Ольги Лидиной.

Пушкин писал свой роман в июне 1831 г. В тексте черновой рукописи имеется дата: 22 июня 1831. Сложная политическая обстановка: неудачи русских войск в войне с польскими повстанцами, холерные бунты, революционные события в Западной Европе — все это наводило Пушкина на размышления, которые он и хотел выразить в романе, полемически направленном против взглядов Загоскина. Одной из главных проблем романа является идея истинного патриотизма. Свое понимание патриотизма Пушкин противопоставлял трескучему шовинизму Загоскина.

Роман дошел до нас в двух рукописях — черновой и беловой, неполной. Начало романа, под названием «Отрывок из неизданных записок дамы (1811 год)», без подписи и с пометой «С французского», Пушкин напечатал в «Современнике» 1836 г., т. III (кончается словами «Наполеон был такая bestia, а m-me de Staël претонкая штука!» — см. стр. 136). Полностью текст был опубликован в XI томе Сочинений Пушкина (1841 г.).

В рукописи пленный француз назван Синекуром, но так как при этом Пушкин пишет: «назову же и его именем, данным ему г-м Загоскиным», то эта форма является, несомненно, результатом описки.

Стр. 133. «...носил ключ и звезду...» — Ключ — знак придворного чина камергера; звезда — знак ордена первой степени.

Стр. 137. *Пале-Рояль* — дворец герцогов Орлеанских в Париже. Здесь имеется в виду внутренний двор, где находились магазины и разные увеселительные заведения.

Стр. 137. «Кажется, слова Шатобриана». — Цитата взята из повести Шатобриана «Рене» (1802), слова Шактаса.

Стр. 138. «Корина» — роман г-жи Сталь (1807). Роман этот, имевший целью охарактеризовать Италию в ее нравах и ее искусстве, полон диалогов на высокие темы.

Стр. 138. *Расстопчинские афишки* — объявления от главнокомандующего в Москве графа Расстопчина, вывешивавшиеся во второй половине августа 1812 г. Объявления эти, содержавшие краткие сведения о ходе военных действий (всегда прикрашенные), писались псевдонародным слогом.

Стр. 139. *Proverbs* — драматизованные пословицы, мелкие комедии на темы пословиц, приспособленные для игры в светском обществе, силами любителей, без грима, костюмов и декораций. Основателем этого жанра был французский писатель Кармонтель. Первый сборник его пословиц вышел в 1768 году. В том же году под названием «*Théâtre de Société*» вышел аналогичный сборник пьес другого писателя — Колле.

ДУБРОВСКИЙ

Время создания «Дубровского» определяется очень точно, так как Пушкин в своей рукописи поставил даты под каждой главой и иногда даже в середине глав. Роман начат 21 октября 1832 г. К 11 ноября было написано восемь глав, затем произошел перерыв в работе; снова начал писать Пушкин 14 декабря. Последняя глава помечена 6 февраля 1833 г.

Впервые напечатан посмертно в изд. соч. Пушкина, т. X, 1841 г., с многими пропусками и искажениями.

Сохранились планы романа (в первом из них Дубровский назван Островским), на основании которых можно судить об эволюции замысла.

I

Островский, воспитываясь в Петербурге, по смерти отца возвращается в деревню, о которой идет тяжба. Находит одну усадьбу с дворовыми людьми без крестьян и без земли. Люди его питают его и себя как-нибудь — едет заседатель, люди Островского его убивают из мести. Следствие начинается. Суд приезжает к Островскому. Островский заступает за своих людей — вяжет суд и делается разбойником.

Островский, негодуя на свое состояние, решается убить помещика, виновника его несчастия. Он бродит около его деревни, встречается его дочь, влюбляется в нее. Он ищет случая с нею познакомиться. Встречает учителя француза, едущего к помещику, он отымает у него бумаги и паспорт и представляется к помещику.

У помещика праздник. Сосед ограбленный. Шкатулка. Учитель убегает с барышней.

Жена его рожает. Она больна, он везет ее лечиться в Москву. Избрав из шайки надежных людей и распустив остальных, Островский в Москве живет уединенно, форейтор его попадает в буйстве и доносит на Островского (с одним из шайки Островского). Обер-полицмейстер.

II

Дубровский — 1-ая глава. 2-ая, болезнь, письмо няни. Попытка к примирению, смерть, похороны; приезд молодого барина, во время пирушки похоронной он занимается делами — разбирает бумаги. Жажда мщения. Встреча его с дочерью Троекурова. — Прогулка его на кладбище. Приезд Суда — *Ночной пожар* (от людей без участия Дубровского). Архип убивает суд — Дубровский и его виновные люди скрываются.

III

а.

Ссора. Суд. Смерть.

Пожар. Учитель. Праздник. Объяснение.

б.

Кн. Верейский *visite*. 2 *visite*. Сватовство. Свидание. Письмо перехваченное. Свадьба, отъезд. Команда, сражение. Распушенная шайка.

Жизнь Марьи Кириловны. Смерть князя Верейского. Вдова. Англичанин. Свидание. Игроки. Полицмейстер. Развязка.

в.

Разлука, объяснение, обручение. Капитан-исправник. Жених. Князь Ж. Свадьба. Похищение. Хижина в лесу, команда, сражение. Франс. Сумасшествие. Распушенная шайка.

Москва, лекарь, уединение. Кабак, извет. Подозрения, полицмейстер.

О происхождении романа говорит следующая запись рассказа Нащокина, сделанная Бартеневым: «Роман „Дубровский“ внушен был Нащокиным. Он рассказывал Пушкину про одного белорусского небогатого дворянина, по фамилии Островский (как и назывался сперва роман), который имел процесс с соседом за землю, был вытеснен из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить, сначала подъячих, потом и других. Нащокин видел этого Островского в остроге». Кроме того, материалом для развития действия явилось дело между подполковником Крюковым и поручиком Муратовым, рассматривавшееся в Козловском уездном суде в октябре 1832 г. Копию с решения суда Пушкин без переделок, заменив только имена, включил во вторую главу романа, вложив ее в рукопись, даже не переписывая. Таким образом, постановление суда по делу Троекурова и Дубровского является подлинным судебным документом.

О замысле романа Пушкин писал из Москвы Наталье Николаевне около 30 сентября 1832 г. Приступил он к нему по возвращении из Москвы в Петербург и по окончании первого тома известил о том Нащокина (см. письмо от 2 декабря 1832 г.).

Из сравнения текста романа с планами видно, что «Дубровский» остался неоконченным. От работы над ним Пушкин был отвлечен замыслом нового романа, осуществленным позднее в «Капитанской дочке».

Стр. 143. Вместо «Обстоятельства разлучили их надолго первоначально было: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору».

Пушкин имел в виду переворот 1762 г., возведший Екатерину II на русский престол. Дашкова была одним из ближайших участников переворота.

Стр. 154. «Дубровский... выпущен был корнетом в гвардию». — В тексте осталось неустраненным противоречие: корнет — первый офицерский чин в конных полках, соответствующий подпоручику пехотных полков. Несколькими строками выше сказано, что Дубровский служил «в одном из гвардейских пехотных полков».

Стр. 155. «Миколин день» — весенний день Николая чудотворца 9 мая. Дальнейшие события происходят летом.

Стр. 158. *Эпиграф* — из оды Державина «На смерть князя Мещерского» (1783).

Стр. 159. «Гром победы раздавайся» — песня для кадрили с хорами, слова Державина, музыка Козловского; написана для праздника, данного Потемкиным в апреле 1791 г. по случаю взятия Измаила; позднее исполнялась как официальная.

Стр. 162. «Удались от зла и сотвори благо» — цитата из Псалтыри (псалом 33, стих 15). Подлинный текст: «Уклонися от зла...»

Стр. 165. *Турецкий поход* — вторая турецкая война 1787—1791 гг.

Стр. 175. *Лафатерские догадки*. — В книге Лафатера «Физиогномические фрагменты для содействия познанию человека и любви к людям» (1778) доказывалось, что по чертам лица можно определить характер и достоинство человека.

Стр. 177. *Кульнев* — русский генерал, убитый в июле 1812 г. в сражении при Клястицах. Его посмертный гравированный портрет получил широкое распространение.

Стр. 178. *Радклиф (1764—1823)* — популярная английская писательница, автор ряда романов («Удольфские тайны», «Итальянец, или Исповедная черных кающихся» и др.), которые изобиловали таинственными приключениями, похищениями, преступлениями, ужасами и в конце которых злодейство и добродетель получали по заслугам.

Стр. 180. «...выменяй образ моего француза». Это выражение следует понимать, как «купи икону с изображением его святого», т. е. молись за него. Про икону, как предмет религиозного почитания, нельзя было сказать «купить», говорили «выменять».

Стр. 193. *Ринальдо* — герой романа немецкого писателя Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников» (1797). Роман этот представляет собою бессвязную цепь невероятных при-

ключений, в которых Ринальдо выступает либо как отважный разбойник, либо как нежный любовник.

Стр. 194. *Амфитрион* — сказочный царь древних Микен. В своей мифологической комедии Мольер изобразил его хлебосольным хозяином, после чего имя его стало употребляться в качестве нарицательного, для обозначения гостеприимного хозяина, достаточно богатого, чтобы устраивать изысканные пиры.

Стр. 195. *Конрад* — герой поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод» (1827). В пятой песне говорится, как возлюбленная Конрада Альдона в рассеянии вышила цветок розы зеленым шелком, а листья — красным.

Стр. 208. «Не шуми, мати зеленая дубровушка» — разбойничья песня, см. стр. 314. Пушкин цитирует эту песню по сборнику несен Чулкова в переиздании Новикова 1780 г.

ПИКОВАЯ ДАМА

Рукопись «Пиковой дамы» не дошла до нас, а потому мы не имеем точных дат написания повести. Вероятнее всего, повесть написана в 1833 г. в Болдине, где Пушкин был в этом году с 1 октября по начало ноября. Пушкин читал повесть Нащокину и рассказывал ему, что главная завязка ее не вымыслена. Старуха графиня — это Наталья Петровна Голицына, мать московского генерал-губернатора, действительно жившая в Париже. Внук ее Голицына рассказывал Пушкину, что раз он проигрался и пришел к бабке просить денег. Денег она ему не дала, а сказала три карты, назначенные ей в Париже Сен-Жерменом. «Попробуй», сказала бабушка. Внучек поставил карты и отыгрался. Дальнейшее развитие повести все вымыслено.

Повесть была напечатана в журнале «Библиотека для чтения» 1834 г., т. II, и в том же году была перепечатана почти без изменений в сборнике «Повести, изданные Александром Пушкиным».

Стр. 210. *Эпиграф* — Стихи эти в качестве собственных Пушкин сообщил Вяземскому в письме от 1 сентября 1828 г.

Стр. 210. *Мирандоль* — карточный термин; играть мирандолом значит делать небольшую ставку на две карты, при выигрыше удаивать ставку.

Стр. 210. *Руге* — карточный термин: ставить на одну и ту же карту.

Стр. 211. *Ришелье* — придворный, известный своими похождениями; упоминается в «Арапе Петра Великого» (см. стр. 8).

Стр. 211. *Граф Сен-Жермен* — авантюрист, появившийся в парижском высшем обществе в 50-х годах XVIII столетия. Умер в 1784 г.

Стр. 214. *Эпиграф*. — По поводу этого эпиграфа Денис Давыдов писал Пушкину 4 апреля 1834 г.: «Помилуй! что за дьявольская память! — Бог знает когда-то налету я рассказал тебе ответ мой М. А. Нарышкиной насчет *les suivantes qui sont plus fraîches*, а ты слово в слово поставил это эпиграфом в одном из отделений „Пиковой дамы“».

Стр. 216. «Горек чужой хлеб...» — цитата из «Божественной комедии» Данте («Рай», п. 17):

Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.

Стр. 224.— M-me Lebun — французская художница-портретистка Виж Лебрен (1755—1842).

Стр. 224.— Leroу — Леруа Жюльен (1686—1759), знаменитый французский часовщик. Его дело продолжал его не менее известный сын Пьер (1717—1785).

Стр. 224. *Пулетка* — игрушка, бывшая когда-то в моде: цветной кружок на шнурке, бегающий вверх и вниз.

Стр. 228. *Oubli ou regret?* — Предлагающие этот вопрос дамы заранее улавливались, какое слово принадлежит какой даме. Кавалер, выбравший слово, должен был танцевать с дамой, которой принадлежало выбранное слово.

Стр. 231. *Шведенборг* — правильное Сведенборг (1688—1772), шведский писатель, мистик.

Стр. 231. «Молодой архиерей» — в первом издании было: «Славный проповедник».

Стр. 231. «...в ожидании жениха полунощного». — Аллегория, заимствованная из притчи о девах мудрых и неразумных, ожидавших ночью прихода жениха (из Евангелия от Матфея, глава 25, стихи 1—13).

Стр. 234. «Атáнде» — русифицированная форма произношения французского слова *attendez*, карточный термин, в значении «не делайте ставки».

КИРДЖАЛИ

Рукопись повести до нас не дошла. Предположительно повесть можно датировать октябрем—ноябрем 1834 г. Она напечатана в декабрьском номере журнала «Библиотека для чтения» 1834 (вышел в свет 1 декабря).

Материалом для повести послужили собранные Пушкиным сведения о ходе восстания А. Ипсиланти и о жизни участников этого восстания, поселившихся в Кишиневе. Эти сведения пополнены рассказом Лекса (в Петербурге), который услышан был Пушкиным незадолго до написания повести.

К теме о Кирджали Пушкин возвращался несколько раз. Еще на юге им написано неоконченное стихотворение «Чиновник и поэт» (см. т. II, стр. 72), затем в 1828 г. он начал писать стихотворение эпического характера «Кирджали» (т. III, стр. 91). Общий очерк похода Ипсиланти построен на основании записей, сделанных в Кишиневе (см. «Note sur la révolution d'Ipsylanti» т. VIII). Изложение в повести близко к сохранившемуся плану незавершенной поэмы о гетеристах (т. IV, стр. 289). Сохранился неполный план повести:

Крупянского зала, эмигранты, Харчевский, Навроцкий.

Stenka¹

Скулянская битва —
Кантакузин, Penda deka.

Битва — —

Арнауты в Кишиневе.

¹ Стенка — деревня около Скулян.

Стр. 238. «Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец». — Турецкое слово «кырджали» происходит от области в Адрианопольском вилайете и ведет свое начало от турецкого военного вождя XIV века Кырджа Али. В XVIII веке в этом округе появились разбойничьи шайки, которых начали называть «кырджали». Действия подобных отрядов иногда приобретали политический характер: во время народных волнений «кырджали» выступали на стороне крестьян.

Стр. 239. *Сражение под Скулянами* произошло 17 июня 1821 г. Стр. 239. *Начальник карантина* — Навроцкий, Степан Гаврилович, состоявший на службе с 1767 г.

Стр. 239. *Хорчевский* — правильное Карчевский.

Стр. 239. *Некрасовцы* — русские казаки-старообрядцы, переселившиеся в Турцию из-за религиозных преследований. Их предводителем был Игнат Некраса.

Стр. 240. *Человек с умом и сердцем* — М. И. Лекс (1793—1856), чиновник в канцелярии Инзова. В 1834 г. служил в Петербурге и занимал пост директора канцелярии Министерства внутренних дел.

Стр. 243. «Кирджали ныне разбойничает...» — По некоторым сведениям Кирджали был пойман и повешен в Яссах 24 сентября 1834 г.

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

Точная датировка этой повести не установлена, — рукопись дат не имеет. Вероятнее всего, что писана она в Михайловском в сентябре—октябре 1835 г., после того как Пушкин оставил неоконченную повесть «Мы проводили вечер на даче», и является новой попыткой разработки того же сюжета.

В рукописи отсутствуют стихотворные части повести. Однако можно утверждать, что черновые наброски того же времени, представляющие собой переработку строф из «Езерского», предназначались для первой импровизации итальянца. Что касается второй импровизации, то хотя в тетрадах того же времени имеются черновые наброски, которые можно отнести к задуманному тексту импровизации, но связного текста они не дают. Наброски эти представляют собой переделку и, частично, развитие стихотворения 1828 г. Это стихотворение, по традиции, начиная с первой публикации «Египетских ночей», вводится в текст повести в качестве импровизации итальянца, так как вполне отвечает теме, ему заданной, и основано на показаниях Аврелия Виктора, о которых говорит Чарский.

В характеристику Чарского Пушкин внес автобиографические черты, хотя многое в обрисовке его характера и обстановки его жизни не совпадает с обстоятельствами жизни Пушкина.

Повесть «Египетские ночи» впервые опубликована после смерти Пушкина в журнале «Современник» 1837, т. VIII.

Стр. 244. *Эпиграф* — из французского «Альманаха каламбуров» 1771 г., составленного маркизом Бьевром.

Стр. 244. *Английский магазин* — модный петербургский магазин Никольса и Плинка, торговавший разнообразными товарами, от тканей и канцелярских принадлежностей до ювелирных изделий и заграничных вин.

Стр. 245. «Мальчишка угощает стихотворца...» — автобиографическая черта. Б. М. Федоров записал в своем дневнике в мае 1827 года: «Был у Карамзиных, виделся там с Пушкиным. Коля (сын Федорова) сидел на коленях его и читал ему стихи».

Стр. 247. После слов «выпрашивая себе вспоможения» в рукописи зачеркнуто: «а от своих меценатов (черт их поberi!) требуют одного: чтоб они не входили на них в тайные доносы (и того не могут добиться)». Здесь имеется в виду М. С. Воронцов.

Стр. 249. *Эпиграф* — из оды Державина «Бог» (1784).

Стр. 251. «Каким образом ваятель...» — эти слова импровизатора основаны на сонете Микель-Анджело.

Стр. 251. *Catalani* — Анджелика Каталани (1780—1849), знаменитая итальянская певица, гастролировавшая в Петербурге в 1820 г. уже после отъезда Пушкина из Петербурга (с 26 мая).

Стр. 252. «Танкред» — опера Россини (1813) на сюжет трагедии Вольтера. В Петербурге шла на сцене немецкой оперы в сезон 1834/35 г.

Стр. 253—254. *Темы, заданные итальянскому импровизатору*, кроме основной темы о Клеопатре, связаны с различными модными тогда произведениями и характеризуют романтические сюжеты тех лет. «Семейство Ченчи» — по-видимому; вызвано разговорами о постановке в Париже в 1833 году трагедии Кюстина «Беатриса Ченчи». Сюжет этот связан с убийством Франческо Ченчи, богатого и знатного жителя Рима, происшедшим в конце 1798 г. Папская полиция дозналась, что к убийству причастны дочь Франческо, молодая красавица Беатриче, ее брат Джакомо и их мачеха, жена Франческо, Лукреция Петрони. Обвиняемые подвергнуты были жестоким пыткам и во всем сознались. Хотя на суде свидетели показывали, что убийство было вызвано истязаниями, которым подвергал свою семью развращенный Франческо, папа Климент VIII приказал казнить обвиняемых, а имущество их конфисковал в пользу своих родственников. История Ченчи, отчасти легендарная, стала популярной после трагедии Шелли (1819).

«Последний день Помпеи» — сюжет картины Брюллова, привезенной в Петербург и выставленной для обозрения в августе 1834 г. Ср. стихотворение Пушкина «Везувий зев открыл» (т. III, стр. 261).

«Весна из окон тюрьмы» — тема, вызванная книгой Сильвио Пеллико «Мои тюрьмы» (см. т. VII). Книга эта вышла в свет в 1833 г. Ближайшим поводом для этой темы является эпизод в главе 78, где описывается, как товарищ Пеллико Марончелли, перед тем как подвергнуться опасной операции, импровизировал стихи. Эти стихи приводит сам Марончелли в примечаниях к книге Пеллико: «Весенние ветерки, вы пролетаете над Италией, но уже не веете над страдальцем заключенным. Как я призывал возвращение апреля и мая. Вот они... но не оживили страдальца заключенного. Под небом Моравии томится прекрасная природа и не может возродить силы страдальца заключенного» и т. д.

«Торжество Тассо» — тема известного стихотворения Батюшкова «Умиравший Тасс». Поводом, возобновившим интерес к этой теме, могла быть постановка в 1833 г. в Петербурге пьесы Кукольника «Торквато Тассо».

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Замысел этого романа относится к началу 1833 г. Первая дата под планом романа, где герой назван Шванвичем, — 31 января 1833 г. Одновременно Пушкин возбуждает ходатайство о допущении его к архивным материалам, связанным с восстанием Пугачева (письмо А. И. Чернышеву от 8 февраля 1833). С этого времени Пушкин начал собирать материалы по истории пугачевского движения (см., например, письма И. И. Дмитриеву, март—апрель 1833, Г. И. Спасскому, июнь—июль 1833). В июле 1833 г. Пушкин собрался выехать на места событий и мотивировал просьбу об отпуске тем, что хочет написать «роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани» (письмо А. Н. Мордвинову от 30 июля). К этому времени Пушкин уже набросал первую черновую редакцию «Истории Пугачева» и оба замысла (роман и история) осуществляются им параллельно. После поездки на Урал (в сентябре) Пушкин останавливается в Болдине (октябрь — первые числа ноября), где заканчивает «Историю Пугачева». К этому времени относятся, вероятно, новые планы романа, а может быть, и первые черновые наброски. Пушкин собирался окончательно обработать роман в Болдине, где он провел около месяца, с середины сентября. Однако в конце года в Петербурге он, видимо, снова принялся за роман, о чем свидетельствует план, где герой назван Валуевым, а события расположены близко к окончательной редакции. В сентябре 1836 г. окончательно обработанный текст романа был представлен в цензуру.

Роман был напечатан в четвертом томе «Современника» 1836 г. (последняя книга журнала, вышедшая при жизни Пушкина).

«Капитанская дочка» была задумана, когда Пушкин писал «Дубровского». По-видимому, в этом сюжете его привлекла судьба героя — дворянина-отщепенца, покинувшего ряды своего класса. Исторический фон — пугачевщина — придавал обработке сюжета особый интерес: Пушкин увидел возможность коснуться в романе волновавших его вопросов, связанных с размышлениями о судьбах русского крестьянства и дворянства, о крестьянской революции, о бюрократической системе русского самодержавия. Остановился он на этом сюжете, вероятно, потому, что около этого времени получил какие-то сведения о пугачевце Шванвиче, судьба которого его заинтересовала. Дед пугачевца Мартин явился в Россию в 1718 г. и служил в небольших чинах. Дворянского звания не имел. Отец пугачевца Александр родился в 1726 г. и с 1740 г. служил в войсках солдатом. В 1748 г. поступил (уже в младшем офицерском чине) в гвардейский Преображенский полк. Известен был как силач и озорник. Его товарищами были Орловы. О ссоре Шванвича с Орловым, кончившейся тем, что Шванвич разрубил Алексею Орлову щеку, Пушкин записал подробный рассказ. Было это около 1750 года, когда А. Орлов был еще весьма молод. Затем за какие-то провинности в 1760 г. Шванвича ссылают в Оренбургский гарнизон. Он был там недолго и при Петре III оказался в голштинском полку ротмистром. Роль Шванвича при перевороте 1762 года не очень ясна. Ему как «голландцу» нечего было надеяться на быстрое продвижение по службе. Буйного офицера отправили в провинциальные полки,

где его карьера по причине той же склонности к буйству протекала не спокойно. В 1769 г. он получает отставку, а с 1776 г. до смерти (1792) служит в Кронштадтском гарнизоне. Офицерские чины дали Александру Шванвичу и его потомству дворянство.

Сын его Михаил родился в 1755 г. Получив домашнее образование, в юности он поступил в Ингерманландский карабинерный полк и принял участие в турецкой кампании. В 1772 г. вышел в отставку корнетом, т. е. при отставке получил низший офицерский чин. Затем в Полтаве он поступил во 2-й грендерский полк, с полком попал в 1773 г. в Нарву, а затем с отрядом в 170 грендер под командованием поручика Карташева был отправлен в Казань, а оттуда под Оренбург на соединение с войсками Кара, действовавшими против Пугачева. По дороге отряд был окружен пугачевцами под Юзеевой и почти без сопротивления сдался в плен; приведенные к Пугачеву грендеры вступили в его отряды, а Шванвич получил при этом чин есаула (что соответствовало пехотному капитану). Это случилось 9 ноября 1773 г. Как офицер, знающий языки, Шванвич поступил в военную коллегию Пугачева переводчиком. В марте 1774 г. после поражения Пугачева под Татищевой Шванвич ушел из Берды и явился в Оренбург. Рейнсдорп направил его в тот грендерский полк, в котором он служил и который к этому времени был под Оренбургом. Вскоре Шванвич был арестован. Судебное следствие закончилось решением суда, вынесенным 31 декабря 1774 г.: «Лишив чинов и дворянства, ошельмовать, преломя над ним шпагу». После приведения приговора в исполнение Шванвича отправили в Сибирь, и дальнейшая судьба его неизвестна.

Мягкость приговора объясняют личным вмешательством в дело Екатерины в результате ходатайства отца непосредственно или через Орлова. На вопрос цензора, не лежат ли в основе романа реальные факты, Пушкин отвечал: «Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги» (письмо П. Корсакову от 25 октября 1836).

Следовательно, зерном замысла была история М. Шванвича. Он один и должен был явиться героем романа. Разделение одного героя на двух — положительного Гринева и отрицательного Швабрина — произошло уже в последней стадии работы Пушкина. Все планы говорят об одном герое.

Уже в первом плане видно, что Пушкин, создавая лицо типическое, в своем герое соединил черты и факты биографии, принадлежавшие не только М. Шванвичу, но и его отцу. В частности, эпизод ссылки в уральский гарнизон за буйство заимствован из биографии отца. Вот этот план; он датирован 31 января 1833 г.

Шванвич за буйство сослан в гарнизон. Степная крепость. Подступает Пугачев. Шванвич предает ему крепость. Взятие крепости. Шванвич делается сообщником Пугачева. Ведет свое отделение в Нижний. Спасает соседа отца своего. Чика между тем чуть было не повесил старого Шванвича. Шванвич приво-

зит сына в Петербург. Орлов выпрашивает его прощение.

Следующий план написан на листке, оторванном от полученного Пушкиным письма. На листке след почтовой печати: «Москва, сентября 11». По-видимому, это письмо было получено Пушкиным в Болдине, куда он приехал после поездки на места пугачевских событий 1 октября 1833 г. Поэтому план может быть датирован октябрём — началом ноября 1833. В нем герой по-прежнему именуется Шванвичем.

Крестьянский бунт. Помещик пристань держит, сын его.

Метель. Кабак. Разбойник вожатый. Шванвич старый. Молодой человек едет к соседу, бывшему воеводой. Мария Ал. сосватана за племянника, которого не любит. Молодой Шванвич встречает разбойника вожатого, вступает к Пугачеву. Он предводителем шайкой. Является к Марье Ал. Спасает семейство и всех.

Последняя сцена. Мужики отца его бунтуют, он идет на помощь. Уезжает. Пугачев разбит. Молодой Шванвич взят. Отец едет просить. Орлов. Екатерина. Дидерот. Казнь Пугачева.

В этом плане уже выясняются обстоятельства вступления Шванвича в шайку Пугачева (предшествовавшая встреча с разбойником во время метели). Интересна попытка вывести Дидро при дворе Екатерины (Дидро был в Петербурге с августа 1773 г. по февраль 1774 г.).

Вероятно, к этому же времени (возможно, ранее приведенных планов) относится коротенький план, дополняющий предыдущий:

(на пирах)

Кулачный бой. Шванвич. Перфильев.

Перфильев, купец.

Шванвич за буйство сослан в деревню, встречает Перфильева.

В этом плане характерно упоминание Перфильева и купца, в котором следует видеть того «поверенного», которого Перфильев якобы подсылал в Петербург для переговоров о выдаче Пугачева (см. «Историю Пугачева», гл. 8). Это был ржевский купец Долгополов. На самом деле Долгополов обманывал и Пугачева, к которому явился якобы от Павла Петровича, и Екатерину, к которой приехал из пугачевского лагеря якобы с письмом от Перфильева и других казаков. Пушкин, получивший сведения о Долгополове от А. П. Галахова, не знал об обманах Долгополова.

В дальнейших планах вместо Шванвича героем является Башарин. Капитан Башарин вступил в войска Пугачева после взятия Ильинской крепости (см. «Историю Пугачева», гл. 4):

Башарин в 1772 г. отцом своим привезен в Петербург и записан в гвардию, за шалость послан в гарнизон. Он отправился из страха отцовского гнева¹. Пощажён Пугачевым при взятии крепости и отряжен с отдельной партией в Синбирск под начальством одного из полковников Пугачева. Он спасает отца своего, который его не узнает. Является к Михельсону, который принимает его к себе, отличается против Пугачева, принят опять в гвардию, является к отцу в Москву, идет с ним к Пугачеву.

После этого зачеркнуто несколько строк, содержащих следующие записи:

Старый комендант отправляет свою дочь в близкую крепость.

Пугачев, взяв одну, подступает к другой. Башарин первый на приступе. Требует в награду...

К этому плану имеется дополнение:

Башарин дорогою во время бурана спасает башкирца (*le mutilé*). Башкирец спасает его по взятии крепости. Пугачев щадит его, сказав башкирцу: «Ты своею головою отвечаешь за него». Башкирец убит. Etc.

Наконец, последний план, писанный на обороте чужого письма, датированного 28 октября 1834 г.:

Валуев приезжает в крепость.

Муж и жена Горисовы. Оба душа в душу. Маша, их балованная дочь (барышня Марья Горисова). Он влюбляется тихо и мирно.

Получают известие, и капитан советуется с женою. Казак, привезший письмо, подговаривает крепость.

Капитан укрепляется, готовится к обороне, подступает (?). Крепость осаждена. Приступ отражен. Валуев ранен, в доме коменданта. Второй приступ. Крепость взята. Сцена виселицы. Валуев взят в стан Пугачева. От него отпущен в Оренбург.

Валуев в Оренбурге. Совет. Комендант. Губернатор. Таможенный смотритель. Прокурор. Получает письмо от Марьи Ивановны.

При окончательной обработке Пушкин выпустил целую главу первоначальной редакции романа (бунт крестьян в деревне

¹ Эта фраза приписана мелким неразборчивым почерком и прочтена предположительно.

Гринева, см. стр. 349 и 361—370. Возможно, что это исключение продиктовано было соображениями цензурного порядка. Во всяком случае Пушкин сохранил текст этой главы в особой обложке с надписью: «Пропущенная глава». Она была опубликована в журнале «Русский архив» в 1880 г.

Уже в белой рукописи существенно переработана глава XI, явно из стремления как можно более удовлетворить требованиям цензуры. Однако первоначальную редакцию нельзя вводить в роман, так как дальнейший текст романа обрабатывался при изготовлении белой рукописи уже с учетом изменений в данной главе. Поэтому полностью первоначальный текст дан в отделе «Из ранних редакций». Сущность переработки в том, что по первоначальному замыслу Гринев сам, добровольно является к Пугачеву с просьбой о помощи. Эта первоначальная редакция главы была опубликована в 1939 г. в издании «Пушкин. Временник. 4—5».

Стр. 258. *Эпиграф* — из комедии Княжнина «Хвастун» (1786), действие 3, явл. 6, диалог Верховлета и Честона.

Стр. 258. «в 17... году». — В рукописи год отставки Гринева указан точно: в 1762 году, т. е. после восшествия на престол Екатерины II. Гринев, служивший при графе Минихе, по-видимому, как и Миних, в дни переворота был на стороне Петра III, почему и не мог оставаться на службе при Екатерине. Так как дата 1762 противоречит дальнейшему (младшему Гриневу, родившемуся после отставки отца, не могло исполниться 16 лет в 1772 г.), то Пушкин убрал ее не только по цензурным причинам.

Стр. 260. *Придворный календарь* — ежегодное издание, регулярно выходившее с 1745 г., в котором печатался список придворных служащих и лиц, награжденных орденами.

Стр. 264. «И денег, и белья, и дел моих рачитель» — стих из «Послания к слугам моим: Шумилову, Ваньке и Петрушке» Фонвизина (1770), характеристика Шумилова.

Стр. 266. *Эпиграф* — измененная цитата из сборника Чулкова «Собрание разных песен», 1770, ч. III, № 167.

В рукописи — еще один эпиграф к этой главе:

Где ж вожатый?
Едем!
Жуковский.

Это — цитата из стихотворения Жуковского «Желание» (1811).

Стр. 272. *Андрей Карлович*. — Оренбургским губернатором был Иван Андреевич Рейнсдорп (ум. в 1781 г.), и Пушкин некоторые черты Рейнсдорпа перенес на персонаж своего романа. Однако изображенный Пушкиным генерал старше Рейнсдорпа: он вспоминает об участии в прусском походе Миниха (1733 г.), в то время как Рейнсдорп в службу вступил в 1746 г.

Стр. 273. «В*** полк». — В рукописи: «В Шешминский драгунский полк». Действительно, в ящских крепостях был расквартирован Шешминский полк.

Стр. 274. *Эпиграфы*. Происхождение первого, эпиграфа неизвестно. Второй — из «Недоросля» Фонвизина, действие 3, явл. 5, слова Простаковой (в подлиннике: «Старинные люди, мой отец!»).

Стр. 275. *Взятие Кюстрина и Очакова*.— Осада Кюстрина (город не был взят русскими войсками) в 1758 г. взятие Очакова — в 1737 г.

Стр. 280. *Эпиграф* — не совсем точная цитата из комедии Княжнина «Чудаки» (1793), действие 4, явл. 12.

Стр. 281. «Мысль любовну истребляя».— Эта песенка представляет собой переделку романа, напечатанного в «Новом и полном собрании российских песен» Чулкова в издании Новикова 1780 г.

Стр. 284. «Капитанская дочь...» — народная песня из «Собрания народных русских песен» И. Прача (1790).

В рукописи за этим следует два стиха, которых нет у Прача:

Заря утренняя взошла,
Ко мне Машенька пришла.

Стр. 285. *Воинский артикул* — законы о военных преступлениях, изданные в 1716 г. и действовавшие до 1839 г.

Стр. 288. *Первый эпиграф* является второй половиной песни «Ах ты, Волга, Волга матушка» — из сборника Чулкова (ч. 1, п. 176); *второй* — из песни «Вещевало мое сердце, вещевало!» (тот же сборник, ч. I, п. 153).

Стр. 295. *Эпиграф* — из сборника Чулкова; это — начальные слова песни о взятии Казани (ч. I, п. 125).

Стр. 304. *Эпиграф*.— из песни о казни в Москве боярина; сборник Чулкова, ч. II, п. 130.

Стр. 308. «Ты мне не государь...» — Ср. т. VIII, «История Пугачева», гл. 4. Эпизод взятия крепости Ильинской.

Стр. 310. В рукописи имеется еще один эпиграф:

И пришли к нам злодеи в обедни и у сборной
избы выкатили три бочки вина и пили, а нам ничего
не дали.

(Показания старосты Ивана Парамонова в марте 1774 года.)

Стр. 313. «Сосед мой, молодой казак...» — Далее Пушкин называет его. Это — Чумаков Федор Федотович, начальник артиллерии Пугачева. В 1773 г. ему было 45 лет. Пугачев называл его графом Орловым. Чумаков позднее оказался одним из тех людей, которые выдали Пугачева властям; за это он был освобожден от всякого наказания.

Стр. 314. «Не шуми, мати зеленая дубровушка». — Это та же песня, которая упоминается в «Дубровском» (см. стр. 208). В рукописи «Капитанской дочки» песня не выписана, а указана страница сборника «Новое и полное собрание российских песен», 1780, ч. 1 (стр. 147).

Стр. 317. *Эпиграф* — из стихотворения Хераскова «Разлука».

Стр. 322. *Эпиграф* — не совсем точные стихи из поэмы Хераскова «Россиада» (1779), песнь одиннадцатая.

Стр. 323. «Я застал у него...» — В описании военного совета Пушкин довольно точно следует «Летописи» Рычкова, который

писал о совете 7 октября 1773 г. Ср. т. VIII, «История Пугачева», гл. 3.

Стр. 327. *Лизавета Харлова*.— О ее судьбе см. т. VIII, «История Пугачева», главы 2 и 3.

Стр. 329. *Эпиграф*, приписанный Пушкиным Сумарокову, в действительности является собственной стилизацией Пушкина, имитирующей «Притчи» Сумарокова.

Стр. 332. *Белобородов* — Иван Наумович, один из главных предводителей пугачевцев, служил с 1759 г. сперва в войсках, затем на Охтинском пороховом заводе. С 1766 г., выйдя в отставку, жил в селе Богородском около Красноуфимска; в январе 1774 г., когда пугачевцы вошли в его село, он примкнул к ним и организовал отряд, преимущественно из горнозаводских рабочих. Этот отряд действовал в районе Екатеринбурга. Впервые Белобородов встретился с Пугачевым в Магнитной крепости 7 мая 1774 г. Таким образом, изображение Белобородова в Бердской слободе противоречит историческим фактам.

Стр. 332. *Афанасий Соколов (Хлопуша)* — находился в 1773 г. в Оренбургской тюрьме, послан Рейнсдорпом к Пугачеву с увещательными манифестами, но немедленно перешел на его сторону, произведен им в полковники и в дальнейшем был одним из главных его помощников.

Стр. 337. *Сражение под Юзеевой*.— Поражение, нанесенное войску Кара отрядами пугачевцев 8 ноября 1773 г.

Стр. 339. *Эпиграф* — вариант или переделка песни, записанной Пушкиным в Михайловском. См. т. III, стр. 390, п. 21 («Много, много у сыра́ дуба»).

Стр. 340. *Белая горячка* — в старом значении признаки сумасшествия, бред без жару и без других симптомов болезни.

Стр. 345. *Эпиграф* — сочинен самим Пушкиным в стиле комедий Княжнина.

Стр. 349. «...Голицын под крепостию Татищевой разбил Пугачева». — Это сражение произошло 22 марта 1774 г.

Стр. 349. *Взятие Казани* — 12 июля 1774 г.

Стр. 355. *Волынский и Хрущев* — были казнены по обвинению в подготовке государственного переворота в 1740 г.

Стр. 357. «Вдруг белая собачка...» и т. д. — В этой сцене Екатерина изображена по портрету, писанному Боровиковским и известному по гравюре Уткина.

Стр. 363. *Земский* — деревенский писарь из грамотных дворовых, вместе со старостой выполнял административные и полицейские функции по деревне. Ср. изображение земского в «Истории села Горюхина».

Стр. 369. *Ильин день* — 20 июля.

ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ

НАДЕНЬКА

Черновой набросок, первый известный нам опыт Пушкина в прозаическом повествовании. По положению черновика в рабочей тетради Пушкина датируется 1819 годом. Впервые опубликован в 1884 г.

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ...

Главки I и II писаны в августе—сентябре 1828 г., главка III, относимая к данной повести предположительно (по участникам диалога — испанцу и русскому), писана в 1830 г. Повесть публиковалась отрывками с 1839 по 1884 г. В настоящей композиции она печатается с 1930 г.

В рукописях Пушкина находятся планы этой повести:

L'homme du monde fait la cour à une femme à la mode, il la séduit et en épouse une autre по расчету. Sa femme lui fait des scènes. L'autre avoue tout à son mari. L'autre la console, la visite. L'homme du monde malheureux, ambitieux.

L'entrée d'une jeune personne dans le monde.

Zélie aime un égoïste vaniteux; entourée de la froide malveillance du monde; un mari raisonnable; un amant qui se moque d'elle. Une amie qui s'en éloigne. Devient légère, fait un esclandre avec un homme qu'elle n'aime pas. Son mari la répudie. Elle est tout à fait malheureuse. Son amant, son ami.

1) Une scène du grand monde на даче у Графа L — комната полна, около чая — приезд Зелии — она отыскала глазами l'homme du monde и с ним проводит целый вечер.

2) Исторический рассказ de la seduction — la liaison son amant l'affiche —

3) L'entrée dans le monde d'une jeune provinciale. Scène de jalousie, ressentiment du grand monde —

4) Bruit du mariage — désespoir de Zélie. Elle avoue tout à son mari. Son mari raisonnable. Visite de noces. Zélie tombe malade, réparait dans le monde; on lui fait la cour etc., etc.

Так как в 1827 г. французский писатель Ансело, за год до того посетивший Россию, выпустил роман под названием «L'homme du monde» («Светский человек»), то возможно, что условное название героя повести в плане Пушкина указывает на сходство характера его героя и героя романа Ансело, изображенного светским эгоистом, готовым на всё ради своих интересов.

Предполагают, что прототипом героини явилась А. Ф. Закревская (см. примечание к стихотворению «Наперсник», т. III, стр. 440).

Стр. 374. «Один из наших поэтов... сравнил ее...» — Н. И. Гнедич в идиллии «Рыбаки». См. 8-е примечание Пушкина к «Евгению Онегину» (т. V, стр. 166).

Стр. 376. *Гуссейн-паша* — алжирский дей с 1818 по 1830 г.

Стр. 377. *Liaisons dangereuses* («Опасные связи») — роман Шодерло де Лакло (1782), рисующий распущенные нравы французского светского общества.

Стр. 377. *Жомини* (1779—1869) — французский военный писатель.

Отрывок датируется августом—октябрем 1829 г. Опубликовано в 1931 г. Характеристика действующих лиц в основных чертах перенесена Пушкиным в «Метель».

НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ ПЛОЩАДИ...

Замысел этой повести в какой-то степени связан с замыслом повести «Гости съезжались на дачу». Писалась она с ноября—декабря 1830 г. до февраля—марта 1831 г. Первая глава опубликована в 1841 г., вторая — в 1884 г.

Сохранился план повести:

В Коломне *avant-soirée*. *Вер.* большая нежная. *Он* лжет. *Soirée* с хор., явление в свет молодой девушки. Он влюбляется. Утро молодого человека.— У них будут балы, покамест не выйдет замуж. Он представлен. Сцены в Коломне. Он ссорится.

ЗАПИСКИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

Отрывок сохранился в черновой рукописи, не имеющей заглавия. Но ссылка на него имеется в рукописи «Станционного смотрителя», где нет описания картинок на стене почтовой станции и вместо того помечено: «Из записок молодого человека». Возможно, что к этому же произведению относится название, находящееся в списке повестей на рукописи «Гробовщика»: «Записки пожилого».

Содержание повести неизвестно. План на полях рукописи говорит только о начальных эпизодах. Вот этот план:

Смотритель, прогулка, фельдъегерь.
Дождик, коляска, *gentleman*, любовь.
Родина.

Однако в первом же абзаце повести содержатся указания на исторические обстоятельства, рисующие обстановку, в которой должно было протекать действие. Прапорщик едет в 1825 г. в город В. Киевской губернии (так было написано и зачеркнуто), в Ч. полк (тоже зачеркнуто). Буквы эти легко расшифровываются: город Васильков, Черниговский полк. Именно здесь произошло восстание в декабре 1825 г., и именно Черниговский полк под командованием С. И. Муравьева-Апостола выступил в последних числах декабря 1825 г., но потерпел поражение 3 января в сражении с правительственными войсками.

Стр. 385. «...с будущим».— Так вписывалось в подорожную тому, кто предполагал ехать не один, а со спутником, но еще не мог назвать, с кем именно.

Стр. 386. «...последний раб и т. д.».— По-видимому, Пушкин собирался сделать выписку евангельского текста, сюда относящегося. Этим словам соответствует в Евангелии следующее: «коликo наемником отца моего избывают хлебы, аз же гладом гиблю» (Евангелие от Луки, гл. 15, стих 17).

УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА. Я ЖЕНИЮСЬ...

Набросок этот, датированный 12 и 13 мая 1830 г., имеет автобиографический характер: 6 мая состоялась помолвка Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой.

Опубликован в 1857 г.

Стр. 388. «Есть у меня больной дядя...» — В это время болен был дядя Пушкина Василий Львович. Он умер 30 августа 1830 г.

Стр. 389. «*My native land, a dieu*». — Неточная цитата из «Чайльд Гарольда» Байрона (прощание героя с Англией, из первой песни).

Стр. 390. «...критикуется в журналах дураками». — В рукописи первоначально было: «критикуется в Северной пчеле дураком».

Стр. 390. *Mlle Zонтаг*. — Генриетта Зонтаг, знаменитая немецкая певица (1806—1854), гастролировавшая в России в 1830 г.

ОТРЫВОК

Эти страницы датированы Пушкиным 26 октября 1830 г. Они носят явно автобиографический характер. В некотором сокращении вошли в «Египетские ночи» в качестве характеристики Чарского. «Отрывок» (так он назван Пушкиным) опубликован после его смерти в «Современнике», т. VIII, 1837 г.

Стр. 391. «Явится ли он в армию...» — См. предисловие к «Путешествию в Арзрум», начало, не появившееся в печати (в настоящем томе — в отделе «Из ранних редакций», стр. 505).

РОМАН НА КАВКАЗСКИХ ВОДАХ

Отрывок не имеет названия в рукописи Пушкина. Он писан 30 сентября 1831 г. Впервые опубликован в 1881 г.

Содержание романа можно извлечь из его многочисленных планов.

Первый вариант основного плана

Кавказские воды. Семья русская. Якубович приезжает. Якубович хочет жениться. Якубович *impatronisé*. *Arrivée du véritable amant*. Les femmes enchantées de lui. Soirées в калмыцкой кибитке. Встреча. Изъяснение. Поединок. Якубович не дерется. Условие. Он скрывается. Толки, забавы, гуляния. Нападение черкесов, *enlèvement*. Москва. Приезд Якубовича в Москву.

Наброски в развитие первого варианта плана

1

Rassablennnyy, брат едет из Петербурга. Il laisse son escorte au paralytique, est attaqué par les tcherkès, il en tue un, les autrent. Якубович n'y est pas. Спрашивает у сестры, влюблена ли она в Якубовича. Смеется над ним.

Якубович fait des frais pur lui et lui demande sa soeur en mariage.

Duel.

Якубович enlève Marie qui a fait avec lui la coquette.

Son amant l'enlève du milieu des tcherkès.

Kounak un jeune garçon attaché à elle l'enlève et la rend à sa famille.

Второй вариант основного плана

les eaux une saison; весна, кто живет на Кавказе. Один расслабленный, Майор Курисов, Генерал-баба, генеральша Мерлина, два лекаря. Семейства съезжаются. Семейство N из Москвы. Отец и дочь. Отец составляет вист: расслабленный, лекарь и Курисов. Дочь дружится с воспитанницей генеральши. Воспитанница чувствительная сводня.

Поэт, брат, любовник, Якубович, зрелые невесты, банкеты (сотрудники) Якубовича.

На другой день банка. Все дамы на гулянье ждут Якубовича. Он является с братом, который представляет его. Его ловят. Он влюбляется в Марью. Cavalcade. Бешту. Якубович сватается через брата Pelham. Отказ. Дуэль. У Якубовича секундант поэт, у брата (Курисов отказывается) любовник, раненный на Кавказе офицер; бывший влюбленный, знавший Якубовича в горах, и некогда им ограбленный.

Якубович ночью едет в аул к уздею.

Во время переезда из Горячих на Холодные.

Якубович enlève. Тот едет и спасает ее с одним кунаком.

Третий вариант основного плана

1

Теперешнее состояние Кавказа и прежнее.

Кто были жители?

Генерал Мерлини с женой. Майор Курилов, начальник отряда. Казачий отряд.

Больной офицер, два лекаря (враги по ремеслу, кто скорей рекомендуется).

Приезд московской барыни (ее дочь, компаньонка, две девки, кучер, повар, двое слуг).

Вслед за нею отец Якубовича и генерал Мерлини с женой. Атакованы черкесами.

Москва, сцена отъезда или об отъезде.

Общество на водах. Два лекаря, Курилов, больной и офицер, приехавший заранее.

2

Приезд на станцию старухи Корсаковой и старика Кубовича. Корсакова едет далее, а он плетется назад.

Гранев, Курилов и Хохленко сидят у кислосерного источника. Курилов рассказывает черкесский набег. Едет Корсакова. Шмидт предупреждает Хохленко. Приезжает в параличе разбитый старик. Хохленко ходит за ним.

Алина кокетничает с офицером, который в нее влюбляется. Вечера Кавказские. Приезд Кубовича. Смерть его отца. Театральное погребение. Алина начинает с ним кокетничать. Кубович введен в круг Корсаковых. Им они восхищаются. Гранев его начинает ненавидеть. Якубович предлагает свою руку, она не соглашается, влюбленная в Гранева. Он предает его черкесам.

Он освобожден (казачкою черкешенкою) и является на воды. Дуэль. Якубович убит.

Предварительные наброски к третьему варианту плана

1

Алина увезена Кубовичем в аул и спасена. Гранев.

2

Кунак, друг Якубовича, пленитель офицера, брат казачки.

Приезд Корсаковой.

Последняя станция. Параличный разговаривает с Ник. и Корсаковой.

Общество на водах.

Кавказский Пленник, дочь с ним кокетничает, она влюбляется.

Приезд параличного, смерть его в Константиногорской.

Приезд сына с казаками.

Похороны. Все. Кокетство.

Встреча Пленника с Якубовичем. Объяснение.

Набросок в развитие третьего варианта основного плана

Хлапенко, малоросс лекарь; поэт, игрок, воин, musard, любопытный. Гуляет с казачьим офицером или с больным откупщиком, который ему рассказывает. Едет коляска с дамой московской. Хлапенко опаздывает. Немец берет его место. Куда вы, Адам Адамович?

Многие персонажи романа имеют реальных прототипов, причем Пушкин часто сохраняет их имена. Старуха Корсакова — Марья Ивановна Римская-Корсакова, ее дочь Александра Александровна и сын Григорий Александрович. В их доме в Москве Пушкин бывал с 1826 г. В мае 1827 г. Римские-Корсаковы отправились на Кавказские минеральные воды. Якубович (Кубович) — декабрист Александр Иванович Якубович; в 1816 г. он был переведен на Кавказ. У Якубовича был брат Иван — калека. Генерал

Мерлини, Станислав Демьянович, служил на Кавказе с 1809 г. до самой смерти (1833). Его постоянное местопребывание—Пятигорск, где у него был дом. Колоритной фигурой пятигорского общества была его жена Екатерина Ивановна, отличавшаяся мужественностью, гостеприимством и оригинальностью характера. Курилов, по-видимому Иван Алексеевич Курило, майор, командир батальона Тенгинского полка, соединявший военную должность командира на линии впереди минеральных вод с гражданской должностью смотрителя этих вод.

ЧАСТО ДУМАЛ Я...

Писано около 1833 г. Опубликовано в 1922 г.

РУССКИЙ ПЕЛАМ

В рукописи отрывка заглавия нет. Назван он так условно по определению, данному герою Пушкиным в плане романа. Написан не ранее 1834 г. Опубликовано в 1841.

Отрывок представляет собой начало большого романа, задуманного Пушкиным. До нас дошло несколько подробных планов романа:

I

Русский Пелам сын барина, воспитан французами. Отец его *frivole* в русском роде. Пелам, двоюродный брат его *médisque freluquet*, Пелам в свете, театр, литераторы, картежники. Он свидетель бесчестия одного молодого человека. Его дружба с Федором Орловым. Он помогает ему увести любовницу, отказывается от *игры фальшивой*. Брат его, в игре получает пощечину, дуэль, брат его струсил.

Орлов увозит девушку. Ее несчастное положение. Бедность. Разврат мужа. Она влюбляется в Пелама. Связь ее с ним. Подозрения мужа. Смерть Федора Орлова.

Пелам влюбляется в женщину высшего общества. Пелам в большом обществе. Любовь в большом свете. Отец его умирает. Пелам в деревне. (Эпизод жены Ф. Орлова.) Соседи. Жизнь русских помещиков. Слышит о свадьбе двоюродного брата. Едет в Петербург. Брат его делается ему врагом, чернит его в глазах правительства. Он выслан из города. (Федор Орлов доходит до разбойничества. Пелам *son confident*.) Он свидетель нападения. Он оправдан самим Ф. Орловым.

II

Пелам выходит в большой свет и, наскуча им, вдается в дурное общество.

В обществе актрис и литераторов встречает Ф. Орлова и с ним дружит, отказывается от игры наверное, помогает ему увести девушку.

Продолжает свою беспутную жизнь. Связь его с танцовкой, на счет графа Завадовского.

Дуэль Федора Орлова с двоюродным братом Пелама. Несчастная жизнь жены Ф. Орлова, Орлов доходит до нищеты и до разбойничества.

Пелам узнает обо всем. Укрывает его у себя.

Пелам влюбляется. Отец у него умирает. Перемена его, он ссорится с танцовкой. Он сватается. Ему отказывают. Он едет в деревню.

Разбой. Донос. Суд. Тайный неприятель. Письмо к брату, ответ Тартюфа. Узнает о свадьбе брата. Отчаяние.

Он освобожден по покровительству Алексея Орлова и выслан из города.

Болезнь душевная. Сплетни света. Уединенная жизнь. Ф. Орлов пойман в разбое, Пелам оправдан, получает позволение ехать в Петербург.

Заключение

Характеры

Отец и его любовница. Выб — ок. *Фрел.* Фед. Орлов. Ал. Орлов. Кочубей, дочь его; Кн. Шаховской, Ежова. Истомина, Грибоедов, Завадовский. Дом Всеволожских. Котляревский. Мордвинов, его общество. Хрущов. Общество *умных* (Илья Долгоруков, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев etc.)

Служба, юнкер гвардии, офицер гвардии, немец начальник, *отставка*, долги, Неелов, Шишкин.

Похороны отца etc. Привычка к роскоши. Обеды, литераторы. Ив. Козлов.

Большое общество. Семья Пашковых etc.

Игроки

Орлов, Павлов.

III

История Федора Орлова. Un élégant, un Zavadoyski, mauvais sujet, des maîtresses, des dettes. Он влюбляется в бедную светскую девушку, увозит ее; первые года роскошные, впадает в бедность, cherche des distractions chez ses premières maîtresses, devient escroc et duelliste. Доходит до разбойничества, зарезывает Щепочкина; застреливается (или исчезает).

История Пельмова. Он знакомится с Ф. Орловым dans la mauvaise société, помогает ему увезти девушку, отказывается от фальшивой игры, на дуэли секундантом у него. Узнает от него об убийстве Щепочкина devient l'exécuteur testamentaire de Фед. Орлов, попадает в подозрение (он дает ломбардный билет). Обращается к Ал. Орлову из крепости.

Эпизоды.

История брата его. Он зарывается в канцелярии. Отрекается от своей матери, делается врагом Пельмову, выходит в люди,

в секретари Чуколей, преследует тайно своего брата, сватается за его невесту и женится на ней.

Мать его (княг. Хованская) расточает деньги Всеволожского для Порового, которого обыгрывает шайка Ф. Орлова и который получает пощечину etc.

Наталья Кочубей вступает с Пелымовым в переписку, предостерегает его; etc.

Une danseuse. Пелымов с нею знакомится, находит у ней Фед. Орлова.

Пелымов воспитан у отца 7-ю французами, немцами, швейцарцами, англичанами. Отец им не занимается, но любит. Ссорится с ним за Порового. Отец назначает ему 1000 в год и выгоняет его. Умирает в нищете. Сын его хоронит.

Баск, pour vivre traduit des vaudevilles. Шаховской, Ежова etc., etc.

IV

1) Воспитание. Смерть матери. Явление княгини Хованской с Ниградским, мои сшибки с ним, его сплетни. Гувернеры. Жизнь отца: il reçoit bonne compagnie en fait d'hommes, et mauvaise en fait de femmes. Я выхожу в службу и в свет.

II) Светская жизнь Петербургская (получаю часть моей матери), балы, скука большого света, происходящая от бранчивости женщин; он по примеру молодежи удаляется в холостую компанию; дружится с Zavadovski (Ф. Орловым).

III) Общество Zavadovski les parasites, les actrices, sa mauvaise réputation; il devient amoureux, Пелымов est son confident.

IV) Enlèvement. Pelymof devient aux yeux du monde un mauvais sujet. C'est alors qu'il est en correspondance avec Natalie. Il reçoit la première lettre, au sortir de chez la Istomine qu'il console du mariage de Zavadovski.

V) La porte de Чоколей lui est refusée; il ne la voit qu'au théâtre. Il apprend que son frère est secrétaire du Чоколей.

VI) Vie splendide de Zavadovski, il donne des diners et des bals. Embarras domestiques. Créanciers. Jeu.

VII) Поповой et son duel.

VIII) Scène chez le père.

IX) Explication avec Zavadovski.

X) Pelymof rompt avec Zavadovski.

I) Continuation des amours de Pelymof.

II) Ce chapitre après la catastrophe. La femme de Zavadovski, le mari devenu Ф. Орлов. Ses nouveaux compagnons. Leurs exploits. Ils arrêtent dans la rue Pelymof. Фед. Орлов le reconnaît et tourne la chose en plaisanterie.

III) Maladie, délaissement et mort du père de Pelymof.

IV) Situation du frère.

V) Assassinat.

VI)

Называя героя «Русским Пеламом», Пушкин имел в виду героя романа «Пелам, или Приключения джентльмена» английского писателя Эд. Бульвера Литтона (1828). Роман этот Пушкин читал вскоре после его выхода в свет (фамилия Пелам упоминается в «Романе в письмах» 1829 г.) и давно собирался вывести лицо, равнозначное герою Бульвера; именем Pelham назван один персонаж в «Романе на кавказских водах». По-видимому, Пушкин хотел изобразить своего героя с характером, имеющим общие черты с героем английского романа (при общем благородстве и внутренней чистоте и честности, герой этот склонен увлекаться — вплоть до того, чтобы быть неразборчивым в связях, не чуждаться дурного и даже преступного общества и т. д.), и, кроме того, в развитии действия сохранить в самых общих чертах схему романа Бульвера. Вместе с тем Пушкин хотел изобразить русскую жизнь, о чем свидетельствуют многочисленные прототипы, именами которых он называет своих героев. Таковы Федор Орлов, брат генерала Михаила Орлова, их общий брат Алексей Орлов, делавший при Николае I крупную карьеру (по ходатайству А. Орлова сравнительно мягко поступил Николай с Михаилом Орловым после декабрьского восстания). Особо отмечено в плане «общество умных», т. е. петербургская группа декабристов: И. Долгоруков, С. Трубецкой, Н. Муравьев. Введено в действие много лиц, причастных к театру: драматург Шаховской, актриса Ежова, балерина Истомина, поклонник ее Завадовский и — по-видимому, в связи с дуэлью Завадовского с Шереметевым из-за Истоминной — Грибоедов. Видную роль в романе должны были играть министр внутренних дел Кочубей (Чуколей) и его дочь Наталья. Названо и много других менее известных лиц из разных кругов русского общества. По-видимому, Пушкин хотел широко и не без сатирических черт изобразить петербургскую жизнь 20-х годов, подобно тому как Бульвер сатирически изобразил жизнь английского общества и отчасти парижского.

В 179 * ГОДУ ВОЗВРАЩАЛСЯ Я...

Этот отрывок датируется приблизительно 1835 годом. Опубликовано после смерти Пушкина в журнале «Современник», т. VIII, 1837 г.

МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ...

Эта неоконченная повесть Пушкина представляет собой как бы первый вариант того сюжета, который получил дальнейшую разработку в «Египетских ночах». Писана она, вероятно, в 1835 г., ранее «Египетских ночей». Наброски опубликованы в 1857 г. без стихотворной части, которая появилась в печати только в 1922 г.

Стр. 404. *Гамбовы кресла*. — Братья Гамбс были владельцами известной петербургской мебельной фирмы.

Стр. 404. *M-me de Maintenon* — г-жа Ментенон Франсуаза Добинье (1635—1719); была женой поэта Скаррона, после его смерти — воспитательница детей Людовика XIV и его фаворитки Монтеспан, затем сменила Монтеспан в качестве фаворитки, а после смерти королевы вышла замуж за Людовика XIV. После смерти короля в 1715 г. стала во главе женской закрытой школы Сен-Сир.

Стр. 404. *M-me Roland* — г-жа Ролан — Манон Флипон (1754—1793), французская политическая деятельница в годы революции; будучи женой жирондистского министра Ролана, она и сама являлась руководительницей и вдохновительницей жирондистов. Гильотинирована вместе с другими жирондистами.

Стр. 405. «*Qui est-ce donc que l'on trompe ici*» — неточная цитата из комедии Бомарше «Севильский цирюльник» (действие 3, явл. 11, слова Базиля).

Стр. 405. *Antony* «Антони», драма Александра Дюма-отца (1831), полная изображений мрачных страстей и преступлений всякого рода. В переводе В. Каратыгина шла в Петербурге в 1832 г.

Стр. 405. «*La Physiologie du mariage*» — сочинение Бальзака (1829), представлявшее собой размышления о браке, и очерки, посвященные той же теме.

Стр. 405. «...Вершнев, который учился некогда у езуитов...» — В черновой рукописи это место изложено так: «Вершнев, один из тех людей, одаренных убийственной памятью, которые всё знают и всё читали и которых стоит только тронуть пальцем, чтоб из них полилась их всемирная ученость». Первоначально вместо фамилии Вершнев стояло: Титов. Прототипом Вершнева был В. П. Титов (1807—1891), москвич из круга «любомудров», знакомый Пушкина, с 1828 г. живший в Петербурге.

ПОВЕСТЬ ИЗ РИМСКОЙ ЖИЗНИ

Неоконченная повесть, сохранившаяся в черновой рукописи; в автографе названия не имеет. Повесть начата в ноябре 1838 г., но Пушкин продолжал работать над ней и в 1835 г.: к этому году относятся стихотворные отрывки, входящие в ее состав. Напечатана она в 1855 г. Сохранился план, из которого явствует, что в состав повести входил и рассказ о египетских ночах Клеопатры:

Описание дома —

Первый вечер, нас было кто и кто, греческий философ исчез — Петроний улыбается — и рассказывает *оду* (отрывок). (Мы находим Петрония с своим лекарем. — Он продолжает рассуждение о роде смерти, избирает теплые ванны и кровь), описание приготовления. Он перевязывает рану, и начинаются рассказы 1) О Клеопатре; наши рассуждения о том. 2-й вечер, Петроний приказывает разбить драгоценную чашу, диктует *Satyricon*, рассуждения о падении человека, о падении бога, об общем безверии, о предрассудках Нерона. Раб христианин...

Для повести Пушкин использовал рассказ Тацита о смерти консула Петрония в царствование Нерона в 65 г. нашей эры.

Петроний был автором романа «Сатирикон», в котором описывались развращенные нравы его времени. Существовало мнение, что «Сатирикон» и был предсмертной сатирой на Нерона, о которой говорит Тацит. Видимо, этого мнения придерживался и Пушкин.

Стр. 414. «Красно и сладостно паденье за отчизну» — стих из оды Горация, кн. 3, ода 2: *Dulce et decorum est pro patria mori*. Стих вошел в поговорку.

МАРЬЯ ШОНИНГ

Неоконченная повесть; основана на материалах судебного процесса, данные о котором Пушкин прочел в книге:

«Causes célèbres étrangères publiées en France pour la première fois et traduites de l'italien, de l'allemand etc. par une société de jurisconsultes et de gens de lettres», Paris, C. L. F. Panckoucke, 1827, t. II, p. 200—213 (Enfanticide. Procès de Maria Schoning et d'Anna Harlin).

Дата повести неизвестна, но вероятнее всего она относится к 1834—1835 годам. В бумагах Пушкина находится писанное им краткое изложение дела Марьи Шонинг и Анны Гарлин:

MARIA SCHONING ET ANNA HARLIN JUGEES EN 1787 A NURENBERG

Maria Schoning, fille d'un ouvrier de Nurenberg, perdit son père à 17 ans. Elle le soignait seule, la pauvreté l'ayant forcée de renvoyer leur unique servante Anna Harlin.

En revenant de l'enterrement de son père elle trouva deux officiers du revenu public qui lui demandèrent à visiter les papiers du défunt pour s'assurer s'il avait payé les taxes en proportion de sa propriété. Ils trouvèrent après l'examen que le vieux Schoning n'avait pas été imposé en proportion de ses moyens, ils mirent les scellés. La jeune fille se retira dans une chambre sans meubles jusqu'à ce que les directeurs du trésor public décidèrent sur cette affaire.

Les officiers du fisc revinrent apporter la décision de leurs chefs munis d'un ordre qui enjoignait Maria Eléonora Schoning de quitter la maison, confisquée au profit du trésor.

Schoning était pauvre, mais économe. Une maladie de trois ans épuisa tout ce qu'il avait amassé. Maria alla chez les commissaires. Elle pleura, et le bureau fut inflexible.

La nuit elle alla au cimetière de St. Jacques... elle en sortit le matin, mourant de faim, elle se retrouva au cimetière...

La police de Nurenberg assigne une demi-couronne aux gardes de nuit pour chaque femme arrêtée la nuit après dix heures. Maria Schoning fut conduite au corps de garde. Le lendemain elle fut emmenée devant le magistrat qui la renvoya en la menaçant de l'envoyer dans la maison de correction en cas de récidive.

Maria voulait se jeter dans la Pegnitz... on l'appela. Elle vit Anna Harlin l'ancienne servante de son père qui avait épousé un invalide. Anna la consola: la vie est courte, lui dit-elle, et le ciel pour toujours, mon enfant.

Maria fut recueillie chez les Harlins pendant une année. Elle y mena une vie assez misérable. Au bout de ce temps Anna tomba malade. L'hiver vint, l'ouvrage manqua; le prix des denrées s'accrut. Les meubles furent vendus pièce à pièce, excepté le grabat de l'invalides qui mourut au printemps.

Un pauvre médecin traitait gratis le mari et la femme. Il apportait quelquefois une bouteille de vin, mais il n'avait pas d'argent. Anna se rétablit; mais elle devint apathique: le travail manqua tout à fait.

Au commencement de mars, un soir, Maria sortit tout à coup...

Elle fut arrêtée par la patrouille du guet. Le caporal la plaça au

milieu des soldats, et lui dit que le lendemain elle serait fouettée. Maria s'écria qu'elle était coupable d'un infanticide...

Amenée devant le juge, elle déclara avoir été accouchée d'un enfant par la femme Harlin et que celle-ci l'avait enterré dans un bois ne sait plus où. Anna Harlin fut tout de suite arrêtée, et sur sa dénégation, confrontée avec Maria, elle nia tout.

On apporta les instruments de tortures. Maria s'épouvanta, elle saisit les mains liées de sa prétendue complice et lui dit: Anne, fais l'aveu qu'on te demande. Ma bonne Anne, tout sera fini pour nous et Frank et Nany seront mis dans la maison des orphelins.

Anne la comprit, l'embrassa, et dit que l'enfant fut jeté dans la Pegnitz.

Le procès fut rapidement instruit. Elles furent condamnées à mort. Le matin du jour fixé, elles furent amenées à l'église, où elles se préparèrent à la mort par la prière. Sur la charrette Anna fut ferme, Maria fut agitée. Harlin monta sur l'échafaud et lui dit: Encore un instant, et nous serons là (au ciel). Courage, une minute, et nous serons devant Dieu.

Maria s'écria: Elle est innocente, je suis un faux témoin... Elle se jeta aux pieds du prêtre... elle dit tout. L'exécuteur, étonné, s'arrête. Le peuple pousse des cris... Anna Harlin interrogée par le prêtre et le bourreau dit avec répugnance (simplicité): Assurément, elle a dit la vérité. Je suis coupable pour avoir menti et manqué de foi en la Providence.

Un rapport est envoyé aux magistrats. Le messenger revient dans une heure avec l'ordre de procéder à l'exécution. L'exécuteur s'évanouit après avoir décapité Anna Harlin.— Maria était déjà morte.

П Л А Н Ы Н Е Н А П И С А Н Н Ы Х П Р О И З В Е Д Е Н И Й

КАРТЫ; ПРОДАН...

Датируется приблизительно ноябрем 1819 г. по положению среди черновика послания к Всеволожскому.

ВЛЮБЛЕННЫЙ БЕС

Этот план, датируемый предположительно годами 1821—1823, остался неосуществленным, хотя у Пушкина в его различных набросках и заметны отдельные следы этого замысла. Таковы, в частности, наброски к замыслу о Фаусте (см. т. II, стр. 273). Полностью этот план воплотился только в устном рассказе Пушкина, записанном В. Титовым и напечатанном им в «Северных цветах» на 1829 г. под названием «Уединенный домик на Васильевском». См. т. IX, приложение.

План опубликован в 1922 г.

Стр. 423. «Влюбленный бес» — в плане обозначено начальными буквами.

Н. ИЗБИРАЕТ СЕБЕ В НАПЕРСНИКИ...

Точная дата плана неизвестна. Предположительно относят его к началу 30-х годов. Опубликовано в 1884 г.

ПЛАНЫ ПОВЕСТИ О СТРЕЛЬЦЕ

Планы датируются предположительно 1833—1834 годами. Первые 4 плана опубликованы в 1884 г., последний — в 1926.

Возможно, что последний план не имеет отношения к замыслу, с которым связаны первые четыре плана. Первые планы относят события к времени правления Софьи (1682—1689), вероятнее всего к первому году правления — 1682, когда происходили волнения раскольников, а среди стрельцов действовал князь Хованский. Пятый план относится к Прусскому походу 1711 г., когда Софья уже умерла, после 15-летнего заключения в монастыре (1704).

КРИСПИН ПРИЕЗЖАЕТ В ГУБЕРНИЮ...

План предположительно датируют 1833—1834 годами. Опубликовано в 1913 г.

По-видимому, этот план отражает тот замысел Пушкина, который он сообщил Гоголю как сюжет комедии и который послужил основой для «Ревизора».

Криспин — условное имя плута-слуги в старинных итальянских и французских комедиях. Особенно известна была комедия Лесажа «Криспин — соперник своего хозяина» (1707).

LES DEUX DANSEUSES

Возможно, что данный план является частью общего плана «Русского Пелама» и разрабатывает один из его эпизодов. Он относится к тому же времени (не ранее 1834 г.).

Опубликован в 1930 г.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА К Д.

Это описание поездки в Крым, состоявшейся в 1820 г., написано в декабре 1824 г. для альманаха Дельвига «Северные цветы», но в очередной годовой выпуск альманаха не попало и напечатано было в следующем выпуске альманаха — на 1826 год (вышел в свет в апреле 1825 г.). Затем в сокращении этот «Отрывок» печатался с 1830 г. в качестве примечания к поэме «Бахчисарайский фонтан». Посылая «Отрывок» Дельвигу, Пушкин приписал: «Пожалуйста, не показывай этого письма никому, даже и друзьям моим (разве переписав уже), а начала в самом деле не нужно». Этот «начало» — первый абзац, в печати не появившийся:

«„Путешествие по Тавриде“ прочел я с чрезвычайным удовольствием. Я был на полуострове в тот же

год и почти в то же время, как и И. Муравьев-Апостол. Очень жалею, что мы не встретились. Оставляю в стороне остроумные его изыскания; для проверки оных потребны обширные сведения самого автора. Но знаешь ли, что более всего поразило меня в этой книге? — Различие наших впечатлений. Посуди сам».

«Путешествие по Тавриде» — книга И. Муравьева-Апостола, в которой описывается его путешествие по Крыму, где автор был с 11 сентября по 25 октября 1820 г. Книга состоит преимущественно из исторических и археологических разысканий. В частности, обратили на себя внимание Пушкина рассуждения Муравьева о том, что знаменитый храм Девы был расположен не там, где в 1820 г. находился Георгиевский монастырь, как думали ранее, а значительно восточнее, в районе Аюдага. Именно эти рассуждения Пушкин называет «холодными сомнениями» в стихотворной части письма.

В черновом тексте после упоминания Митридатовой гробницы следовало: «воображение мое спало, хоть бы одно чувство, нет —». После слов «объедался виноградом» следовало: «там я тотчас привык к природе полуденной и наслаждался ею со всем равнодушием природного неаполитанца. Холодность моя посреди прелестей природы досаждала** и смешила». Последняя фраза зачеркнута. После слов «влюбленного хана» в черновом тексте следует: «К*** поэтически описал мне его и называл la fontaine des larmes». Только в беловом тексте Пушкин заменил мужской род женским, согласно тексту поэмы.

Стр. 429—430. «...переход его по скалам Кикенепса...» — Здесь Пушкин не точно понял текст Муравьева: в его «Путешествии» в письме, писанном в Кикенеисе, описывается переход по скалам Симеиза.

Стр. 430. *Горная лестница* — разработанный подъем на Яйлу в районе Мухалатки. Подъем этот, известный под названием Чертова лестница (Шайтан мердвень), вырублен был в скале крупными ступенями.

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ...

Во время своей поездки в Тифлис и далее в армию Пушкин вел дневник, сперва подробный и последовательный, далее — отрывочный. В 1835 г. он его обработал и пополнил, предполагая издать отдельной книжкой. Тогда же, 3 апреля 1835 г., написано предисловие. «Путешествие в Арзрум» появилось в первой книге журнала «Современник». До этого отрывок «Военная Грузинская дорога» был напечатан в «Литературной газете» 1830 г., № 6. При печатании Пушкин сделал цензурные сокращения, в частности не печатал описания своего свидания с Ермоловым, обозначив пропуск многоточием, а в описании Военно-Грузинской дороги пропустил цитату из стихов Рыльева. Эти и другие цензурные пропуски и искажения восстановлены по автографу.

Стр. 434. «...портрет, писанный Довом». — Портрет Дау из галереи 1812 г. в Зимнем дворце.

Стр. 435. «...слова гр. Толстого...» Граф Ф. И. Толстой (1782—1846), по прозвищу «американец». В 1828—1829 гг. Пушкин и Ф. Толстой были в дружеских отношениях. Через Ф. Толстого Пушкин сделал предложение Наталье Гончаровой.

Стр. 435. «...нашел я графа Пушкина...» — В. А. Мусин-Пушкин (1798—1854). Был членом Северного общества. После ареста, в 1826 г., содержался в крепости, но, как мало замешанный в деле декабристов, подвергся сравнительно мягкому наказанию: он был переведен из гвардии в армейский Петровский полк. На Кавказ он ехал с Э. К. Шернвалем (см. примечание к стр. 440).

Стр. 435. «Кобылиц неукротимых...» — цитата из думы Рылеева «Петр Великий в Острогожске».

Стр. 439. «...like a warrior...» — цитата из стихотворения Ч. Вульфа «Погребение сэра Джона Мура».

Стр. 440. *Шернваль* — граф Э. К. Шернваль (1809—1890), брат Эмили Шернваль, вышедшей в 1828 г. замуж за В. А. Мусина-Пушкина. Был офицером генерального штаба при Паскевиче.

Стр. 440. «...реке на Севере гремящей» — взято из оды Державина «Водопад», где говорится о водопаде Кивач на реке Суне:

И ты, о водопадов мать!
Река на Севере гремяща.

Стр. 440. «И в козих мехах вино, отраду нашу!» — цитата из третьей песни «Илиады» в переводе Е. Кострова.

Стр. 441. «...моего приятеля Шереметева...» — П. В. Шереметев (1799—1837); служил в русском посольстве в Париже.

Стр. 441. *Один путешественник* — Пушкин ссылается на книгу Н. Н. «Записки во время поездки на Кавказ и в Грузию в 1827 году» изд. 1829. Н. Н. — Нефедьев Николай Александрович (1800—1860), служивший на Кавказе с 1829 по 1833 г.

Стр. 441. «По свидетельству Плиния...» — Ссылки на Плиния сделаны Пушкиным по упоминаемой им книге И. Потоцкого «Путешествие в степях Астрахани и Кавказа» (по-французски), 1829 г. Название реки «Дириодорис», видимо, ошибочно. Латинские слова «diri odoris» значат «дурного запаха».

Стр. 441. «...графа И. Потоцкого...» — И. О. Потоцкий (1761—1815) — путешественник, писатель-историк. Перу Потоцкого принадлежат романы из испанской жизни, писанные по-французски: «Аводоро», 1813, и «Десять дней жизни Альфонса Вап-Вордена», 1814. См. стихотворение Пушкина «Альфонс садится на коня», т. III, стр. 347.

Стр. 442. *Князь Казбек* — по-видимому, Н. Г. Казбек из семьи грузинских владетельных князей селения Стефан-Цминде.

Стр. 442. «...подпирающую небосклон» — взято из стихотворения Д. Давыдова «Полусолдат» (1826):

С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирает небосклон
Казбека гряда снеговая.

Стр. 442. «Ждали персидского принца». — Приезд в Россию персидского наследника Хозрев-Мирза был вызван событиями в Тегеране, во время которых был убит Грибоедов.

Стр. 443. «...с полковником Огаревым...» — Н. Г. Огарев, командир пионерской роты путей сообщения.

Стр. 443. «Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года». — Сведения об этом обвале Пушкин заимствовал из книги Н. Нефедьева, но при этом допустил неточность; в книге сказано: «Такой обвал случился до нас за месяц, и мы в конце июня ехали по громадам снега». Следовательно, обвал произошел в конце мая.

Стр. 445. «...у городничего, старого офицера из грузин...» — Полицмейстер Р. С. Ягулов.

Стр. 447. «...надеялся я найти Раевского...» — Н. Н. Раевский младший; командовал в действующей армии сводной кавалерийской бригадой, в состав которой входили Сводный уланский полк и Нижегородский драгунский полк.

Стр. 447. «Санковский, издатель „Тифлисских ведомостей“...» — П. С. Санковский (1798—1832), тифлиссский журналист. «Тифлиссские ведомости» — еженедельная газета, основанная в 1828 г. и выходившая на трех языках: русском, грузинском и персидском.

Стр. 448. «Душа, недавно рожденная...» — грузинское стихотворение «Весенняя песня» Димитрия Туманишвили (ум. в 1821 г.). В бумагах Пушкина сохранился оригинал и буквальный перевод песни, сделанный лицом, плохо владевшим русским языком. Пушкин обработал его, отбросил два куплета (3-й и 6-й) и два куплета (четвертый и пятый) соединил в один. Романс Туманишвили был популярен в Тифлисе во время пребывания там Пушкина.

Стр. 448. «...несчастный Кларенс» — Английский герцог Георг Кларенс был приговорен к смертной казни с правом выбора рода казни. Он пожелал, чтобы его утопили в бочке мальвазии (1478).

Стр. 448. *Тбилис-калак*. — У Пушкина ошибочно: Тбилискалар. Пушкин пользовался книгой Гюльденштедта «Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа», 1809 г., где на стр. 181 имеется опечатка, повторенная Пушкиным.

Стр. 449. *Граф Самойлов* — Н. А. Самойлов (ум. в 1842 г.), офицер Преображенского полка, адъютант Ермолова, двоюродный брат Н. Н. Раевского.

Стр. 449. «...за чином асессорским, толком вожделенным» — цитата из сатиры А. Н. Нахимова «Восплачь, канцелярист...»

Стр. 449. *Генерал Сипягин* — Н. М. Сипягин (1785—1828), тифлиссский военный губернатор.

Стр. 449. *Генерал Стрекалов* — С. С. Стрекалов (1782—1856), тифлиссский военный губернатор с 1828 по 1831 г.

Стр. 452. «...встретил я Бутурлина...» — Н. А. Бутурлин (1801—1867), адъютант военного министра графа Чернышева. Возвращаясь из армии в августе 1829 г., он сделал известный донос на Раевского за то, что тот обедал вместе с разжалованными декабристами: З. Чернышевым (братом министра), Ворцелем и другими.

Стр. 453. «...это Арарат». — Ошибка Пушкина: из Гумров виден не Арарат, а Алагез; очевидно, гору ему называли се армянским именем — Арагац.

Стр. 457. *Генерал Бурцов* — И. Г. Бурцов (1794—1829), декабрист; провел год в крепости, а в 1827 г. был переведен на Кавказ. Пушкин знал его еще в лицее, когда некоторые из лицейцев (Дельвиг, Кюхельбекер) посещали политический кружок, организованный Бурцовым.

Стр. 457. «...нашего Вольховского...» — В. Д. Вольховский (1798—1841), товарищ Пушкина по лицей, декабрист; переведен был на Кавказ в 1826 г. и занимал здесь ответственный пост в штабе Паскевича.

Стр. 457. «...Михаила Пущина...» — М. И. Пушин (1800—1869), брат лицейского товарища Пушкина, декабрист; был разжалован в солдаты и отправлен на Кавказ. Ко времени приезда Пушкина в действующую армию М. Пушин был уже произведен в поручики и служил в военно-инженерных войсках.

Стр. 457. «Heu! fugaces, Postume, Postume...» — цитата из оды Горация (кн. II, ода 14).

Стр. 458. «...нес Armeniis in ogis...» — цитата из оды Горация Руфу Вальгию (кн. II, ода 9).

Стр. 458. «Только успели мы...». — Здесь описывается сражение 14 июня 1829 г., в котором принимал участие и сам Пушкин. В «Истории военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 гг.» Н. И. Ушакова говорится: «В поэтическом порыве он (Пушкин) тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственной новобранцу-воину, схватив пику одного из убитых казаков, устремился противу неприятельских всадников».

Стр. 458. «Я поехал с Семичевым...» — Н. Н. Семичев (1792—1830), декабрист; после полугодового ареста в крепости был переведен на Кавказ капитаном Нижегородского драгунского полка; за храбрость был произведен в майоры и назначен эскадронным командиром.

Стр. 459. *Остен-Сакен* — штабс-капитан Нижегородского драгунского полка, брат начальника штаба Отдельного кавказского корпуса.

Стр. 460. *Генерал Муравьев* — Н. Н. Муравьев (1795—1866), в то время непосредственный начальник Н. Н. Раевского. Муравьев, как Раевский и Остен-Сакен, принадлежал к числу тех, к которым Паскевич относился враждебно; впоследствии доносил на них, указывая между прочим, что они покровительствуют декабристам, служившим в Кавказской армии. Вскоре все они принуждены были покинуть армию.

Стр. 460. «...полковником Симоничем». — И. О. Симонич (ум. в 1850 г.), майор, командир Грузинского гренадерского полка.

Стр. 461. *Сводный уланский полк*. — В окончательном белом и печатном тексте слово «сводный» заменено ***, так как этот полк был сформирован из частей полков, участвовавших в восстании декабристов.

Стр. 464. *Полковник Анреп* — Р. Р. Анреп (ум. в 1830 г.), командир Сводного уланского полка. Анрепа считали наущником у Паскевича. Он страдал приступами сумасшествия. В начале

1830 г., во время одного из таких припадков, забрел в болото и там умер.

Стр. 467. «...с поэтом Юзефовичем». — М. В. Юзефович (1802—1889), штаб-ротмистр, адъютант Раевского. Оставил воспоминания о встречах с Пушкиным в походе 1829 г.

Стр. 470. *Гаджи-Баба* — персонаж из английского романа Мориера «Приключения Гаджи-Баба Испаганского» (1824), вольно переведенного в 1830 г. на русский язык О. Сенковским «Хаджи-Баба из Испагана». Пушкин имеет в виду эпизод из VII главы III части русского перевода. Персидский посол, у которого секретарствовал Гаджи-Баба, проезжая через Арзрум, поймал обокравшего его скорохода. Посол приказал отрезать у него уши, несмотря на протесты арзрумского беглербея; однако слуги обманули посла, показав ему вместо ушей беглеца два ломтика козлятины.

Стр. 470. *Турнфор* — Ж.-П. Турнфор (1656—1708), путешественник, автор книги «Отчет о путешествии на Восток». Пушкин цитирует XVIII письмо книги.

Стр. 471. *Амин-Оглу* — лицо вымышленное; стихи принадлежат Пушкину.

Стр. 472. «...любезным Сухоруковым». — В. Д. Сухоруков (1795—1841), поручик гвардейского казачьего полка; собирал материалы по истории войска Донского. За прикосновенность к делу декабристов исключен из гвардии и переведен на Кавказ казачьим сотником, причем собранные им богатые исторические материалы были у него отобраны, и он не мог добиться их возвращения. Во время похода 1829 г. Сухоруков собирал материалы по истории похода, которые также были у него отобраны в 1830 г.

Стр. 472. *Мушский паша* — Ибрагим-бек, дядя Эмина-паши, бывшего пашой вилайета в городе Муше. Часть вилайета была занята русскими войсками, и Ибрагим-бек добивался, чтобы Паскевич назначил его на место ушедшего с турецкими войсками племянника.

Стр. 472. *Бей-булат* — Таймазов; в 1825 г. стоял во главе восставших горских племен на Северном Кавказе; в 1829 г. перешел на сторону русских и явился в штаб Паскевича со своим отрядом.

Стр. 473. «...приказал г. А. съездить...» — Под буквой А. обычно предполагали ротмистра Абрамовича (догадка Е. Г. Вейденбаума). Однако в это время Абрамович не состоял при Паскевиче. Офицеров, фамилии которых начинались с этой буквы, при Паскевиче было несколько. Чтобы установить, кто из них был послан в гарем Османа-паши, нет данных.

Стр. 474. «...узнал я от Коновницына...» — П. П. Коновницын (1802—1830), декабрист; был разжалован в солдаты и направлен сперва в Семипалатинский гарнизон, затем на Кавказ. В марте 1828 г. произведен в прапорщики.

Стр. 476. *Уединенный монастырь*. — См. стихотворение «Монастырь на Казбеке».

Стр. 476. «...нашел я Дорохова...» — Р. И. Дорохов (ум. в 1852 г.). В 1820 г. был разжалован в солдаты «за буйство» и дуэль. Служил в Нижегородском драгунском полку. За храбрость был произведен в 1829 г. в прапорщики. См. стихотворение Пушкина «Счастливы ты в прелестных дурах».

Стр. 476. «Первая статья, мне попавшаяся» — статья Надеждина в «Вестнике Европы» о «Полтаве». В рукописи сказано: «Пушкин остановил меня, требуя, чтобы я читал с большим мимическим искусством,

не так, как пономарь,
А с чувством, с толком, с расстановкой».

Цитату из «Горя от ума» Пушкин из печатного текста устранил.

Стр. 477. «Notice sur la secte des Yézidis». — Эта заметка приготовлена Пушкиным для отдельного издания «Путешествия в Арзрум», предполагавшегося в 1835 г. Ни она, ни маршрут в журнале не были напечатаны. Заметка принадлежит миссионеру Маурицию Гардзони и в переводе известного французского ориенталиста Сильвестра де Саси была приложена к книге Ж.-Ж. Руссо «Описание Багдадского пашалыка» (1809 г.), откуда и заимствовал ее Пушкин. Имя «Иисус Христос» было в первоначальной копии зачеркнуто, очевидно, из цензурных соображений.

Стр. 483. *Маршрут от Тифлиса до Арзрума* сохранился в копии, сделанной рукой Дельвига, следовательно, еще в 1830 г., и в писарской копии, включенной Пушкиным в состав «Примечаний к Путешествию в Арзрум».

ИЗ РАНИХ РЕДАКЦИЙ

ПОВЕСТИ БЕЛКИНА

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Стр. 489. «...выпущен довольно длинный отрывок...» — По-видимому, описание возвращения Белкина в деревню, вошедшее в «Историю села Горюхина».

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

Стр. 492. «Вечерком румяну зорю». — Романс Н. П. Николаева:

Вечерком румяну зорю
Шла я в грусти посмотреть,
А пришла всё к прежню горю,
Что велит мне умереть.

ПИКОВАЯ ДАМА

Стр. 495. *Андрюе* — фешенебельный французский ресторан на Малой Морской. В 1829 г. этот ресторан перешел во владение Дюме (см. письма Пушкина).

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Стр. 503. «Несколько лет тому назад в одном из наших альманахов...» — Пушкин, по-видимому, имеет в виду «Невский альманах» на 1832 г., где был напечатан «Рассказ моей бабушки» за подписью А. К. В этом рассказе излагается судьба Насти Шпагиной, дочери коменданта крепости Нижнеозерной. Настя любит драгунского поручика Бравина и обручена с ним. В начале пугачевского восстания отряд Бравина отзывают в Оренбург. Кре-

пость вскоре берет Хлопуша. Капитан Шпагин убит. Настя скрывается у мельничихи, которая выдает ее за свою внучку, и подвергается покушениям Хлопуши. Правительственные войска, в которых находится и Бравин, освобождают крепость, и Бравин женится на Насте. По-видимому, первоначально Пушкин думал написать свой роман в форме изложения будто бы действительного события, легшего в основу рассказа Корниловича, так же как он начал писать «Рославлева» как бы в исправление романа Загоскина.

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ...

Стр. 503. «...влюбиться в П.» — Под П. несомненно имеется в виду Пушкин. В черновых вариантах читаем: «П. есть дурная пародия на лорда Байрона так, как Онегин есть изнанка Дон-Жуана». Пушкин передает здесь светские разговоры, а также бранные отзывы критики. Так, Ф. Булгарин в «Северной пчеле» 1830 г. писал: «О том, что Онегин есть неудачное подражание Чайлд Гарольду и Дон-Жуану, давно уже объявлено было в русских журналах».

ОТРЫВОК

С стр. 504. «...эпитафия попу», «...стихи на брак...» — В многочисленных списках Пушкину приписывалась следующая эпитафия попу:

Не памятник, а диво:
В могиле гроб,
Во гробе поп,
В попе вино и пиво!

Стихи на брак — «Первая ночь брака», стихотворение, приписывавшееся Пушкину.

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ (ПРЕДИСЛОВИЕ)

Стр. 506. «Мы надеялись...» — Пушкин имеет в виду статью Ф. Булгарина о VII главе «Евгения Онегина». Там Булгарин писал: «Итак, надежды наши исчезли! Мы думали, что автор «Руслана и Людмилы» устремился на Кавказ, чтоб напиться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов — и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей словесности появился опять Онегин, бледный, слабый...» («Северная пчела», 1830 г., № 35).

В «Вестнике Европы» (1830, № 2) Надеждин писал о том, что в связи с войной 1829 г. «ни один из певунов, толпящихся между нами, не подумал и пошевелить губ своих!»

Стр. 506. «Разные народы разные каши варят». — Цитата из поэмы Н. А. Львова «Добрыня, богатырская песня».

Стр. 507. «...музыкальным орудием...» — Это выражение в приращении к балалайке заимствовано из книги Г. П. Успенского «Опыт повествования о древностях русских».

ПЕРЕВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ

АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Стр. 8.— Лоу.

Стр. 8.

Счастлиное время, отмеченное вольностью нравов,
Когда безумие, звеня своей погремушкой,
Легкими стопами обегает всю Францию,
Когда ни один из смертных не изволит быть
богомольным.

Когда готовы на всё, кроме покаяния. (Франц.)

Стр. 8 — царского негра. (Франц.)

Стр. 14.— Доброй ночи. (Франц.)

Стр. 14.— Доброй ночи, господа. (Франц.)

Стр. 20.— Между нами. (Франц.)

Стр. 22.— Что за чертовщина всё это? (Франц.)

Стр. 36.— я бы плюнул на (старого враля). (Франц.)

Стр. 36.— слабенькой. (Франц.)

Стр. 36.— жеманницу. (Франц.)

РОМАН В ПИСЬМАХ

Стр. 41 и 42.— компаньон. (Франц.)

Стр. 46.— это целое событие. (Франц.)

Стр. 50.— Подчеркивать пренебрежение к своему происхождению — черта смешная в выскочке и низкая в дворянине. (Франц.)

Стр. 51.— томным фатовством. (Франц.)

Стр. 51.— Покорный слуга всех их, вместе взятых. (Итал.)

Стр. 51.— Муж без страха и упрека,

Хоть он и не король, не герцог, и даже не граф. (Франц.)

Стр. 51.— на бывшего. (Франц.)

Стр. 52.— с рабом рабов божьих. (Латин.)

Стр. 52.— (ты) бывший, человек (стереотип.) (Франц.)

ПОВЕСТИ БЕЛКИНА

Стр. 62.— «полицейская шапка» (офицерская фуражка формы пилотки). (Франц.)

Стр. 67.— медовый месяц. (Англ.)

- Стр. 76—77.— Да здравствует Генрих четвертый! (Франц.)
 Стр. 77.— Если это не любовь, так что же? (Итал.)
 Стр. 79.— Сен-Прё. (Франц.)
 Стр. 84.— наших клиентов. (Нем.)
 Стр. 101.— паше замечание остается в силе. (Латин.)
 Стр. 104.— тубо, Сбогар, сюда. (Франц.)
 Стр. 109.— моя дорогая. (Англ.)
 Стр. 111.— «по-дурацки» (фасон узких рукавов с пuffedми у плеча). (Франц.)
 Стр. 111.— (у) госпожи де Помпадур. (Франц.)
 Стр. 115.— Оставьте же меня, сударь; с ума вы сошли? (Франц.)

РОСЛАВЛЕВ

- Стр. 134. и сл.— Госпожа де Сталь (Франц.)
 Стр. 134.— остроты. (Франц.)
 Стр. 134.— моя дорогая. (Франц.)
 Стр. 135.— Дорогое дитя мое, я совсем больна. С вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы зашли ко мне оживить меня. Постарайтесь получить на то позволение вашей матери и будьте добры передать ей почтительный привет от любящей вас де С. (Франц.)
 Стр. 137.— Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах. (Франц.)
 Стр. 139.— домашний любительский театр. (Франц.)
 Стр. 139.— пословицы. (Франц.)

ДУБРОВСКИЙ

- Стр. 181.— Чего изволите?
 — Я хочу спать у вас.
 — Сделайте одолжение, сударь, ...извольте соответственно распорядиться. (Франц.)
 Стр. 182.— Зачем вы тушите, зачем вы тушите? (Франц.)
 Стр. 182.— спать. (Франц.)
 Стр. 182.— Я хочу с вами говорить. (Франц.)
 Стр. 183.— Что это, сударь, что это. (Франц.)
 Стр. 184.— Право, господин офицер. (Франц.)
 Стр. 184.— прощайте. (Франц.)
 Стр. 195.— все старания. (Франц.)

ПИКОВАЯ ДАМА

- Стр. 211.— московскую Венеру. (Франц.)
 Стр. 212.— на карточную игру у королевы. (Франц.)
 Стр. 214.— Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок.
 — Что делать? Они свежее. (Франц.)
 Стр. 214 и 215.— бабушка. (Франц.)
 Стр. 214.— Здравствуйте, Лиза. (Франц.)
 Стр. 214 и сл.— Павел. (Франц.)
 Стр. 217.— пары (в контрдансе). (Франц.)
 Стр. 221.— Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать. (Франц.)

- Стр. 224.— госпожей Лебрен. (Франц.)
 Стр. 224.— Леруа. (Франц.)
 Стр. 227.— 7 мая 18**. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого! (Франц.)
 Стр. 228.— забвение или сожаление. (Франц.)
 Стр. 230.— «королевской птицей» («журавлем», т. е. с шапочкой набекрень). (Франц.)
 Стр. 231.— притворством. (Франц.)

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

- Стр. 244.— Что это за человек? — О, это большой талант; из своего голоса он делает всё, что захочет.— Ему бы следовало, сударыня, сделать из него себе штаны. (Франц.)
 Стр. 246.— Синьор, простите меня, пожалуйста, если... (Итал.)
 Стр. 247.— Синьор... я думал... я считал... ваше сиятельство, простите меня... (Итал.)
 Стр. 247.— либретто. (Итал.)
 Стр. 247.— денди, щеголь. (Англ.)
 Стр. 248.— ваше сиятельство. (Итал.)
 Стр. 249.— Черт возьми! (Итал.)
 Стр. 251.— госпожа Каталани. (Итал.)
 Стр. 253—254.— Семейство Ченчи.— Последний день Помпеи.— Клеопатра и ее любовники.— Весна, видимая из темницы.— Триумф Тассо. (Итал.)
 Стр. 254.— потому что у великой царицы было много. (Итал.)

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

- Стр. 259.— чтобы стать учителем. (Франц.)
 Стр. 328.— плут. (Нем.)

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ...

- Стр. 374.— брюнеткой и блондинкой. (Франц.)
 Стр. 375.— принялась дуться. (Франц.)
 Стр. 375.— Он ничего подобного не сделает, так как слишком рад возможности ее скомпрометировать. (Франц.)
 Стр. 377.— (из) «Опасных связей». (Франц.)
 Стр. 377.— Когда я был во Флоренции... (Франц.)
 Стр. 378.— а кроме того, это человек, способный к сильным чувствам. (Франц.)
 Стр. 380.— Монморанси. (Франц.)

НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ ПЛОЩАДИ...

- Стр. 382.— Ваше сердце — губка, напитанная желчью и укусом. Из неизданной переписки. (Франц.)
 Стр. 384.— Вы пишете письма по четыре страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать. (Франц.)

УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА. Я ЖЕНЮСЬ...

- Стр. 389.— Моя родная земля, прощай. (Англ.)

МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ...

- Стр. 404.— госпожи де Сталь. (*Франц.*)
Стр. 404.— госпожу де Ментенон, госпожу Ролан. (*Франц.*)
Стр. 405.— Кого здесь обманывают? (*Франц.*)
Стр. 405.— «Антони». (*Франц.*)
Стр. 405.— «Физиология брака». (*Франц.*)
Стр. 405.— Она отличалась такой похотливостью, что часто торговала собой; такой красотой, что многие покупали ее ночью ценою смерти. (*Латин.*)

ДВЕ ТАНЦОВЩИЦЫ

- Стр. 425.— Две танцовщицы — Балет Дидло в 1819 году.— Завадовский.— Любовник из райка — Сцена за кулисами — дуэль — Истомина в моде. Она становится содержанкой, выходит замуж — Ее сестра в отчаянии — она выходит замуж за суфлера. Истомина в свете. Ее там не принимают — Она устраивает приемы у себя — неприятности — она навещает подружку по ремеслу. (*Франц.*)

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА К Д.

- Стр. 429.— лаццароне (нищего). (*Итал.*)
Стр. 430.— фонтаном слез. (*Франц.*)

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

- Стр. 432.— Путешествия на Восток, предпринятые по поручению Французского правительства (*Франц.*)
Стр. 432.— Один поэт, замечательный своим воображением, в стольких славных деяниях, свидетель которых он был, нашел сюжет не для поэмы, но для сатиры. (*Франц.*)
Стр. 432.— Среди начальников, командовавших ею (армией князя Паскевича), выделялись генерал Муравьев... грузинский князь Чичевадзе... армянский князь Бебутов... князь Потемкин, генерал Раевский, и наконец г. Пушкин... покинувший столицу, чтобы воспеть подвиги своих соотечественников. (*Франц.*)
Стр. 435.— с увлечением. (*Итал.*)
Стр. 439.—...подобно отдыхающему воину в его боевом плаще. (*Англ.*)
Стр. 445.— за большую вольность. (*Франц.*)
Стр. 446—447.— прелестная грузинская дева с ярким румянцем и свежим пыланьем, какое бывает на лицах дев ее страны, когда они выходят разгоряченные из Тифлиских ключей. Лалла Рук. (*Англ.*)
Стр. 447.— и отлично. (*Итал.*)
Стр. 451.— Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей. (*Франц.*)
Стр. 457.— Увы, о Постум, Постум, быстротечные мчатся годы... (*Латин.*)
Стр. 458.—...и армянская земля, друг Вальгий, не круглый год покрыта неподвижным льдом... (*Латин.*)

- Стр. 463.— Вы не устали после вчерашнего? — Немпожко, г. граф.— Мне за вас досадно, потому что нам предстоит еще один переход, чтобы нагнать пашу, а затем придется преследовать неприятеля еще верст тридцать. (Франц.)
- Стр. 464.— Это был мужчина с женской грудью, зачаточными половыми железами и органом маленьким и детским. Мы спросили его, не был ли он оскотлен. Бог, отвечал он, кастрировал меня. (Латин.)
- Стр. 467.— Смотрите, каковы турки... никогда нельзя им доверяться. (Франц.)
- Стр. 469.— бурдюком. (Франц.)

ЗАМЕТКА О СЕКТЕ ЕЗИДОВ

Стр. 477—483. Из многих сект, возникших в Месопотамии среди мусульман после смерти их пророка, нет ни одной, которая была бы столь же ненавистна для всех прочих, как секта езидов. Имя езидов происходит от шейха Едиза, основателя их секты и заклятого врага рода Али. Учение, которое они исповедуют, есть смесь манихейства, магометанства и верований древних персов. Оно сохраняется среди них по преданию и переходит от отца к сыну без помощи какой бы то ни было книги; ибо им запрещено обучаться чтению и письму. Это отсутствие книг и есть, без сомнения, причина того, что магометанские историки говорят об этой секте лишь вскользь, называя этим именем людей, погрязших в богохульстве, жестоких, диких, проклятых богом и изменивших вере своего пророка. Вследствие этого о верованиях езидов нельзя получить никаких точных сведений, кроме того, что удастся в настоящее время наблюдать в их среде.

Первое правило езидов — заручиться дружбой дьявола и с мечом в руках вставать на его защиту. Потому они воздерживаются не только от произнесения его имени, но даже и от употребления какого-либо выражения, близкого по созвучию к его имени. Например, река на обычном языке называется *шатт*, и так как это слово имеет отдаленное сходство со словом *шайтан*, именем дьявола, езиды называют реку *аве мазен*, т. е. *большая вода*. Точно так же турки часто проклинают дьявола, пользуясь для этого словом *наль*, т. е. *проклятие*. Езиды тщательно избегают всех слов, имеющих как-нибудь соответствие с данным словом. И вместо слова *наль*, означающего также *подкова*, они говорят *соль*, т. е. *подошва башмаков лошади*, и заменяют словом *солькер*, т. е. *сапожник*, обычное слово *нальбенда*, что значит *кузнец*. Всякий, кто посещает места, ими обитаемые, должен очень внимательно остерегаться, как бы не произнести слов *дьявол* и *проклятый*, и особенно: *будь проклят дьявол*; иначе он сильно рискует подвергнуться побоям и даже смерти. Когда езиды по делам приезжают в турецкие города, нельзя им нанести большого оскорбления, как проклясть в их присутствии дьявола, а если того, кто совершил эту неосторожность, езиды встретят в пути и узнают, то он подвергается большой опасности испытать на себе их месть. Не раз случалось, что члены этой

секты, схваченные за какое-нибудь преступление турецкими властями и приговоренные к смерти, предпочитали казнь предоставленной им возможности избежать ее, прокляв дьявола.

У дьявола нет имени на языке езидов. В крайнем случае они называют его иносказательно: *шейх мазен*, великий начальник. Они признают всех пророков и всех святых, которых чтут христиане и имена которых носят монастыри, расположенные по соседству. Они верят, что все эти святые, во время своей земной жизни, были отличены от других людей в той мере, насколько в них пребывал дьявол. Особенно сильно, по их мнению, он проявился в Моисее, Иисусе Христе и Магомете. Словом, они думают, что бог повелевает, по выполнении своих повелений поручает власти дьявола.

Утром, едва покажется солнце, они босыми бросаются на колени и, повернувшись лицом к светилу, молятся, повергаясь ниц. Для совершения этого обряда они удаляются от людей; они делают всё возможное, чтобы их не видели при выполнении этого долга, от которого они даже освобождают себя, смотря по обстоятельствам.

У них нет ни постов, ни молитв, и, чтобы оправдать несоблюдение этих религиозных обрядностей, они говорят, что шейх Езид выполнил их за всех, кто будет исповедовать его учение, до самого конца света, и что он получил в этом положительное уверение в своих откровениях; вследствие этого-то им запрещено учиться читать и писать. Однако все начальники племен и больших селений оплачивают магометанских грамотеев, чтобы читать и разъяснять письма, адресованные им турецкими вельможами и пашами, и чтобы отвечать на них. По поводу же своих собственных дел они никогда не обращаются к человеку другой веры: все свои приказания и поручения они передают устно через людей своей секты.

Не зная ни молитв, ни постов, ни жертвоприношений, они не имеют и никаких праздников. Однако на 10-й день после августовского новолуния они собираются неподалеку от могилы шейха Ади. Это собрание, на которое стекается множество езидов из отдаленных местностей, длится весь день и всю следующую ночь. В течение пяти или шести дней до и после такого собрания небольшие караваны рискуют подвергнуться в равнинах Моссула и Курдистана нападению этих паломников, путешествующих всегда по несколько человек вместе, и редкий год проходит без того, чтобы это паломничество не дало повода для какого-нибудь печального происшествия. Говорят, что много женщин-езидок, за исключением, впрочем, незамужних девушек, приходят из окрестных селений на это собрание и что в эту ночь, после обильной еды и попойки, гасят все огни и больше уже не разговаривают до зари,—момента, когда все расходится. Можно себе представить, что творится в этом молчании и под покровом тьмы.

У езидов нет запрета ни на какой род пищи, кроме лагуа и тыквы. Они никогда не пекут у себя дома пшеничного хлеба, а только ячменный; не знаю, какая тому причина.

В клятвах они пользуются теми же выражениями, какие

в ходу у турок, христиан и евреев, но самая сильная клятва между ними это клятва *знаменем Езида*, т. е. их верой.

Эти сектанты питают очень большое уважение к христианским монастырям, находящимся по соседству. При посещении монастыря они, еще не войдя за ограду, разуваятся и, идя босиком, целуют дверь и стены; они думают этим снискать покровительство святого, имя которого носит монастырь. Если им случается во время болезни увидеть во сне какой-нибудь монастырь, то немедленно по выздоровлении они отправляются туда с дарами — ладаном, воском, медом или чем-нибудь другим. Они остаются там около четверти часа и перед уходом снова целуют стены. Они без всякого колебания целуют руку патриарху или епископу — настоятелю монастыря. Что касается турецких мечетей, то они избегают входить в них.

Езиды признают главой своего вероучения шейха того племени, которому поручена охрана могилы восстановителя их секты — шейха Ади. Эта могила находится в области князя Амадийского. Вождь этого племени всегда должен избираться из потомков шейха Езида; он утверждается в своем звании князем Амадийским, по представлению езидов, подкрепленному подарком в несколько кисетов. Уважение, которое эти сектанты питают к своему духовному вождю, столь велико, что они почитают большим счастьем получить одну из его старых рубах себе на саван: они верят, что это обеспечивает им лучшее место на том свете. Некоторые платят до сорока пиастров за подобную реликвию, и если им не удается получить целую рубаху, то довольствуются частью ее. Иногда шейх сам посылает в подарок одну из своих рубах. Езиды тайно переправляют этому верховному вождю долю всякой награбленной ими добычи, чтобы возместить ему расходы, вызываемые гостеприимством, которое он оказывает членам своей секты.

Глава езидов всегда держит при себе другое лицо, которое они называют *кочек* и без совета которого он ничего не предпринимает. Кочек считается оракулом вождя, потому что он пользуется преимуществом непосредственно получать откровения от дьявола. Поэтому, если езид колеблется, предпринять ли ему какое-нибудь важное дело, он отправляется к *кочеку* и спрашивает его совета, который, впрочем, невозможно получить без некоторой мзды. Прежде чем ответить на вопрос, *кочек*, чтобы придать больше веса своему ответу, ложится наземь, растянувшись во весь рост, и, укрывшись, засыпает или притворяется спящим, после чего говорит, что во сне ему открылось свыше то или иное решение; иногда для сообщения ответа он берет отсрочку на две или три ночи. Следующий пример покажет, сколь велико доверие к его откровениям. Еще лет сорок тому назад езидские женщины так же, как и арабские, носили, для экономии мыла, синие рубашки, крашенные индиго. Однажды утром, совершенно неожиданно для всех, *кочек* явился к главе секты и заявил ему, что минушею ночью ему было откровение: синий цвет есть цвет дурного предзнаменования и не угоден дьяволу.

Этого было достаточно, чтобы немедленно разослать по всем племенам с нарочным приказ изгнать отовсюду синий цвет, разделаться со всякой одеждой этого цвета и заменить ее белой. Это приказание было выполнено с такой точностью, что, если бы ныне ездил, остановившись у турка или христианина, получил синее одеяло, он предпочел бы спать в одной своей одежде, чем воспользоваться таким одеялом, будь это хоть в самое холодное время года.

Едизам запрещено подстригать усы, они должны представлять их естественному росту: поэтому среди них есть такие, у которых едва виден рот.

Эта секта имеет также своих сатрапов, известных в районе Алеппо под именем *факиран*; их в народе называют *карабаш*, так как они носят на голове *черную шапку* с завязками того же цвета. Плащи их, или *аба*, тоже черного цвета, но нижнее платье — белое. Сатрапов очень немного; где бы они ни появлялись, им целуют руки и встречают их как посланцев благодати и предвестников удачи. Когда их призывают к больному, они возлагают руки ему на шею и на плечи и получают хорошее вознаграждение за свои труды. Если они приглашены для того, чтобы обеспечить покойнику блаженство на том свете, они перед одеванием тела ставят его на ноги и слегка касаются его шеи и плеч; затем они ударяют его ладонью правой руки, в то же время обращаясь к нему со следующими словами по-курдски: *ара бе-хешт*, т. е. *иди в рай*. Им дорого платят за этот обряд, и скромным вознаграждением они не довольствуются.

Езиды верят, что души умерших отправляются в место успокоения, где они наслаждаются блаженством в большей или меньшей степени, согласно заслугам каждого, и что иногда они, являясь в сновидениях родным и друзьям, дают знать о своих желаниях. Это верование они разделяют с турками. Они убеждены также, что в день Страшного суда они проникнут в рай с оружием в руках.

Езиды делятся на несколько народностей, или племен, независимых друг от друга. Светская власть верховного вождя их секты распространяется только на одно его племя; тем не менее, когда несколько племен враждуют между собой, его долг взять на себя посредничество в их примирении; и редко употребленные им усилия не увенчиваются успехом. Некоторые их племена живут во владениях князя Джулемеркского, другие на земле князя Джезирехского, некоторые в горах, подчиненных Диарбекиру, другие находятся в области князя Амадийского. К числу последних относится самое родовитое из всех племен, известное под названием *шейхан*; шейх этого племени, которого они зовут *мир*, т. е. *государь*, является верховным духовным вождем езидов и хранителем могилы шейха Ади. Начальники селений, занимаемых этим племенем, происходят все из одной семьи и могли бы оспаривать друг у друга первенство в случае какого-нибудь несогласия. Но самое могущественное и самое грозное из всех племен — это то, которое живет на горе Синджар между Моссулом и рекой Хабур; оно поделено между двумя шейхами, из коих один правит восточной частью, а другой южной. Гора Синджар,

обильная плодами всякого рода, мало доступна, а племя, ее населяющее, может выставить свыше шести тысяч стрелков, не считая конницы, вооруженной копьями. Года не проходит без того, чтобы какой-нибудь крупный караван не был ограблен этим племенем. Езиды этой горы выдержали несколько войн против пашей Моссула и Багдада; в таких случаях, после большого кровопролития с той и другой стороны, всё в конце концов улаживается за деньги. Эти езиды повсюду производят ужас своей жестокостью: когда они занимаются вооруженным разбоем, они не ограничиваются ограблением попадающих им в руки, они всех поголовно убивают; если же среди них находятся *шерифы*, потомки Магомета, или мусульманские законоучители, они убивают их особенно жестоким способом и с особенным удовольствием, полагая, что это составляет большую заслугу.

Султан терпит езидов в своих владениях, потому что, по мнению магометанских ученых, следует признавать правоверным всякого, кто исповедует основные догматы: *Нет бога кроме бога и Магомет — пророк его*, хотя бы он и не соблюдал ни одного из остальных предписаний мусульманского закона.

С другой стороны, курдские князья терпят езидов ради своей личной выгоды: они даже стараются привлечь в свои владения возможно больше племен этого народа, ибо езиды отличаются испытанной храбростью, они хорошие воины, как пешие, так и конные, и очень пригодны на всякое смелое предприятие и на ночной грабеж в селах и деревнях; вот почему эти князья пользуются ими с большой выгодой как для усмирения непокорных магометанских племен в их владениях, так и для борьбы с другими князьями, воюющими с ними. К тому же магометане твердо убеждены, что всякий, погибший от рук этих сектантов, умирает мучеником: поэтому князь Амадийский постоянно держит при себе палача из езидов для приведения в исполнение смертных приговоров над турками. Езиды того же мнения о турках, и в этом отношении между ними наблюдается взаимность: если турок убивает езид, он совершает поступок, весьма угодный богу, а если езид убивает турка, он совершает дело, весьма достойное в глазах *великого шейха*, т. е. дьявола. Пробыв несколько лет на службе у князя, амадийский палач оставляет свою должность, чтобы предоставить своему преемнику также возможность заслужить благосклонность дьявола; и куда бы палач, сложив с себя эту обязанность, ни являлся, езиды везде встречают его с уважением и целуют ему руки, освященные кровью турок. Напротив того, персы и все магометане, принадлежащие к секте Али, не терпят езидов в своих владениях; более того, им запрещено оставлять этих сектантов в живых.

Во время войны с езидами туркам разрешается обращать в рабство их жен и детей и либо оставлять для собственной надобности, либо продавать их; езиды, не имея того же разрешения по отношению к туркам, убивают всех. Если езид желает стать турком, ему достаточно, вместо всякого исповедания веры, проклясть дьявола, а затем спокойно учиться

молитвам по турецкому обычаю: ибо над езидами совершают обрезание на восьмой день после рождения.

Все езиды говорят по-курдски; среди них многие знают по-турецки или по-арабски, потому что им часто случается общаться с людьми, говорящими на этих языках, а также потому, что они находят более выгодным и надежным вести свои дела без помощи переводчиков.

Без сомнения, у езидов есть еще немало других заблуждений или суеверий, но, так как у них нет каких бы то ни было книг, изложенные мною являются единственными, о которых мне удалось получить сведения. Кроме того, многое у них подвержено изменениям вследствие так называемых откровений их *кочека*, что еще более затрудняет основательное изучение их верований. (*Франц.*)

ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ

Стр. 488.— «*que visez-vous...*» См. перевод к стр. 214.

ПРИМЕЧАНИЯ

АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Стр. 515.— «*Temps...*» См. перевод к стр. 8.

РОМАН В ПИСЬМАХ

Стр. 517.— «*Un homme...*» См. перевод к стр. 51.

Стр. 517.— «*Qui n'est...*» См. перевод к стр. 51.

Стр. 517.— Я не король, не герцог и не граф,
Я владетель Куси. (*Франц.*)

МЕТЕЛЬ

Стр. 519.— «*Vive...*» См. перевод к стр. 76—77.

Стр. 520.— «*Se amog...*» См. перевод к стр. 77.

ПИКОВАЯ ДАМА

Стр. 529.— (насчет) камеристок, которые свежее. (*Франц.*)

Стр. 530.— «*Oubli...*» См. перевод к стр. 228.

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Стр. 536.— изувеченного. (*Франц.*)

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ...

Стр. 540.— Светский человек ухаживает за модной дамой, он ее соблазняет, но женится на другой по расчету. Жена устраивает ему сцены. Та признается во всем мужу. Та утешает ее, посещает ее. Светский человек несчастен, честолобив. Появление молодой особы в свете.

Зелия любит тщеславного эгоиста; она окружена холодным недоброжелательством света; благоразумный муж; лю-

бовник, насмехающийся над ней, — подруга, отделившаяся от нее. Становится легкомысленной, ведет себя скандально с человеком, которого не любит. Муж ее удаляет, она совсем несчастна. Ее любовник, ее друг.

1) Сцена великосветской жизни (...) светского человека (...)

2) (...) о соблазне — связь, любовник афиширует ее.

3) Появление в свете молодой провинциалки. — Сцена ревности, неодобрение большого света.

4) Слух о женитьбе — отчаяние Зелии. Она во всем признается мужу. Благоразумный муж. Свадебный визит — Зелия заболевает — возвращается в свет; за нею ухаживают и т. д., и т. д. (*Франц.*)

НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ ПЛОЩАДИ...

Стр. 541. — перед вечером. (*Франц.*)

Стр. 541. — Званный вечер. (*Франц.*)

ЗАПИСКИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

Стр. 541. — джентльмен. (*Англ.*)

УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА. Я ЖЕНЮСЬ...

Стр. 542. — «*My native...*» См. перевод к стр. 339.

РОМАН НА КАВКАЗСКИХ ВОДАХ

Стр. 542. — становится своим человеком. Приезд настоящего любовника. Дамы от него в восторге. Вечера (в калмыцкой кибитке) (...) похищение. (*Франц.*)

Стр. 542—543. — Он оставляет свой конвой парализику, на него нападают черкесы, он убивает одного из них, остальные убегают. Якубовича там нет (...) (Якубович) расходится на него — и просит у него руки его сестры.

Дуэль.

(Якубович) похищает Марию, которая кокетничала с ним. Ее любовник похищает ее у черкесов.

Кунак — юноша, привязанный к ней, похищает ее и возвращает ее в ее семью. (*Франц.*)

Стр. 543. — воды — сезон. (*Франц.*)

Стр. 543. — прогулка верхом. (...) — Пелам. (...) похищает. (*Франц.*)

РУССКИЙ ПЕЛАМ

Стр. 545. — легкомысленный. (...) посредственность, бездельник (*Франц.*)

Стр. 545. — его наперсник. (*Франц.*)

Стр. 546. — Франт, вроде Завадовского, шалопай, любовницы, долги. (*Франц.*)

Стр. 546. — ищет развлекчий у своих прежних любовниц, становится мошенником и дуэлистом. (*Франц.*)

Стр. 546. — в дурном обществе. (*Франц.*)

Стр. 546. — делается душеприказчиком. (*Франц.*)

Стр. 547.— Танцовщица. (*Франц.*)

Стр. 547.— чтобы заработать на жизнь, переводит водевили... и проч. и проч. (*Франц.*)

Стр. 547.— он принимает у себя хорошее общество в мужской части и дурное — в женской.

III) (Общество) Завадовский, паразиты, актрисы, его дурная слава; он влюбляется. (Пельмов) его наперсник.

IV) Похищение. Пельмов приобретает в глазах света репутацию шалопаи. В это-то время он вступает в переписку с Натальей. Он получает первое письмо, уходя от Истоминой, которую он утешает по поводу женитьбы Завадовского.

V) Двери дома Чоколей для него закрыты; он видит ее только в театре. Он узнает, что его брат — секретарь Чоколей.

VI) Пышный образ жизни Завадовского, он дает обеды и балы. Домашние затруднения. Кредиторы. Игра.

VII) (Поровой) и его дуэль.

VIII) Сцена у отца.

IX) Объяснение с Завадовским.

X) Пельмов порывает с Завадовским.

Стр. 547.

I) Продолжение любовных похждений Пельмова.

II) Эта глава после катастрофы. Жена Завадовского, мужем становится Ф. Орлов. Его новые приятели. Их подвиги. Они на улице нападают на Пельмова. (Ф. Орлов) узнает его и обращает всё в шутку.

III) Болезнь, жалкое одиночество и смерть отца Пельмова.

IV) Положение брата.

V) Убийство. (*Франц.*)

МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ...

Стр. 548.— «...M-me de...» См. перевод к стр. 404.

Стр. 549.— «Qui est-ce...» » » » 405.

Стр. 549.— «La Physiologie»... » » » 405.

ПОВЕСТЬ ИЗ РИМСКОЙ ЖИЗНИ

Стр. 549.— Сатирикон. (*Латин.*)

МАРЬЯ ШОНИНГ

Стр. 550.— «Знаменитые иностранные уголовные дела, впервые опубликованные во Франции и переведенные с итальянского, немецкого и т. д. обществом юрисконсультов и литераторов». Париж. Ш. Л. Ф., Панкук, 1827, т. II, стр. 200—213 («Детоеубийство. Процесс Марии Шонинг и Анны Гарлин»). (*Франц.*)

Стр. 550—551.

Марья Шонинг и Анна Гарлин,
осужденные в 1787 г. в Нюрнберге.

Марья Шонинг, дочь нюрнбергского ремесленника, 17-ти лет от роду потеряла отца. Она ухаживала за ним одна, так

как по бедности принуждена была отпустить единственную их служанку, Анну Гарлин.

Возвратившись с похорон отца, она застала у себя двух чиновников податного ведомства, которые потребовали на просмотр бумаги покойного, чтобы удостовериться, платил ли он налоги соразмерно своему имуществу. Они нашли после проверки, что старый Шонинг платил обложение несоответственно своим средствам; они наложили печати. Девушка переехала в пустую комнату, пока начальники казначейства не решат этого дела.

Податные чиновники возвратились с решением своих начальников и с приказом, чтобы Марья Элеонора Шонинг оставила дом, отбираемый в казну.

Шонинг был беден, но бережлив. Трехлетняя болезнь истощила всё, что он скопил. Марья пошла к чиновникам, плакала, но начальство было неумолимо.

Вечером она отправилась на кладбище св. Якова... Она ушла оттуда утром; затем, умирая с голоду, снова очутилась на кладбище.

Нюрнбергская полиция выплачивает полкроны ночным сторожам за арест каждой женщины после 10 часов вечера. Марью Шонинг отвели на гауптвахту. На другой день ее привели к судье, который отпустил ее, пригрозив отправить в исправительный дом в случае, если она попадется вторично.

Марья хотела броситься в Пегниц... ее окликнули. Она увидела Анну Гарлин, бывшую служанку своего отца, вышедшую замуж за инвалида. Анна утешила ее: «Жизнь коротка, — сказала она ей, — а небо — навсегда, дитя мое».

Марья находила приют у Гарлинов в течение года. Она вела там весьма убогую жизнь. В конце года Анна заболела. Наступила зима, работы не было; цена на продукты поднялась. Всю мебель продали вещь за вещь, кроме койки инвалида, который к весне умер.

Один бедный врач бесплатно лечил мужа и жену. Иногда он приносил им бутылку вина, но денег у него не было. Анна выздоровела, но сделалась ко всему равнодушной; работы не было совсем.

Однажды вечером, в начале марта, Марья вдруг ушла из дому...

Она была задержана сторожевым обходом. Капрал велел солдатам окружить ее и сказал ей, что на утро ее высекут. Марья вскричала, что она виновна в детоубийстве...

Когда ее привели к судье, она объявила, что родила ребенка, причем принимала Анна Гарлин, которая и похоронила его в лесу, где — она сама уже не знает. Анна Гарлин была тотчас же арестована, и, после запирательства, приведена на очную ставку с Марьей — она всё отрицала.

Принесли орудия пытки. Марья пришла в ужас — она схватила связанные руки своей мнимой сообщницы и сказала ей: «Анна, сознайся в том, чего от тебя требуют! Милая моя Анна, для нас всё кончится, а Франк и Нани будут помещены в сиротский дом».

Анна поняла ее, обняла и сказала, что ребенок был брошен в Пегниц.

Дело было решено быстро. Обоих приговорили к смертной казни. Утром в назначенный день их повели в церковь, где они молитвою приготовились к смерти. На повозке Анна была спокойна, Марья волновалась. Гарлин взойшла на эшафот и сказала ей: «Еще мгновение, и мы будем там (на небе)! Мужайся, еще минута — и мы предстанем перед богом!»

Марья воскликнула: «Она невинна, я лжесвидетельница...» Она бросилась в ноги к палачу и священнику... она рассказала всё. Палач в изумлении останавливается. В народе раздаются крики... Анна Гарлин, на вопросы священника и палача, говорит с неохотою (простотою): «Разумеется, она сказала правду. Я виновна в том, что солгала и усомнилась в благости провидения».

Судьям посылают донесение. Посланный возвращается через час с приказанием исполнить приговор... Палач, отрубив голову Анне Гарлин, лишился чувств.— Марья была уже мертва. (*Франц.*)

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА К Д.

Стр. 553.— «la fontaine des larmes». См. перевод к стр. 430.

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

Стр. 554.— «...like a warrior...» См. перевод к стр. 439.

Стр. 556.— «Heu! fugaces...» » » » » 457.

Стр. 556.— «nec Armeniis» » » » » 458.

Стр. 558.— «Notice sur la...» » » » » 477.

СОДЕРЖАНИЕ

Текст	Из ранних редакций	Приме- чания
<i>Романы и повести</i>		
* Арап Петра Великого ¹	7	487 513
* Роман в письмах	41	488 516
Повести покойного Ивана Петровича Белкина	54	488 518
От издателя	54	488 518
Выстрел	58	518
Метель	70	490 519
Гробовщик	81	490 520
Станционный смотритель	88	491 521
Барышня-крестьянка	99	492 522
История села Горюхина	116	492 522
Рославлев	132	524
* Дубровский	142	493 526
Пиковая дама	210	495 529
Кирджали	238	530
Египетские ночи	244	531
Капитанская дочка	258	496 533
<i>Отрывки и наброски</i>		
Наденька	373	539
Гости съезжались на дачу	374	503 540
В начале 1812 года	381	541
На углу маленькой площади	382	503 541
* Записки молодого человека	385	541
Участь моя решена. Я женюсь	388	542
Отрывок	391	504 542
* Роман на Кавказских водах	394	542
Часто думал я	397	545
* Русский Пелам	398	545
В 179* году возвращался я	402	548
Мы проводили вечер на даче	404	504 548
* Повесть из римской жизни	411	549
* Марья Шонинг	415	550

¹ Здесь и ниже звездочками отмечены произведения, озаглавленные редакторами, т. е. у Пушкина названий не имеющие.

Планы ненаписанных произведений

Карты; продан	423	551
* Влюбленный бес	423	551
Н. избирает себе в наперсники	423	552
* Планы повести о стрельце	423	552
Криспин приезжает в губернию	425	552
* Les deux danseuses	425	552

Путешествия

Отрывок из письма к Д.	429	552
Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года	432	505 553
Из ранних редакций		485—510
Примечания		511—559
Переводы иноязычных текстов		560—573

*Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР*

*

Текст проверен и примечания составлены
проф. *Б. В. Томашевским*

*

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Т о м VI

Редактор издательства *К. Н. Феноменов*

Художник *Л. А. Яценко*

Технический редактор *Н. А. Кругликова*

Корректоры *Л. М. Бова, Р. Г. Гершинская*
и *А. И. Кац*

Сдано в набор 26/XII 1977 г. Подписано к печати
17/V 1978 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л.
18+1 вкл. (1¹/₁₆ печ. л.) = 30.35 усл. печ. л. Уч.-изд.
л. 30.08 Изд. № 6937. Тип. зак. № 763. Тираж 300 000.
Цена 3 р. 40 к.

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1.

Киевская книжная фабрика Республиканского произ-
водственного объединения «Полиграфкнига» Госком-
издата УССР, Киев, ул. Воровского, 24.

545.52.01



A.C. ПУШКИН